81.471.1
Г61

ЯЗЫК
СЕМИОТИКА
КУЛЬТУРА

М. К. Голованивская

Ментальность в зеркале языка

Некоторые базовые мировоззренческие концепты французов и русских

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ББК 81.031
Г 61

Эта монография печатается по рекомендации и при содействии факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Голованивская М. К.

Г 61 Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских. — М.: Языки славянской культуры, 2009. — 376 с. — (Язык. Семиотика. Культура).

ISSN 1727-1630
ISBN 978-5-9551-0350-1

Книга посвящена реконструкции и контрастивному изучению современных представлений французов и русских о некоторых принципиально важных мировоззренческих категориях. К их числу относятся представления о судьбе, случае, удаче, знании, мышлении, душе, уме, совести, радости, страхе, гневе и других. В каждом языке понятия описываются не только через анализ их значений и сочетаемости, но и через их историю и «материнский» миф. В общей сложности в работе анализируются более пятидесяти понятий каждого из языков, считающихся взаимными переводческими эквивалентами.

ББК 81.031

ISBN 978-5-9551-0350-1

© М. К. Голованивская, 2009
© Языки славянской культуры, 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений 7
Рамка исследования 9
Глава первая. Абстрактное и менталитет 19
Глава вторая. Социо-культурные смыслы, повлиявшие на формирование французского и русского менталитетов 55
Глава третья. Представление о предопределенности человеческой жизни у французов и русских 79
Глава четвертая. Представление французов и русских о случае и удаче 107
Глава пятая. Представление французов и русских об опасности, угрозе и риске 129
Глава шестая. Представление французов и русских о добре и зле 143
Глава седьмая. Представление французов и русских об истине и лжи 161
Глава восьмая. Представление французов и русских о душе, уме и совести 183
Глава девятая. Представление французов и русских о том, как они мыслят. Размышление, знание и идея в зеркале двух менталитетов 231
Глава десятая. Представление французов и русских о причинах, следствиях и цели 269
Глава одиннадцатая. Представление французов и русских о сомнении и уверенности 291
Глава двенадцатая. Представление французов и русских о чувстве и эмоции. Общее представление о базовых эмоциях в европейской культуре 305

Глава тринадцатая. Представление французов и русских о страхе 323
Глава четырнадцатая. Гнев и радость в представлениях французов и русских. Общие выводы по восприятию базовых эмоций в двух культурах 341
Заключение 363

Список сокращений

ИЭССРЯ — *П. Я. Черных*. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1, 2. М., 1994.

ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

МС — Мифологический словарь. М., 1991.

МНМ — Мифы народов мира (энциклопедия). М., Т. 1. 1991, т. 2, 1992.

НОСС — Новый объяснительный словарь синонимов. М., 1995.

ППБЭС — Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 1—2. М., 1992.

РМР — *М. И. Михельсон*. Русская мысль и речь. Т. 1—2. М., 1994.

РФС — Русско-французский словарь. М., 1969.

СМ — Славянская мифология (энциклопедический словарь). М., 1995.

СС — *Х. Э. Керлот*. Словарь символов. М., 1994.

ССИ — *Джеймс Холл*. Словарь сюжетов и символов в искусстве М., 1996.

СРС — Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М., 1994.

СРЯ — Словарь русского литературного языка в 4 тт. М., 1981—1984.

СРЯ1 — Словарь русского языка. М., 1952.

ССМС — *М. М. Маковский*. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М., 1996.

СССРЯ — Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983.

ССРЯ — Словарь синонимов русского языка. М., 1968.

ТКС — Толково-комбинаторный словарь. Вена, 1984.

ТС — *Вл. Даль*. Толковый словарь. Т. 1—4. М., 1955.

ФРСАТ — Французско-русский словарь активного типа. М., 1991.

ФРФС — Французско-русский фразеологический словарь. М., 1963.
ФЭС — Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
ЭСРЯ — *Макс Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. СПб., 1996.

Cd — *Mangeart J.* Catalogue descriptif et raisonné des mss, de la bibl. de Valenciennees. Paris, 1860.
DAF — Dictionnaire de l'ancien français. Paris, 1968.
DE — *Albert Dauzat.* Dictionnaire etymologique. Paris, 1939.
DGLF — Dictionnaire général de la langue française. Paris, 1971—1978.
DHLF — Dictionnaire historique de la langue française. Paris, 1992.
DMI — *U. Lacroix.* Dictionnaire des mots et des idées. Paris, 1967.
DS — Dictionnaire des synonymes. Paris, 1947.
DS(b) — *H. Benac.* Dictionnaire de synonymes. Paris, 1956.
DTP — Dictionatium theologocum portatile. Augustae vindelicorum Sumptibus fratrum Veith. Bibliopolarum. MDCCLXII.
GLLF — Grand Larousse de la langue française. Paris, 1971—1978.
I — *Cesare Ripa.* Iconologia. Milano, 1993.
NDS — Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris, 1977.
R1 — Le Petit Robert. Paris, 1993.
TLF — Trezor de la langue française. T. 1—16. Paris, 1971—1994.

Рамка исследования

Мы будем «извлекать» ключевые особенности мировоззрения французов и русских из слов их языков. Эти слова расскажут нам о том, что доступно каждому, но не очевидно почти никому: как мыслятся те или иные понятия и как они мыслятся по сравнению с иной возможностью быть осмысленными, всегда реализованной в другом языке.

Очевидность такого способа и неожиданность результата, к которому он нередко приводит, впечатление фокуса, чуда, представляет собой очевидное-невероятное: неужели мы, русскоговорящие, каждый день говорим друг другу, что считаем мир не дискретным, то есть неисчислимым, непредсказуемым, даже когда речь идет о простой задаче — пойти и купить хлеба в булочной за углом? Оказывается, да. И на это же мы внутренне киваем, когда рассчитываем на пресловутое «авось», когда ездим на бешеной скорости не пристегиваясь — ведь есть же причины, которые разуму не видны, и они-то и не дадут погибнуть знаменитому русскому лихачу. Обо всем этом рассказываем не конкретные мы, я, они, обо все этом каждый день, не подозревая об этом, хором кричат все, кто говорят по-русски. Используя язык, который не принадлежит никому и принадлежит всем, являя собой беспрецедентное коллективное бессознательное и осознанное, как теперь принято говорить, «в одном флаконе». Среди хора, сомнища, других выкриков, представляющих иные модели мировосприятия, и коллективный крик французов, и близко не допускающих такой взаимосвязи вещей, точнее отсутствия явной взаимосвязи вещей. Никакого «авось», никакой не дискретности, если человек не сопоставляет причины и следствия, или считаем мир неисчислимым — он безумен. С точки зрения японца (1), первые очевидно проникнуты злым духом, а вторые глупы, и они тоже кричат об этом, вибрируя тонами и выводя иероглифы беличьими кисточками. И каждый это кричит не другому, не кому-то именно, а в небеса, обращая только туда поток своей

общенациональной рефлексии, как правило, даже мало осознавая, что за пределами его языка живет другой мир, другой взгляд, другая модель мировосприятия и с этим всем богатством следует вести диалог культур.

Когда лингвисты обнаружили, что анализ языковых значений является умелой отмычкой от кладезя народной мудрости (2), открытия из этой области посыпались как из рога изобилия. Количество исследований, конференций, а теперь даже и журнальных публикаций, посвященных «специфике русского национального менталитета», «пресловутой русской душе» — поражает. Инициатива, кажется, как обычно принадлежала Анне Вежбицкой, объявившей душу, судьбу и тоску тремя специфически русскими понятиями (3). Чисто хронологически именно вслед за ее статьей последовал шквал публикаций, посвященных именно специфике русского национального характера и менталитета, хотя справедливости ради отметим, что о специфике можно вести речь только в том случае, когда проводится сопоставление и устанавливаются различия. Дискуссия по сути своей воистину интернациональная, здесь и работы Вежбицкой (4), и книги европейских культурологов, таких как, к примеру, Даниэл Ранкур-Лаферрьера (5), написавший труд под названием «Рабская душа России», и статья Татьяны Толстой «Русские?» (6), и уже ставшие регулярными журнальные публикации от «Итогов», исследовавших в конце девяностых русское «заодно», до «Русского репортера», регулярно публикующего лингвистические эссе о специфическом взгляде русских на мир, выражающемся в непереводимом на иные языке понятии «собираться» в значении «намереваться» что-либо сделать. Здесь же труды о «Наплевательстве» (7), и многочисленные работы русских лингвистов о почти что отжившем «авось», считающих именно это слово и понятие квинтэссенцией русской национальной специфичности (8), и о многом, многом другом.

Вопрос здесь возникает следующий: а отчего общественность *широко* интересуется этими словечками, которых не счесть, и какова структура этого интереса? Ответ как бы очевиден: разглядывая эти слова, русскоговорящий человек с интересом открывает сам себя, глядится в них как в зеркало, подразумевая «Ну надо же, оказывается, мы *объективно* такие эдакие, да еще и сами не представляем, до чего мы такие и эдакие». В разбирательстве слов с точки зрения отражения в них коллективного отчасти осознаваемого, а иногда и бессознательного, конечно, присутствует, как мы уже отметили, некоторый фокус, заключающийся в обнародовании общедоступных в силу присут-

ствия в языке, но не очевидных общенациональных мировоззренческих *глубин*, возникших не здесь и теперь, и сложившихся, как и тип внешности, любовь к снегу и русской зиме, распределение по ареалу обитанию русскоязычного населения определенных групп крови, ферментного обмена, позволяющего хорошо переносить алкоголь и многое другое, в результате эволюции всех информационных систем человека от взаимодействия со средой — физической (химической, географической) когнитивной.

Каждый народ как-то мыслит сам себя. Собственный образ, не реконструированный, а вымышленный, такая же легенда, хранящаяся в наивной картине мира, как и любая другая, в том числе как и миф о том, каков какой-то другой народ. Сталкивать этот миф с данными лингво-культурологического анализа так же занимательно, как проверять диагнозы экстрасенса клиническими анализами. Это же интересно применять и к другим культурам, не только к своей.

В Европе и Америке, например, считают, что русские едят на завтрак свиной жир, не умеют читать, отважны и сердобольны. Но так ли это? В России монголо-татарское иго мыслят как столетия, проведенные в плену у жестоких дикарей, остановивших развитие куда более прогрессивной славянской цивилизации. Но так ли в свою очередь и это? Представления о японцах европейцами как о коварных и непонятных хитрецах, развитых интеллектуально, но не развитых духовно, напоминающих роботов, которых они в совершенстве изготовляют, отражено даже в кинематографе (любопытно отметить сходство марсиан с японцами в фильме «Марс наступает» Тима Бертона и многое другое). Но точен ли этот штамп? Мир захвачен идеей грядущего всепоглощающего нашествия китайцев, представляя их трудящимися муравьями денно и нощно за чашку риса, копирующими чужие изобретения, но согласуется ли это с фактами, которые дает изучение их культуры и языка?

Народы, этносы, не таковы, какими их мыслит вульгарное сознание других этносов и народов.

Орда, по утверждению Льва Гумилева (9), была высокой цивилизаций, а этический кодекс, принятый Чингисханом — «Великая Яса», неслыханное нарушение племенных обычаев, — ознаменовала конец скрытого периода монгольского этногенеза и переход к явному периоду фазы подъема с новым императивом: «Будь тем, кем ты можешь быть». Принятый Ясой в первой трети XII века принцип свободы вероисповедания и не преследования за убеждения наряду со многими другими, такими как императивная взаимовыручка, делает портрет

этого этноса совершенно иным, не гармонирующим с бытующими в головах россиян представлениями о диких монголах.

Тонкие и проницательные наблюдения Маргарет Тетчер о китайцах (10) не менее ошеломляют носителя обычных представлений, чем откровения Льва Гумилева об Орде: «Первая черта этого менталитета, — пишет Тетчер, — это природное превосходство. Самомнение, которое возникло на основе богатой истории и культуры, особенно во времена династии Мин (1368—1644), все более напоминало эгоцентризм. Это имело решающее значении для Китая еще и потому, что на этот период приходится подъем современной Европы, с которой в конце XVIII и на протяжении XIX века китайцам приходилось иметь дело. ... На протяжении веков китайцы думали о себе как о Срединном царстве, как о центре цивилизованного мира. ... Вторая черта китайского менталитета — ощущение уязвимости. Выходцу с Запада трудно понять причину бесконечных рассуждений о военных планах и проектах, направленных против современного Китая. ... Правительство Китая всегда ощущало уязвимость перед посягательствами со стороны менее цивилизованных (! — *М. Г.*), но более сильных соседей. Параноидальная идея не становится более здравой от того, что в нее искренне верят...» Примеры, опровергающие расхожие представления о национальных характерах, многочисленны. Собственно история стран и история слов (понятий) — принципиально важный источник, помогающих хоть как-то интерпретировать сегодняшний поведенческий и мировоззренческий абрис этноса.

Но история какой глубины? Ведь рассмотрение истории человека с древнейших времен позволяет найти скорее тотальное сходство, нежели различие. Так, Э. Б. Тайлор (11) отмечал: «При рассмотрении с более широкой точки зрения характер и нравы человечества обнаруживают однообразие и постоянство явлений, заставляющих итальянцев сказать "Весь мир одна страна". Как однообразие, так и постоянство можно проследить, без сомнения, с одной стороны, в общем сходстве человеческой природы, с другой, в общем сходстве человеческой жизни».

А Вяч. Вс. Иванов в «Избранных трудах по семиотике и истории культуры» (12) высказывает суждение, что «все известные языки мира — около 6000, группируемых примерно в 400 семей — восходят не больше, чем к 10—12 наиболее ранним макросемьям (которые в конечном счете все могут происходить из одного источника, что согласовывалось бы с моногенезом в свете молекулярной биологии)».

Принципиальным установлением этого исследования является постулирование того факта, что для описания мировоззренческо-

го статуса этноса значима только когнитивная информация, которая хранится в языке этого этноса. Иначе говоря, правило, предложенное философами языка, — есть слово, значит есть явление (13), — для нас имеет и обратную силу: нет следа в языке, значит нет когнитивной сущности. Иначе говоря, для нас существует только та история, которую «видит язык», являющийся очевидно наиболее универсальной системой фиксации человеческих представлений как в синхронии, так и в диахронии. При этом данные лингвистической археологии признаются нами существенными для составления портрета того или иного национального менталитета. Так, сведения о том, что слово «истина» со времен «Судебника» и вплоть до времен Вл. Даля обозначало «наличные деньги», для этого культурно-антропологического исследования, выполняемого во многих аспектах при помощи лингвистической археологии, — важнейшее данное, позволяющее объяснить стоящий за сегодняшним понятием «истины» инвариативный смысл утверждения «истина — это то, что есть, существует», предопределяющий дальнейшие метаморфозы этого понятия, столь тонко описанные в исследовании Н. Д. Арутюновой «Истина и судьба» // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 305.

В этом принципиальное отличие предлагаемого исследования от философского или структурального, имманентно описывающего систему языка с точки зрения только лишь актуализированного формального факта (14). Являясь по сути антропологическим, это исследование опирается на утверждение объемности и надличности информации, записанной в языке и одинаково актуальной для понимания мировоззренческой системы этноса вне зависимости от того, взята эта информации из этимологии, сегодняшней сочетаемости или словарных определений. Метод исследования мы опишем далее, а сейчас ограничимся лишь констатацией того факта, что для нас язык представляет собой культурный слой, на котором растут деревья современных представлений того или иногда народа, отвечающего на вечные вопросы: кто, когда, куда, зачем и почему.

В фокусе внимания нашего исследования два менталитета: русский и французский. Французский менталитет описывается с позиций менталитета русского. Независимо друг от друга описываются оба менталитета и показывается их взаимная специфичность. В отличие от иностранных коллег, часто прибегающих к материалу, взятому из художественной литературы, внутренне противоречивому как в отражении явлений жизни, так и в словоупотреблении (не будем забывать об авторстве, распространяющемся и на семантический, и на синтак-

сический уровни языка), мы использовали материал из общеязыкового фонда, анализировали общеязыковые, а не авторские метафоры. Для этой цели во французской части мы использовали TLF и многочисленные словари, в русской — компьютерную базу данных издательского дома «Коммерсантъ», а также данные словарей. Употребление каждого слова проверялось нами не единожды и не дважды, а сотни и тысячи раз. Наше внимание было сосредоточено на исследовании понятий, мы пытались вглядеться в их «глубину» (именно поэтому обращались к этимологии и истории развития значения), описать закрепившиеся за ними коннотативные образы, мы, в отличие от Анны Вежбицкой (1), не касались ни синтаксиса, ни морфологии, ни словообразования, поскольку считали, что исследование некого первоначального, базового набора понятий, находящегося в основе национального менталитета, предопределит все дальнейшие особенности, отчасти даже и синтаксические. В нашем исследовании мы описывали только существительные, исходя из весьма спорного интуитивного представления о том, что именно существительное «конденсирует» в себе первоначальные опорные точки представлений, из которых дальше может строиться система взглядов, структура менталитета. Это не означает, что глаголы или предлоги не годились бы для нашей цели, однако выбор так или иначе сделать было необходимо, да и энциклопедические словари, представляющие ту или иную произвольную сферу знаний, поддержали нашу интуитивную выборку: представление любой сферы знаний происходит на девяносто процентов при помощи растолковывания понятий, выраженных существительными.

Иначе говоря, мы описывали слова в двух языках, утверждая эти слова взаимными переводческими эквивалентами, и через них пытались разглядеть особенности менталитетов, выработавших и давших дальнейшую жизнь этим понятиям. Таким образом, мы изучали национальный менталитет через язык и лингвистическими средствами, очевидным образом придавая нашему исследованию статус лингвокультурологического. Основы представления об этой науке прекрасно сформулированы В. Н. Телия (16) в ее последней книге «Русская фразеология», и звучат они так: «Лингвокультурология — это часть этнолингвистики, которая посвящена изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии. ... Лингвокультурология исследует прежде всего живые коммуникативные процессы и связь используемых в них языковых выражений с синхронно действующим менталитетом народа... Объект лингвокультурологии изучается на “перекрестке” двух фундаментальных наук:

языкознания и культурологии. Последняя исследует такой атрибут человека, как его самосознание... Для культурологического анализа ...понятие культуры является базовым... Культура... — это мировидение и миропонимание, обладающее семиотической природой... Культура — это своеобразная историческая память народа. И язык, благодаря его кумулятивной функции, хранит ее, обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в настоящее, но и из настоящего в будущее».

Прежде чем сформулировать наши цели, задачи, методы исследования и прочее, о чем должно рассказывать введение, охарактеризуем кратко ту парадигму, в которой находится наше исследование. Лингвокультурология — часть культурологии, которая, в свою очередь, представляет собой область культурной, социальной и структурной антропологии. В связи с этим невозможно не упомянуть, вдобавок к уже цитировавшимся авторам, имена Леви-Стросса (17) и Бодрийара (18). Основы этнолингвистики, определение ее задач и методов были сформулированы в работах Н. И. Толстого (19). В настоящее время именно в славистике развивается теория народных стереотипов и особой информации, содержащейся в фоновых знаниях, отражающих образ мира. Здесь большую роль сыграли работы С. М. Толстой (20) и С. Е. Никитиной (21). Особый интерес к реконструкции «наивной картины мира» проявлялся и проявляется многими современными лингвистами, среди которых, на наш взгляд, особое место принадлежит Н. И. Сукаленко (22). «Отцами» всего этого направления, сформулировавшими также и философские первоосновы подобного поиска, могут, безусловно, считаться В. фон Гумбольт (23), Э. Сепир (24) и В. Н. Топоров (25) — практически ни одна работа не только по лингвокультурологии, но и — шире — по культурологии диахронической и современной, не обходится без многочисленных ссылок на их произведения и обширных цитат из них.

Контрастивных исследований такого рода совсем немного. В области романской филологии и также в области французско-русских сопоставительных исследований особую роль играют работы В. Г. Гака (26, 27, 28), без знания которых невозможно было бы сделать ни единого шага по этой terra incognita. Ему же принадлежит особая роль в разработке и обобщении теоретических основ контрастивной лингвистики как отдельной отрасли языкознания.

Однако мы скромно надеемся, что не повторили в нашей работе уже достигнутых результатов. Охарактеризуем, отчасти чтобы показать это, наши цели, методы исследования, материал, а также дадим

предварительную общую оценку достигнутых результатов. Наша цель заключалась в том, чтобы провести контрастивное исследование ключевых абстрактных понятий, составляющих основу французского и русского менталитетов.

Контрастивное исследование проводилось следующим образом (метод):

Французские и русские понятия описывались через следующую систему шагов.

1. Словарное определение понятия.
2. История словарных определений.
3. Этимология.
4. Анализ на соответствие какой-либо мифологической системе (античная мифология, славянская мифология, христианство, атеизм, понятийная система Рационализма или просвещения и пр.).
5. Поиск соответствующих аллегорических изображений понятий, других визуальных систем.
6. Анализ современной сочетаемости слов.
7. Описание вещественной коннотации понятия.
8. Сопоставление по позициям.

Материалом для исследования и сопоставления послужили предварительно рациональным путем отобранные такие абстрактные существительные, представляющие, по нашей гипотезе, мировоззренческое ядро исследуемых этносов (то есть те базовые категории, элементы понимания которых находят отражение в рядах других отчасти производных представлений):

русские: *провидение, участь, доля, судьба, рок, опасность, угроза, риск, случай, удача, шанс; добро, зло, истина, ложь; душа, совесть, ум, разум, рассудок, интеллект;*

знание, мысль, идея, размышление, причина, следствие, сомнение, уверенность, цель; страх, ужас, боязнь, испуг, паника, радость, ликование, восторг, гнев, ярость, бешенство.

французские: *providence, destin, destinée, sort, fortune, danger, péril, menace, risque, occasion, hasard, chance, veine, bien, mal, vérité, mensonge; âme, conscience, intelligence, esprit, raison; connaissance, savoir, idée, pensée, cause, raison, effet, conséquence, réflexion, doute, certitude, assurance, but, fin, objectif; joie, jubilation, ravissement, emportement, fureur, furie, rage, peur, angoisse, appréhension, crainte, effroi, épouvante, frayeur, terreur.*

Каждое слово просматривалось в 500—2.500 тыс. контекстов, при необходимости проводились дополнительные консультации с носителями языка.

Библиография

1. *Сахото К.* Норико Х., Райс Дж. Эти странные японцы. М., 2004.
2. *Маковский М. М.* Удивительный мир слов и значений. М., 1989.
3. *Wierzbicka A.* Dusa (soul), toska (yearning), sud'ba (fate): Trec key concepts in Russian language and Russian culture // Metody formalne wopisie jezikow stowianskich. Biatyskok, 1990.
4. *Вежбицкая А.* Язык, культура, познание. М., 1996.
5. *Ранкур-Лаферрьер Д.* Рабская душа России. М., 1996.
6. *Толстая Т.* Русские? Нью-Йорк: Портфель. Ардис, 1997. С. 294—302.
7. Итоги. №№ 16, 20, 22. 1990.
8. О русском «авось» писали А. Вежбицкая (см. 2), Е. Разлогова в «Путеводителе по дискурсным словам русского языка». Т. 2. 1997, и др.
9. *Гумилев Л.* От Руси к России. М.: АСТ, 2004. С. 127.
10. *Тетчер М.* Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. М., 2007. С. 190—191.
11. *Тайлор.* Первобытная культура. М., 1989. С. 21.
12. *Иванов Вяч. Вс.* Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. IV. М., 2007. С. 81.
13. *Гумбольдт В.* О мышлении и речи // Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
14. *Арутюнова Н. Д.* «Истина и судьба» // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 305.
15. *Апресян Ю. Д.* Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966.
16. *Телия В. Н.* Русская фразеология. М., 1996. С. 217, 218, 222, 226.
17. *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. М., 1985.
18. *Бодрийар Ж.* Общество потребления. М., 2006.
19. *Толстой Н. И.* О предмете этнолигвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Арсальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. М., 1983.
20. *Толстая С. М.* К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора. Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения. 1. М., 1992.
21. *Никитина С. Е.* Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.
22. *Сукаленко Н. И.* Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. Киев, 1993.

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА

23. *Гумбольдт В.* О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
24. *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
25. *Топоров В. Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
26. *Гак В. Г.* Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1989.
27. *Гак В. Г.* Сопоставительная лексикология. М., 1977.
28. *Гак В. Г.* О контрастивной лингвистике. Новое в зарубежной лингвистике. М., 1989. С. 5—17.

Глава первая

АБСТРАКТНОЕ И МЕНТАЛИТЕТ

Что такое абстракция?

Во введении мы сказали, что будем добывать знания об особенностях мировосприятия французов и русских из слов их языков. Но что такое могут рассказать нам слова, и каким образом? Изучая особенности понятийной системы языка, то есть смысл слов, невозможно уклониться от упоминания того, каким образом трактовалась и трактуется абстракция как таковая, характеризующая любую мыслительную деятельность и лежащая в основе образования понятий.

Хорошо известно, что в истории философии до Гегеля конкретное понималось главным образом как чувственно данное многообразие единичных явлений, а абстрактное — как характеристика исключительно продуктов мышления (1, 2). Первым категории абстрактного и конкретного ввел именно Гегель, понимая под конкретным диалектическую взаимосвязь, синоним расчлененной целостности, а под абстрактным отнюдь не противоположность конкретному, а этап движения самого конкретного. Абстрактное — по его мысли, нераскрывшееся, неразвернувшееся, неразвившееся конкретное (3).

Скажем сразу, такое соображение в корне противоречит данным, получаемым в ходе исследования развития языков и, следовательно, мышления.

Дабы сделать свою мысль понятной, Гегель прибегает к метафорам, следуя по пути, проторенному самим языком, ведь иным способом осознать вещи отвлеченные трудно. Он сравнивает абстрактное и конкретное с почкой и плодом, с желудем и дубом (4), через эти символы он объясняет идею развития и так далее. Именно объясняет, а не просто иллюстрирует. Почему он действует таким образом? Потому

что именно таким естественным образом развивалась и сама человеческая мысль: от анимизма, то есть от приписывания абстрактного смысла (души) конкретным вещам — к приписыванию образов идеальным сущностям, которыми по природе своей и являются абстрактные понятия. Но пойдем дальше: почему желудь и дуб, почка и плод? Почему именно эти образы должны были проторить дорожку к нашему пониманию? Потому что образ дерева является самым древним и самым универсальным в человеческой истории (5), он резюмирует многие значимые для человека смыслы, и достаточно абстрактное рассуждение «присоединить» к нему, как оно непременно обретает объяснительную силу. Этим примером с Гегелем мы иллюстрируем два важных постулата: абстрактное для понимания трактуется через конкретное, успех «предприятия» зависит от удачности выбора этого конкретного. Если так называемое конкретное берется из общекультурного фонда образов, метафор, аллегорий, уже неоднократно истолкованных культурой, в случае с деревом — по меньше мере индоевропейской, — реципиент воспримет послание максимально адекватно, если конкретное, образ, аллегория будут инновационным (мы говорим в таких случаях «смелый образ»), то перед нами будет не попытка растолковать абстрактное для понимания, а иной феномен, относящий к области художественного творчества, который в этой книге исследоваться не будет.

Отметим на полях, что применять лингвокультурологические и антропологические практики к анализу философских текстов бывает заманчивым занятием, дающем неожиданные результаты. Раз уж мы коснулись Гегеля, то отметим ему в полемическом задоре, что противоположности — он использует такой когнитивный конструкт для описания главного диалектического закона — обнаруживаются исключительно в идеальном, а отнюдь не в реальном мире. У слов и понятий «лошадь», «дом», «стая», «телега», «космонавт» нет антонимов, действия и движения типа «рождаться» и «умирать», «нагреваться» и «остывать», «больше» и «меньше» противопоставляются лишь в европейской рационалистической системе рассуждения по одному из множества признаков и отражают локальный способ мышления, ограниченный во времени, а отнюдь не универсалию, способную объяснить законы развития «природы, общества и сознания» (Ленин «Империализм и эмпириокритицизм»). Сразу уточним, что, по нашему убеждению, всякий признак или действие абстрактны уже в силу того, что могут характеризовать объекты из совершенно различных классов, то есть абстрагируясь от специфического, и поэтому именно

среди них с такой легкостью образуются антонимические пары (даже прилагательным, образованным от существительных, обозначающих конкретные вещества, можно в известных контекстах найти антонимы: шерстяной свитер — синтетический свитер и пр.)

Противоположности (антонимы) как феномен придуманы человеком и приписаны всякой отраженной в сознании действительности, что в полной мере характеризует его способ мышления, но не саму действительность. Из сказанного напрашивается вывод, что соответствующий диалектический закон распространяется только на мир идей, но не на мир вещей, описывает закономерности мышления, но не природы. И еще одно лингвистическое возражение: каждый историк языка знает, что любое абстрактное понятие некогда было конкретным (о разделении абстрактного и конкретного см. пункт 1.2.) и проделало долгий путь к абстрагированию. У А. Доза читаем: «Первоначально абстрактное понятие могло обозначаться только с помощью конкретного: "comprendre" в латыни имело значение "схватить", в древнегреческом "гнев" обозначался или, точнее, символизировался словом "желчь" (6). Многочисленные примеры, иллюстрирующие это положение, приведены в настоящем исследовании в главах 2, 3 и 4 и доказывают, что каждое абстрактное понятие прошло долгий путь развития из конкретного, абстрактное — результат развития конкретного.

Подобные рассуждения, представляющиеся нам крайне увлекательными и неизменно приводящими к параллелям между гегельянством и дососсюровской лингвистикой, не различавшей понятие и слово, мышление и реальность, язык и речь. Нам кажется интересным для исследования тот факт, что точные науки ушли от естественного языка, как от непригодного для выражения однозначной истины именно в силу специфичности и неоднозначности абстрактных языковых понятий (на ум приходит известная цитата из Брюсова) и, возможно, именно благодаря этому в рамках этих наук были открыты законы существования и развития реального мира, в отличие от философии, претендовавшей и претендующей на подобную роль, но неизменно отражающей сложные антиномии человеческого мышления и восприятия.

К сказанному добавим, что само понятие абстракции произошло от латинского abstractio, обозначающего отвлечение. Этот термин ввел Боэций для перевода греческого термина, употребляемого Аристотелем для обозначения «формирования образов реальности (представлений, понятий, суждений) путем отвлечения и пополнения» (7).

Здесь нужно поставить еще один акцент, важный для дальнейшего исследования: во-первых, согласимся, речь часто идет именно об образе, причем в обыденном понимании этого слова, а во-вторых, реальность, о которой говорится внутри кавычек, может быть идеальна и не исчерпываться представлениями, понятиями или суждениями. Отметим также и то, что в соответствии с приведенным определением всякое языковое понятие, по крайней мере на первой ступени анализа, является абстракцией.

Далее мы покажем, что разграничения существительных на абстрактные и конкретные процесс непростой и осуществляемый при установлении его референтивных связей, а пока отметим, что какие бы то ни было теоретические намерения, связанные с обсуждаемыми проблемами, неизменно разбиваются о терминологическую путаницу, царящую на уровне определения исходных понятий.

Как различают понятие и значение

Достаточно констатировать: понятие — категория философско-логическая, значение — лингвистическая. Но ни в языкознании, ни в философии этот водораздел не соблюдается и оба термина употребляются наравне друг с другом, создавая незавидную с точки зрения стройности лингвистической теории взаимную конкуренцию. При этом одни ученые отождествляют понятие с лексическим значением слова, а другие отрицают их связь (8) — ситуация, свидетельствующая о самом начальном этапе приближения к поставленной проблеме.

Об этом же свидетельствует и непреодолимая даже для грамотного лингвиста терминологическая путаница на первой же ступени анализа: в структуре понятия обычно выделяются три компонента: сигнификат, интенсионал и денотат, отношения между которыми «сложные и до конца не выясненные» (9). Выяснению этих отношений, видимо, в немалой мере препятствует то, что в языкознании зачастую не различают первые два компонента, сигнификат именуют «наивным понятием», «языковым понятием», «означаемым», «десигнатом», «денотатом языковым», «коннотацией», коннотацию (признаки, которые не включаются в понятие, но которые окружают его в языке в силу различных ассоциаций) называют интенсионалом, в значении которого употребляется также непрозрачное понятие «компрегенсии». Картину дополняет заключение, что «понятие, лежащее в основе лексического значения слова, характеризуется нечеткостью, размытостью границ» (10). Понятно, что можно выстраивать различные цепочки отношений, приписывая этим отношениям, как и самим звеньям цепи, самые

различные признаки и взаимоотношения — все это свобода поиска, умноженная на переводной характер трудов классиков этого направления, в которой нет вреда. Ощущение тупика возникает от предположения, что понятие существует до слова, с возникновением которого (слова) мы можем говорить о значении, структурирующем «нечеткое и размытое понятие», поскольку в этом случае мы утверждаем примат сознания над языком. Подобное утверждение и по сей день остается камнем преткновения для философов языка и психолингвистов, являя собой образец неразрешимой глобальной проблемы. Мы воздержимся от теоретизирования на эту тему, поскольку уже и так было высказано достаточно дискуссионных предположений, и договоримся, в связи с невозможностью считать так или иначе, свободно оперировать обоими терминами, не ссылаясь на какие-либо терминологические рамки. Для нас важно, что понятие, или значение, — это та идеальная сущность, которая стоит за материальной стороной слова, за которой в свою очередь может находиться также идеальная или материальная реальность.

Благодаря этой двойной референции возможно наметить путь разграничения абстрактных и конкретных существительных — фактов столь же очевидных, сколь и трудно определимых.

Абстрактное и конкретное

Даже при первом приближении понятно, что безупречно сформулировать различие абстрактного и конкретного, в частности, существительного — задача непростая, ведь мы понимаем, что и в том и в другом случае за словом стоит понятие — сущность идеальная, а отнюдь не реальная. Однако провести такое разграничение кажется соблазнительным, ведь значение слова «рука» можно условно изобразить на бумаге, то есть перевести на язык символов (картинок), а слово «совесть», которое и определить трудно, и объяснить трудно, изобразить нельзя. А что это мы изобразили на бумаге, когда рисовали «дом» или «корабль»? Самым древним из известных человеку способов, пещерным и наскальным, мы изобразили наше представление о классе предметов, изобразили абстрагировано, так сказать в общих чертах. Если спросить нас, а что такое «дом» или «рука», наиболее точным действием будет нарисовать и сказать «вот!», нежели пытаться перевести ответ на язык толкования, то есть начать то, что нарисовано на листочке, выражать через абстрактные слова естественного языка. Типа «дом — это жилище, конструкция, обычно служащая для защиты человека и так далее...». Почему? А потому, что на естествен-

ном языке, непременно образующем порочные круги понятий, не выстроить безупречного демаркационного определения, различающего абстрактное и конкретное, хотя на бытовом уровне даже школьник отличит одно от другого.

В русском лингвистическом энциклопедическом словаре отсутствует статья, посвященная абстрактной и конкретной лексике, а в школьном учебнике эта проблема представлена и разрешена просто и однозначно и не вызывает сложностей в понимании, потому что толкуется она на примерах. В описании смысла конкретного через абстрактное есть смысловой конфликт, который можно условно обозначать как конфликт объема: объяснение — это сужение, отсечение лишнего смысла, демаркация различий. Использование абстрактных понятий для описания конкретных вещей по сути является постоянным расширением, размыванием края, ассоциированием однозначного понятия с классом разнородных вещей.

Это противоречие не снял ни язык семантических примитивов, ни какой другой искусственный язык, а, возможно, существующий lingva mentalis хранится за семью печатями и неизвестно, будет ли когда-нибудь обнаружен.

Традиционная точка зрения на проблему разграничения конкретного и абстрактного представлена в работах многих исследователей. Вот, например, небольшая цитата из одной из статей А. Соважо: «Традиционно это различие (различие между конкретной и абстрактной лексикой. — *М. Г.*) основывается на утверждении, что у некоторых слов концептуальное поле соотносится с предметом, существом или объектом, контуры которых более или менее четко определены, в то время как другие слова обозначают понятия, которые трудно уловить. Так, слова *дерево*, *лошадь*, *стол* конкретные существительные, а слова *любезность*, *иллюзия*, *радость* — абстрактные» (9).

С таким подходом перекликается и высказанная в менее традиционной форме идея-метафора «музея всех мыслимых вещей» (10), очевидно и запомнившаяся в силу своей наибольшей понятности: если для данного слова в музее всех мыслимых вещей отыщется экспонат — значит существительное конкретное, если нет — абстрактное. Претензии к подобному разграничению очевидны, однако в этой идее присутствует важный для нашей трактовки этой проблемы аспект. Мы считаем, что конкретное связано со способностью человеческой памяти хранить образы некогда увиденных предметов и актуализировать их для опознания тех или иных слов, обозначающих конкретные понятия (11).

Абстрактные же понятия идентифицируются когнитивным путем либо через рассуждение, либо через ситуацию (систему связей). Эта система связей, скажем мы забегая вперед, и является ключом к описанию специфики национального менталитета, грамматики мировоззрения, зафиксированной в понятийном аппарате того или иного естественного языка. Отражающего в своих пластах и происхождение этноса, и оказанные на него влияния, и специфику его истории, и генетическую предрасположенность народа, возникшего и развившегося на этой территории в такой-то промежуток времени именно так, взаимодействуя и противопоставляясь, отражать в своем сознании окружающий мир.

В связи с предпринятым нами исследованием заметим, что абстрактное понятие, непременно вышедшее из конкретного, стремится к конкретизации, но уже совершенно на другом уровне: оно приобретает черты конкретного предмета через вещественную коннотацию, формирующую вторичный и эклектический конкретный образ, сопровождающий данное абстрактное понятие. Таким образом, мы можем говорить о выявлении некоторой тенденции, которая условно может быть названа ***вторичной конкретизацией*** и представлена в следующем процессе: конкретное понятие абстрагируется, абстрактное понятие конкретизируется через ассоциирование с неким образом (*Страх снедает душу*). Вторичная конкретизация эклектична, овеществляет абстрактное понятие не целиком, развивается во времени через метафорическую систему языка.

Если суммировать сказанное, становится понятным, что именно сложная цепочка референций, выстраивающаяся за содержательной стороной языкового знака, может привести нас к выявлению качественных различий между абстрактной и конкретной лексикой и помочь понять ту роль, которую играет вторичная конкретизация (вещественная коннотация) в осмыслении и функционировании абстрактной лексики.

Референция: слабый референт и сильный референт

Референция, как известно, — это функция лингвистического знака, отсылающая к объекту экстралингвистического мира, реальному или идеальному. Всякий лингвистический знак, осуществляя связь между понятием (концептом) и акустическим образом (именно так определял знак Ф. де Соссюр в своем знаменитом «Курсе общей лингвистики» (12), отсылает также и во внеязыковую реальность. Эта функция устанавливает связь с миром реальных объектов не напря-

мую, а через «внутренний» мир идей, характерных для той или иной культуры. Таким образом, референт отсылает не к реальному объекту, а к мыслимому, следовательно, специфичному для того или иного типа национального сознания. Мы знаем, что даже цветовая гамма может различно интерпретироваться в разных языках (например, «синий» в латыни и во французском языке, или «белый» в русском и языке эскимосов (13)), хотя единство материальной основы кажется максимально объективной. Семиотический треугольник Огдена и Ричардса (14), появившийся в эпоху многочисленных семиотических треугольников и четырехугольников (15) и представляющий отношения между означаемым, означающим и референтом, позволяет задуматься о возможных различных качествах этого референта, уводя от необходимости как-либо трактовать во всех случаях абстрактное означаемое.

Референт, по нашему мнению, может быть сильный, то есть в конечном счете имеющий прототип в мире вещей, и слабый, на такой предмет не опирающийся. Во втором случае слабость референта мощно расшатывается часто встречающейся у абстрактных понятий синонимией, характеризующей идеальные и неуловимые сущности с нечетко очерченными границами (трудно определить, чем грусть отличается от печали или идея от мысли, но легко понять, чем стол отличается от журнального столика), а также подчас достаточно подвижными антонимическими отношениями (так, не до конца понятно, что является антонимом смерти, жизнь или рождение, и горя — радость или покой).

Возможно, именно эти особенности референтов позволяют провести зыбкую границу между абстрактными и конкретными существительными, а также понять, какую роль играет метафора и вещественная коннотация абстрактного существительного, извлекаемая из общеязыковых метафорических сочетаний. Во всяком случае, предположение, что она (коннотация) служит некой «подпоркой» слабому референту, ассоциируя его с неким конкретным понятием, не кажется нам лишенной права на существование. Эта точка зрения позволяет уяснить, что обильная метафорическая сочетаемость многих абстрактных существительных, как и в целом приверженность многих наук к метафорам (приведшая в недавнем прошлом к глобальным дискуссиям о запрете или не запрете использования метафор в научных текстах, см., например, К. И. Алексеев. «Метафора в научном тексте»), происходит не исключительно красоты ради, а также и ради осознания, которое, как мы увидим далее, без метафоры подчас не только затруднено, но и вовсе невозможно. С каким феноменом мы сталкива-

емся, когда изучаем изображения вполне абстрактных понятий, к примеру, в средневековых аллегорических книгах типа лапидариев, бестиариев, морализаторских книг (возьмем, к примеру, Трактат Cesare Ripa Iconologia, изданный впервые в Падуе в 1618 году), усыпанных изображениями Мудрости или Фортуны? О чем нам говорит утверждение, что твердость — это кремень, приведшее через несколько столетий к выражению «у него характер — просто кремень»? О том, что на пустое место референта заступает иная сущность — устойчивый образ, метафорический концепт, связывающий мир идей с миром вещей и делающий в силу этого мир идей осязаемым.

Метафора как способ унификации абстрактного и конкретного

Часто, оперируя абстрактными понятиями, мы сознательно или подсознательно сравниваем их с понятиями конкретными (мы говорим: «талант всегда пробьет себе дорогу», «мое терпение лопнуло», «потерять, убить время», «идея носится в воздухе» и пр.). При этом мы не знаем или, точнее, нам совершенно не важно, что, к примеру, «понять» и для французского языка, и для русского восходят к одному и тому же прообразу — «схватить», «взять», — и в силу этого у нас, индоевропейцев, есть ощущение, что мы что-то ловим головой, как бы «берем в голову». Мы просто говорим: «что-то не могу ухватить, в чем тут смысл?» и все. Мы подсознательно разворачиваем ситуацию охоты за смыслом, знанием, совершаем для себя исконно привычное действие присвоения себе чего-то внешнего и чувствуем себя комфортно в прирученном когнитивно-чувственном мире, позволяющем нашему воображению не только опираться на мнимые сущности, но в случае необходимости даже их подменять. Человек с легкости принимает виртуальный мир компьютера за привычный, теперь уже буквально за среду обитания, тождественную естественной, используя для этого воображение, поставившее знаки равенства между обычными действиями (взять, отправить, получить, открыть, запомнить, убрать в карман) и абсолютно идеальными сущностями (16). Именно для этой комфортности, доступности, познаваемости язык дает нам волшебную палочку метафоры, умножая наши интеллектуальные построения кратно совместимости их с реальностью осязаемой. У Шарля Балли читаем: «nous assimilons les notions abstraites aux objets de nos perceptions sensibles, parce que c'est le seul moyen que nous ayons d'en prendre connaissance» (17). Следует ли из приведенного утверждения, что мы мыслим один, абстрактный, объект в категориях друго-

го, конкретного? И да и нет. Мы не считаем терпение разновидностью резины, а идею не принимаем за некое насекомое. Но мы считаем, что терпение ведет себя как своего рода необыкновенная резина, а идея бывает подобна птице, мухе и так далее. Можно ли, не сравнивая терпение с резиной, объяснить человеку, не знающему, что такое терпение, его феномен? Можно ли понять абстрактные построения, скажем, гегелевские, если изъять из них равнения? Можно ли, не прибегая к сравнению, постичь, что есть совесть или раскаяние?

Мы могли бы переформулировать высказывание Шарля Балли следующим образом: мы ассоциируем абстрактные понятия с конкретными осязаемыми предметами, поскольку это единственный способ, имеющийся у нас в распоряжении, для того, чтобы унифицировать мир идей и мир вещей и существовать в однородном реальном мире и в силу этого овладеть ими. Отождествляя абстрактные понятия с предметами материального мира, мы ощущаем их как реальные сущности. Абстрактные понятия становятся одушевленными или неодушевленными, активными или пассивными, «хорошими», то есть действующими в интересах человека, или «плохими», то есть наносящими ему урон и пр. Вследствие этого человек устанавливает с этими абстрактными понятиями такие взаимоотношения, как и с конкретными, а именно эмоционально окрашенными (человек боится судьбы, уважает случай, работает, как инструментом, своим умом, питает надежду и пр.). Иначе говоря, благодаря овеществлению (вторичной конкретизации) абстрактных понятий человек решает двойную задачу: гомогенизирует мир окружающий и внутренний и унифицирует свои связи с ним. Инструментом для решения столь важной задачи служит метафора.

Обычно метафора понимается как «троп или механизм речи... это употребление слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т. д. для характеристики или наименования объекта, входящего в другой класс. В расширительном смысле термин применяется к любым видам употребления слов в непрямом значении» (18). Отметим существенные для нашего исследования наблюдения над тем, что происходит со значениями слов, входящими в метафору. «Метафора не сводится к простой замене смысла — это изменение смыслового содержания слова, возникающее в результате действия двух базовых операций: добавления и сокращения сем» (19). Важное свойство метафоры — экстраполяция, «она строится на основе реального сходства, проявляющегося в пересечении двух значений, и утверждает полное совпадение этих значений. Она присваивает объединению двух значений признак, присущий их пересечению» (там же).

Именно это ее свойство и позволяет поддержать слабый референт абстрактных существительных, сделать его более осязаемым, в силу этого чуть более реальным и понятным. Мы отчасти разделяем, противясь столь сильной абсолютизации, утверждение Н. Д. Арутюновой: «Без метафоры не существовало бы лексики "невидимых миров".., зоны вторичных предикатов, то есть предикатов, характеризующих абстрактные понятия» (20). Возможно, эта лексика и существовала бы, возможно, в каком-то языке она даже и существует, но такой язык связан с совершенно иным, нежели наш, типом сознания.

В последнее десятилетие в метафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и сознания, национально-специфического видения мира. От осознания того факта, что метафора едва ли не единственный способ уловить и понять объекты высокой степени абстракции, был совершен переход к более концептуальной установке: метафора открывает «эпистемический доступ» к понятию (21). Развитие этой установки приводит к глобализации роли метафоры; так, Хосе Ортега-и-Гассет утверждает: «От наших представлений о сознании зависит наша концепция мира, а она в свою очередь предопределяет нашу мораль, нашу политику, наше искусство. Получается, что все огромное здание вселенной, преисполненное жизни, покоится на крохотном и воздушном тельце метафоры» (22).

Метафорическая яркость утверждения заставляет согласиться с ним и констатировать настоящий «бум» в философии, психологии, лингвистике и смежных с ними дисциплинах, связанный с изучением метафоры. С метафоре видятся теперь ключи к сознанию, подсознанию, мышлению, истории цивилизации, науке, религии, политике, социальному взаимодействию и вообще ко всему специфически человеческому.

Возможно, это закономерная реакция на длительный период всемирного лингвистического увлечения формализацией языка, логико-семантическими построениями, теорией речевых актов, прагматикой и прочими «строгими» областями языкознания. Такая всеобъемлющая оценка роли метафоры кажется нам несколько преувеличенной, поскольку в метафоре мы склонны видеть посредника между чувственным и интеллектуальным началом человека, нам кажется, что в связи с метафорой более уместно говорить не о понимании или мышлении, а о восприятии, сочетающем в себе и интеллектуальное, и эмоциональное, и специфически национальное начала. Отметим, что метафора в современной лингвистике превратилась в своего рода «deus ex machina», она, будучи исходно абстрактным понятием, развила в

современном языке образ всесильного мифологического существа, управляющего податливым человеческим сознанием и умом. Абстрагируясь от этого яркого образа, признаем, что картина мира, зафиксированная в общеязыковых метафорах, отражает очень древние, зачастую пантеистические, человеческие рефлексы мифологизации абстрактного (проявившегося вслед за одушевлением конкретного) и сама, по сути, является современным мифом, форма существования которого специфична и требует при реконструкции особого подхода.

Метафора и миф

Метафора, как мы уже говорили, — перенос, отождествление различно задуманных содержаний, точнее, образов, и именно это, очевидно, является основным способом мифологического мышления и переживания. Одушевляя идею (мы говорим: *идея легла в основу, нашла, встретила понимание, родилась, умерла, будоражит умы, выглядит, привлекает* и пр.), персонифицируя судьбу (мы говорим: *по иронии, по велению судьбы, волею судьбы, бросить на произвол судьбы, баловень судьбы, быть заброшенным судьбой в...* и пр.), материализуя горе (мы говорим: *испить, хлебнуть горя* и пр.), превращая аргумент в некое оружие (мы говорим: *железный аргумент, сильный аргумент, весомый, бронебойный аргумент* и пр.), мы демонстрируем проявления нашего мифологического сознания.

Когда мы говорим о метафоризации абстрактных понятий, мы имеем в виду не ту часть древнего мифологического сознания, когда человек переносил на природные объекты свои собственные свойства, приписывая им жизнь и человеческие чувства, а о той, не менее древней, когда отвлеченному, то есть непонятному, приписывались свойства этой одушевленной природы или самого человека, или же соединяющего себе и то и другое божества. При этом мифологические образы представляют сложнейшие конфигурации метафор, «символический образ представляет инобытие того, что он моделирует, ибо форма тождественна содержанию, а не является её аллегорией, иллюстрацией» (23). Специифика мифологического мышления и сознания, отмечавшаяся многими исследователями мифа, заключается в первую очередь в нерасчленении реального и идеального, вещи и образа, тела и свойства, «начала» и принципа, в силу чего сходство или смежность преобразуются в причинную последовательность, а причинно-следственный процесс имеет характер материальной метафоры.

Идея «реконструкции» символического мира принадлежит немецкому философу Э. Кассиреру, который утверждал общность структу-

ры мифологического и языкового мира, в значительной степени определяющейся одинаковой приверженностью к метафоре.

По его мысли, метафоричность слов — это наследие, которое получил язык от мифа (24). Э. Кассирер выделял два способа образования понятий: логически-дискурсивный и лингво-мифологический. Логически-дискурсивный способ, по Кассиреру, связан с интеллектуальным процессом синтетической дополнительности, объединением частного и общего, с последующим растворением частного в общем. Однако у каждого понятия сохраняется сфера, ограничивающая его от других понятийных областей. При лингво-мифологическом способе образования понятия происходит его концентрация, размывание границ, отождествление с понятием из совершенно иного класса. Э. Кассирер утверждает: «Метафора не явление речи, а одно из конституционных условий существования языка» (там же). Введем одно существенное уточнение: речь, видимо, должна идти не о самой метафоре, а о том, что за ней стоит, о том образе, который возникает благодаря метафорической сочетаемости того или иного слова. Причем возникает объективно, как устойчивая понятная всем носителям языка связь, а не как придумка стихоплета или проворно сочиняющего литератора (который тоже, отметим, редко бывает свободным от навязываемого языковыми рельсами пути метафоризации). У абстрактного понятия этот образ приобретает конкретные черты, само абстрактное понятие мыслится, точнее, воспринимается, как условно конкретное, специфически конкретное, мифологически конкретное. Эта сочетаемость, эти образы имеют крайне сложную и не всегда прозрачную историю, непременно приводящую нас к мифу. Причем к мифу, накрепко привязанному к локальной истории, языку, пережитым влияниям и катаклизмам.

Эти образы — рудименты старых мифов, которые, вступая в новые отношения, образуют новые, современные мифы, отчасти реконструируемые из таких метафор, но существенно отличающиеся от старых, в частности тем, что существуют подсознательно и не осознаются как таковые. Именно этот факт лишний раз доказывает, что в данном случае мы говорим не о понимании, которое всегда осознано, а о восприятии, механизмы которого по большей части кроются в подсознании. Эти конкретные образы, выявляющиеся из метафорической сочетаемости абстрактного существительного, называются вещественной коннотацией и представляют своего рода современный пантеон, описать который задача не современного Гомера, но ученого, который сможет достигнуть своей цели лишь путем кропотливых и не всегда очевидных реконструкций.

Вещественная коннотация и метафорический концепт

Когда мы говорим о коннотации, мы вовсе не имеем в виду всего того многообразия значений этого термина, а также подходов, представление о которых дает небольшая главка «Коннотации как часть прагматики слова», включенная Ю. Д. Апресяном во второй том своих избранных трудов (25). С понятием коннотации в этой работе мы никак не связываем оценочный компонент значения, а также логический аспект формирования понятий, идущий от схоластической логики (разделение акциденций и субстанций) и проникший в языкознание в XVII веке через грамматику Пор-Рояля. В качестве ориентира мы выбираем самое общее понимание коннотации, формирование представления о котором принадлежит, по нашему представлению, Ельмслеву (26). Он считал, что коннотативное значение — это вторичное значение, означающее которого само представляет собой некоторый знак, или первичную — денотативную-знаковую систему.

Добавим к этому, что для нас важна не коннотация как таковая, а ее разновидность — вещественная коннотация, связанная со способностью отвлеченного существительного «иметь такую лексическую сочетаемость, как если бы оно обозначало некоторый материальный предмет и поэтому в мысленном эксперименте м. б. воспринято как конкретное существительное, обозначающее этот предмет. Прилагательные и глаголы, сочетающиеся с данным абстрактным существительным, как правило, имеют среди прочих конкретные значения и в этих конкретных значениях сочетаются с различными конкретными же существительными. Лексическое значение каждого такого конкретного существительного есть материальная, или вещная, коннотация рассматриваемого отвлеченного существительного в данном контексте». Такое понимание вещественной коннотации принадлежит В. А. Успенскому (27), открывшему в конце семидесятых годов прошлого столетия своей небольшой статьей в «Семиотике и Информатике» новую область исследований.

Є этих позиций В. А. Успенский исследует в своей статье всего несколько слов. С категоричностью первопроходца он утверждает, что авторитет — тяжелый предмет из твердого небьющегося металла, полезный, шарообразной формы, в хорошем случае большой и тяжелый, в плохом маленький и легкий (на основе анализа следующей сочетаемости этого абстрактного существительного: пользоваться авторитетом, использовать авторитет, уповать на авторитет, класть авторитет на чашу весов, маленький, хрупкий, ложный, дутый авторитет, высоко держать свой авторитет, расшатать, поколебать, удержать, поддержать

чей-либо авторитет, потерять свой авторитет и пр.), страх — враждебное существо, подобное гигантскому членистоногому или спруту, снабженному жалом и парализующим веществом (выражения: страх душит, парализует, охватывает и пр.), горе — тяжелая жидкость (испить горя, хлебнуть горя, быть придавленным горем, большое глубокое горе, погружаться в горе), радость — легкая, светлая жидкость, находящаяся внутри человека (радость тихо разливается внутри, бурлит, играет, искрится, переполняет, переплескивается через край). Мы уделили такое большое внимание этой шестистраничной статье профессора Успенского именно потому, что, утрируя, она заостряет очевидность связи вещественных коннотаций с мифологическим сознанием, а также потому, что в этой работе анализируется именно абстрактная лексика, а не конкретная, как это делалось исследователями «наивной картины мира» до середины семидесятых годов.

Через год после статьи В. А. Успенского появляется, мы полагаем, совершенно независимо от нее, книга Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» (28), изобилующая анализом абстрактных существительных, вводящая классификацию метафор, образующих вещественные коннотации (без употребления этого термина), а также определяющая понятие метафорического концепта. Особый акцент в книге делается на том, что метафоры пронизывают повседневную жизнь человека и проявляются не только в языке и мышлении, но и в действии. Из того факта, что в англоязычной, да и в русскоязычной культуре спор мыслится как война, об этом свидетельствуют богатая метафорическая сочетаемость этого слова (быть незащищенным в споре, нападать на слабые места в аргументации, критические замечания бьют точно в цель, атаковать противника в споре, стратегия спора, уничтожить оппонента своими аргументами и пр.), следует также и наше поведение во время спора. Спор, понятие «спора»; упорядочивается, понимается, осуществляется как война, потому что о нем говорят в терминах войны. Тем самым понятие упорядочивается метафорически, следовательно, и сам язык также упорядочивается метафорически благодаря возникновению метафорических концептов, определяющих мышление и поведение, отражающих особенности той или иной национальной культуры.

Такого рода метафоры Дж. Лакофф и М. Джонсон называют структурными метафорами, поскольку они одно явление структурно упорядочивают в терминах другого. Вот ещё один из их примеров (29): идеи (или значения) — объекты, языковые выражения-вместилища, коммуникация — передача (таковы, в наших терминах, вещественные

коннотации этих трех абстрактных существительных). Действительно, мысль можно подать, но она может не дойти, зачастую бывает трудно облечь мысли в слова, в слова можно вложить то или иное содержание: большее количество мыслей в меньшее количество слов и наоборот, иногда мысли приходится втискивать в слова, в которых заключен некий смысл, слова могут нести мало и много смысла, бывают, в первом случае, пустыми, смысл может быть погребен под нагромождением слов. Перед нами вполне разработанная мифологическая картина, принятая современным сознанием для идентификации абстрактных понятий «значение», «слово», «общение» посредством вещественных коннотаций, необходимых для такой идентификации.

В языке, по наблюдениям Дж. Лакоффа и М. Джонсона, существуют не только структурные метафоры, но и ориентационные, которые не упорядочивают структуру одного понятия в терминах другого, но проводят организацию целой системы понятий по образу некой другой системы. Они задают отношение этих понятий относительно ориентиров «верх — низ», «внутри — снаружи», «передняя сторона — задняя сторона», «глубокий — мелкий», «центральный — периферийный». Так, счастье, здоровье, сознание, жизнь, сила, власть, добродетель, рассудок ориентированы, в соответствии с их сочетаемостью, вверх, а грусть, болезнь, унижение, порок, эмоции — вниз.

Подобная ориентированность многих абстрактных понятий также связана с мифологической структуризацией идеального мира, поскольку именно ось *верх/низ* является основной во всякой мифологической системе. В цитируемой книге можно найти подтверждение такой точки зрения и еще множество интересных примеров и наблюдений, касающихся вещественных коннотаций и их роли в процессе восприятия и общения.

Важно отметить, что закрепление за тем или иным понятием той или иной вещественной коннотации или, точнее, тех или иных вещественных коннотаций не случайно и имеет в большинстве случаев объективные источники. Этому вопросу мы уделим в этой книге отдельную главу. А здесь подчеркнем: даже беглый анализ вещественных коннотаций показывает, что есть общеевропейские метафорические образы (мифологические проработки понятий), то есть процесс вторичной конкретизации абстрактных понятий шел в русле общей праистории, а есть специфические (так, к примеру, французы совершенно не представляют себе терпение подобным резине). Анализ сходств и различий представляет собой одинаково ценность с точки

зрения антропологического изучения русского и европейского менталитетов, цивилизационно близких, но существенно различающихся.

При этом мы не умаляем значимость изучения конкретных понятий и реалий. Например, академик В. В. Виноградов в «Избранных трудах по лексикографии» (30) тонко подмечает связь переносного значения глагола «насолить» с представлениями о соли, бытовавшими в колдовстве. Это дает нам подсказку для установления возможной связи между древним ритуалом колдовства, свойством соли препятствовать разложению и языческой привычкой бросать от сглаза соль через левое плечо, якобы отгоняя нечистую силу.

Изучение этноса и его менталитета, конечно, должно зиждиться на всестороннем изучения всего того бесценного материала, который можно получить из языка.

Добавим к сказанному, что, как правило, у абстрактного понятия существует несколько различных коннотаций, ассоциирующих его с различными конкретными образами и делающих представление о нем неоднозначным и эклектичным, что, с нашей точки зрения, свидетельствует о распаде целостности мифологического сознания в современной цивилизации. Так, например, французская *réputation* имеет три коннотации «чистая ткань», так как мы говорим *salir, ternir, entacher, déchirer la reputation, avoir un accrot à sa réputation*, «цветок» — *effleurer la reputation de qn* и «конструкция, сооружение» — *bâtir, soutenir, déboulonner, détruire sa réputation*. О чем это свидетельствует? Прежде всего о многожественности ситуаций, к которой применимо это понятие. Так, одно дело незапятнанная репутация человека, несущего общественное служение, на нее он не капнул ни кровью, ни жирным соусом, ни грязью, не задел, не зацепил ее из-за небрежного обращения, другое дело — репутация девушки, которая срывается как цветок, да и сама девушка в европейской мифологии подобна цветку и срывается как цветок, и третье дело репутация человека, идущего вверх по социальной лестнице: каждый его шаг, действие — это строительство жизни, образа, репутации. Можно ли сказать, что во всех трех случаях мы говорим об одной и той же репутации? Очевидно, нет. От этого и совершаемые с понятием действия разные, и вещественная коннотация. В членении ситуации, в соотнесении набора ситуаций с тем или иным понятием, конечно же, кроется этническая специфика, прошлый и настоящий опыт социализации, пережитая история. Другое дело, что сами коннотации всегда будут из универсально-понятийного набора, развивающего свой инвентарь куда медленнее, чем движется история народа.

Итак, подводя итоги рассуждению, изложенному в этой главке, подчеркнем важные для нас соображения:

1. Вещественная коннотация сопровождает абстрактное понятие, помогает его осознанию, реализуя его в конкретном образе.

2. Вещественная конntотация свидетельствует о мифологизации современного сознания.

3. Вещественная коннотация проявляется в общеязыковых метафорах (в индивидуальных метафорах может происходить лишь развитие заданного общеязыковым сознанием образа) и, следовательно, носит объективный (не индивидуальный) характер. Эта коннотация объективно мотивирована и задает императивные законы ассоциирования понятий для каждого носителя данного языка (мы можем сколько угодно развивать образ «резинового терпения», порождая смелые метафоры: мы можем сказать «мое терпение растянуто до предела», «мое терпение взорвалось как воздушный шарик» и пр., но если мы скажем «мое терпение свинтилось» или «его терпение упало», то это будет воспринято в общеязыковом контексте как ошибка, ведущая к непониманию, ошибка, которая могла бы, по нашему убеждению, быть названа коннотативной ошибкой.

4. Вещественная коннотация не осознается носителями языка, образуя своеобразный метафорический концепт понятия, который возможно выявить лишь путем реконструкции.

5. Вещественная коннотация существует не в индивидуальном подсознании, но в коллективном, отражая специфику менталитета того или иного этноса.

Генетическая память слов и специфика национального менталитета

Почему у данного абстрактного существительного возникает именно такая структура значения, такие, а не иные, вещественные коннотации, чем мотивирован нюанс, акцент в его значении, особенно если речь идет об универсальных, как может показаться на первый взгляд, реалиях, таких, например, как страх или удивление? Откуда эти различия?

Ответ, очевидно, таков: логика развития значения слова, возникающие коннотации, обстоятельства истории этноса оказывают суммирующее значение на понятийную систему языка, где, как и в жизни человека, повторяющего историю цивилизации, свою роль играют и родители, и обстоятельства его развития и роста, и обстоятельства взрослой жизни.

Прямо как в марксизме, постулирующем, что «человек есть совокупность биологического и социального» (31), с точностью до каламбурного цитирования — понятийная система языка происходит из его генетического профайла и истории культуры и цивилизации, в которой он развивался и которую развивал.

Отметим, что связь вещественной коннотации, которой мы уделили много внимания в предыдущей главке, с историей развития понятийной системы языка, а, следовательно, и менталитета, отнюдь не прямолинейна. Некоторые связи затериваются (подобно тому, как мы не всегда можем обнаружить источник формы нашего носа или линии бровей, что совершенно не означает, что такого источника могло не существовать), некоторые слова переходят из языка в язык со своим специфическим набором коннотаций, прививаясь на чужой почве наподобие имплантата.

Так же как и не всегда мы можем в точности проследить историческую «память» у современного значения слова. Но они все же нередко существуют и многое рассказывают о специфике национального менталитета. Например, французское frayeur произошло от латинского fragorem, аккузатива fragor, имевшего значение «очень громкий внезапный шум» и именно с таким значением это слово долгое время просуществовало во французском языке. Этот факт во многом объясняет отличие этого французского понятия от русского «испуг», обычно считающихся переводными эквивалентами. В русском понятии «испуг» этимологически также присутствует идея шума. Одна из версий происхождения этого слова связывает его с криком филина (словообразование путем звукоподражания: испуг — от «пуг-пуг» — имитация крика совы), но этот шум, в отличие от шума «латинского», легко опознается, хотя и неприятен на слух. Отчасти этим объясняется тот факт, что frayeur — сильный, хотя и быстро проходящий страх, а испуг может быть и несильным («отделаться легким испугом»). В русском языке поведение «спрута», описанное В. А. Успенским, характерно только для страха (душит, парализует, леденит душу, охватывает), а испуг бывает мимолетным, нелепым, несерьезным, характерным для пугливых, слабых натур. Вдобавок, русский язык как бы помнит возможное «животное происхождение» этого слова, интересно противопоставляя «испуганный» и «страшный» паре *peureux\effrayante*, где именно этимология может служить объяснением перемены слов местами: первое слово во французской паре обозначает «испуганный», а выглядит как «страшный», и наоборот, именно в силу этимологии «страшный» связывается во французском менталитете совершенно не

с французским словом «страх» (peur), а с его, так сказать, «испуганным» синонимом *frayeur*.

А вот пример, демонстрирующий генетическую память коннотации: французское *difficulté* (n. f.) — «сложность» напрямую связано с первоначальным конкретным значением «препятствие, помеха», пришедшим от латинского этимона. Поэтому сегодня мы говорим *rencontrer, trouver, éviter, sourmonter, tourner, esqiver, lever une obstacle*. При этом развитие коннотативного образа пошло по пути уже однажды проторенным человеческим сознанием и одушевило неодушевленную «помеху», дав в общеязыковом метафорическом поле такое представление об этом понятии: *être semé, hérissé de difficultés; une difficulte se dresse, surgit, naît*.

Более подробные исследования нами будут проведены в последующих главах. Эти примеры призваны лечь в копилку иллюстраций, доказывающих, что специфичность понятия и его образа имеют глубокие корни и отражают историю развития нации (32). Процитируем еще раз Дж. Лакоффа и М. Джонсона: «Мы утверждаем, что те ценности, которые реально существуют и глубоко укоренились в культуре, согласуются с метафорической системой» (33). Отсюда вывод: через метафорическую систему мы получаем доступ к ценностям той или иной культуры, причем даже к тем, которые не слишком очевидны. Такого рода подход одновременно и примыкает к изучению «наивной картины мира», реализованной в том или ином языке.

Исследование наивной картины мира, то есть первой ступени формирования национального менталитета, разворачивается, по свидетельству Ю. Д. Апресяна (34), в двух основных направлениях. С одной стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка концепты, своего рода лингво-культурные изоглоссы, стереотипы общеязыкового и общекультурного сознания. К таким понятиям многие лингвисты, среди них и Ю. Д. Апресян, и Анна Вежбицка, относят, например, такие, по их мнению, специфически русские понятия, как «душа», «тоска», «судьба» (35), с чем мы, проведя сопоставительный анализ с французскими аналогами, до конца все же согласиться не можем. В нашем исследовании мы, наряду с выделением специфических концептов, стараемся представить не только национальные особенности интерпретации понятий, но и их видение в той или иной культуре через их образ, через их вещественную коннотацию.

Схожие наблюдения сформулированы и представителями второго направления исследований наивной картины мира, направленных на реконструкцию присущего языку цельного, хотя и «наивного», донаучного взгляда на мир. Этот аспект проблемы остается за пределами

наших интересов, но два постулата, сформулированные в этой области, разделяются нами полностью, а именно:

1. «Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка...

2. Свойственный языку способ концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально специфичен...» (36).

Именно здесь, очевидно, уместно уточнить, что же все-таки мы будем понимать под менталитетом.

Мы знаем из собственного опыта, что разные люди по-разному понимают одни и те же вещи.

В этом смысле мы осознаем, что у каждого свой менталитет, то есть индивидуальная система ценностей. Менталитет, знаем мы по своему опыту, бывает разный не только у людей, но у различных социальных групп. Например, сегодняшний горожанин — образцовый гражданин общества потребления, потребляет вещи как знаки, потребляя само потребление в форме мифа (37), в то время как селянин потребляет и мыслит свое потребление как удовлетворение насущной потребности, да и только. С не меньшей очевидностью выступают отличия женского менталитета от мужского (в норме, в центре феноменологической группы). Если приглядеться к сути различий между различными мировоззренческими системами, то мы обнаружим, что они сконцентрированы на установлении актуальной причинно-следственной связи и ассоциативного связывания, присущего той или иной системе мировосприятия. Так, для студента деньги — это средство к существованию, а для бизнесмена — источник инвестирования, для студента природа — место, где помогают бабушке в деревне или вкалывают на картошке, а для бизнесмена — место сладостного уединения, отдыха, устройства фамильного гнезда и так далее. И, как следствие, набор ассоциаций, для студента деньги — это сегодняшняя радость, пир, развлечение, для бизнесмена — венчур, риск, интеллектуальный драйв. Для студента природа — это нудное, скучное, неприятное, для бизнесмена — рай и наслаждение.

О том, что у разных народов — разный менталитет в количественном отношении, мало кто знает на собственном опыте. Туристические поездки позволяют уловить экзотику, а фильмы, как правило, трактующие общечеловеческие коллизии, не очень позволяют улавливать отличия, особенно если они дублированные.

О специфике национальных менталитетов знают добросовестно изучающие иностранные языки, переводчики, политики, дипломаты, культурологи. Знают благодаря сопоставительному изучению знаковых система разных культур — ритуалов, архитектуры, кухни, языка. Но в большинстве случаев такие особенности пока описаны не полно, а только спорадически, и такое максимально полное описание, без сомнения, является одной из актуальных задач современной культурологии и антропологии.

Например, русские воспринимают государство как неповоротливую, неэффективную, агрессивную в отношении человека машину, от которой нельзя добиться того, что она должна, и с которой лучше не связываться — концов не найдешь. Французы же, вскормленные на идеях Французской революции, считают государство детищем собственного разума, продуктом человеческого договора, изобретением. Буквально с молоком матери они впитали идею, что государство — это механизм, сооруженный людьми, который они готовы со страстью совершенствовать и преобразовывать. Для русского государство — свирепый, неуклюжий медведь, для француза — инструмент для достижения общественного блага в форме свободы, равенства и братства.

Французский словарь Le Robert (1993) так толкует понятие менталитета, очевидно заимствованное нами из франкофонной среды: «mentalité — ensemble de croyances et habitudes d'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité commune à chaque membre de cette collectivité». Перефразируя, добавим: менталитет — это своего рода игра в ассоциации, устанавливающая между базовыми понятиями для этноса связи, нетривиальные с точки зрения другого этноса.

Проследить связь понятий коннотации и менталитета и есть одна из основных задач нашего исследования.

Вводя контрастивную тему, мы осторожно пользовались словами аналог, эквивалент применительно к словам разных языков, обозначающим приблизительно или в точности одно и тоже.

Обсуждение вопроса «что такое эквивалент данному понятию в другом языке и какие эти эквиваленты бывают» представляется нам достаточно сложным и требующим отдельного обсуждения.

Что такое эквивалент? Типы эквивалентов

О несовпадении понятия в двух языках (обозначая ситуацию таким образом, мы как бы намекаем на то, что рассматриваем некоторый концепт, смысловой инвариант и его обозначения в разных языках)

очевидным образом свидетельствует затруднение, возникающее при его переводе с одного языка на другой (38). Всегда проще оперировать не отдельным словом, а контекстом, который допроявляет смысл, нюанс значений слов и, в частности, того слова, над которым мы в данную минуту ломаем голову. Так, например, чтобы перевести на французский язык уже цитировавшее слово *страх*, нужно назвать десяток слов, среди них окажутся обозначения также и пограничных с ним слов, например, *angoisse*, весь синонимический ряд, а это уже не перевод, а обозначение семантического поля... А вот контекст сразу подсказывает, в сторону какого страха нужно «двигаться». Если мы хотим перевести на французский язык «он томился неведомым страхом, сам не зная отчего», уместно использовать *angoisse*, а если «он старался побороть свой страх, считая недостойным испытывать его по столь ничтожному поводу», то уместно употребить *epouvante* или *peur*, в зависимости от дополнительного, подсказанного более широким контекстом смыслового нюанса. Этот факт с очевидностью свидетельствует о том, что языки не слишком приспособлены для взаимного перевода, каждый переводчик сталкивался с переводческими муками, которые в том и заключаются, что «подогнать» один язык под другой задача невыполнимая, даже если перевод конкретных слов прост и с легкостью отыскивается в словаре. При этом каждый переводчик знает, что есть слова, которые вообще на другой язык не переводятся.

Но как же так? Антропологи и в частности Э. Б. Тэйлор, которого мы цитировали в самом начале этой главы, утверждали, что глобально между этносами мало различий, все люди озабочены выживанием, безопасностью, достижением целей продолжения рода и процветания, об этом же толкуют и многие социологи, создавая различные модели потребностей (пирамида потребностей Маслоу, например), которые вовсе не обнаруживают национальной специфики (39). Ответ прост: в конкретном, непридуманном, немифилогизированном бытии много универсального. Отличия обнаруживаются в мире придуманном, абстрактном, в тех мифах, в которые различные этносы обернули свое существование. Применительно к нашей теме важно уяснить следующее: там, где есть проблема перевода, есть специфика менталитета, там, где ее нет, мы говорим о человеческой феноменологии, а не о локальной системе отражения предметов, понятий, идей.

То есть, когда мы с трудом переводим с французского контекст, указывающий на тот факт, что на десерт подали сыр, мы имеем дело со спецификой национального видения ритуала еды. Обычно переводчик ставит сноску и трактует ритуал. Когда во французском тексте

речь идет о доброте и широте чьей-то души, мы так и пишем, не сопровождая текст сноской, хотя скорее всего язык оригинала повествует нам о совершенно иных качествах субъекта. Этот миф бытия присутствует во всех сферах жизни, и именно переводчик, культуролог, чувствует его острее всего.

Переводной эквивалент, которые ищет переводчик, — это слово другого языка, используемое при переводе, и степень потери первоначального смысла, степень так называемого переводческого компромисса, позволяет нам установить примерную классификацию возможных эквивалентов, отражающую возможное соотношение понятий в двух языках. Вопрос о различии вещественных коннотаций у двух совпадающих по смыслу существительных не является принципиальным, поскольку коннотация, описывая образ, стоящий за понятием, определяет его сочетаемость и отражает особенности менталитета, то есть раскрывает надстроечные, а не базисные его характеристики. При переводе с одного языка на другой коннотация безвозвратно гибнет, поскольку является реалией другого языка, другого языкового мифа. Сменился язык, автоматический сменилось все — орфография, орфоэпия, смыслы слов, коннотации.

Если констатировать status quo, что переводческие эквиваленты бывают сильными, слабыми и нулевыми, отражая ситуацию возможности, сложности и невозможности перевода некоего понятия на другой язык, то?.. Сильные эквиваленты бывают, с нашей точки зрения, абсолютными и относительными, абсолютно сильный эквивалент дает точный эквивалент понятия, относительно сильный — эквивалент с минимальным признаковым несоответствием.

Приведем некоторые примеры.

1. Абсолютно сильные эквиваленты встречаются как в области конкретной, так и в области абстрактной лексики, описывая либо некие смысловые универсалии (*солнце — soleil, смерть — mort, радость — joie, чесотка — démangeaison, огонь — feu, противник — adversaire*), либо заимствованные и законсервировавшиеся в своем значении слова терминологического свойства (*аргумент — argument, абсурд — absurde*), либо слова, описывающие явления или ситуации одинаковым образом (*колебание — hésitation*). В данном случае понятия, условно говоря, совпадают полностью.

2. Относительно сильные эквиватенты также встречаются в области как конкретной, так и абстрактной лексики, и используются для перевода слов, значения которых минимально «сдвинуты» друг относительно друга (36). Так, например, мы без зазрения совести

переводим *fromage* как «*сыр*», хотя французский сыр отличается от русского не только формой, но также и вкусом, и запахом, и цветом, и месторасположением в меню. Аналигично русское «*ложь*» переводится французским *mensonge*, хотя по-русски «*ложь*» это не только антоним правды, но и истины — не разновидности правды, связанной с идеей правильности, а отдельного понятия, выражающего некие высшие смыслы. Таким образом, у русской лжи есть абсолютное значение, отсутствующее у французского слова, непременно обреченное на потерю в переводе, и на замену его более конкретным французским значением слова *mensonge* — *обман*.

Относительно сильный эквивалент подменяет понятие, но лишь частично.

3. Слабые эквиваленты существуют в основном в области абстрактной лексики, поскольку в области конкретной существенно не совпадающие понятия проще переводить описательно. Следует отметить, что слабый эквивалент — все же эквивалент, то есть передает то же понятие, что и в оригинале, но еще в большей степени подменяет его содержание. При этом в ряде контекстов перевод может быть очень точным, но в целом содержание понятия в двух языках будет не совпадать достаточно ощутимо. Так французское *rêve, songe* обозначает пребывание человека в не-реальности, во сне, в мечтаниях, в грезах, причем часто сложно понять, какое именно из трех вышеперечисленных состояний имеется ввиду. По-русски *сон* и *мечта* понятия совершенно различные, поэтому при переводе мы подменяем более общее французское понятие более конкретным русским, теряя при этом все то, что обычно теряется при такой замене — объем понятия, его наполнение, особый смысл. Или же французское *angoisse*, не имеющее эквивалента в русском языке, обычно переводится как *тревога*, хотя во французском слове выделяются по меньшей мере два компонента, одинаково необходимые для определения понятия: *страх* плюс *тревога*.

4. Нулевой эквивалент — это либо слово, практически полностью подменяющее понятие, либо пропуск в переводе там, где это возможно, либо замена слова целой синтагмой (описание). Так, французское *traversin*, вероятнее всего, будет переведено словом «подушка», так как соответсвующей реалии нет в русском языке (валик, располагающийся вдоль спинки кровати у изголовья). Слово *быт* полностью утратит свое специфически русское значение и превратится в *la vie de tous les jours*, а *l'après-midi* будет либо просто опускаться, либо переводиться как *день*, совершенно при этом изменяя французское членение суток.

Мы заведомо согласны с тем, что подобная классификация могла бы быть более детализированной, но для наших целей важно членение ее на три главных компонента: соответствие, слабое соответствие, несоответствие, поскольку именно такое членение позволит нам увидеть различия и совпадения в русском и французском менталитете.

Установление таких отличий, как это будет показано далее, задача непростая, поскольку, изучая иностранный язык, мы всегда воспринимаем его через призму родного языка, через систему эквивалентов, представленных в словарях и учебниках, что заведомо ведет к искажениям, идущим от грубого отождествления родного и чужого языка. В нашем исследовании мы попытаемся, в частности, через выявление неточности эквивалентов устранить это искажение, по крайней мере в тех сферах, которые описываются выбранными нами четырьмя лексическими ареалами.

Представление выбранных лексических ареалов

Для того чтобы сопоставить миропонимание французов и русских через анализ слов, нам нужно определиться, что именно мы будем сопоставлять. Волюнтаристски мы приняли решение сопоставлять такие понятия, которые просуществовали в языке дольше всего и являются его свого рода идейной основой, вне зависимости в какой эпохе мы находимся, в эпохе Карла Великого, Людовика XVI или Шарля де Голля. Такие группы (это, конечно, далеко не полный из список) могут быть грубо соотнесены со следующими семантическими полями:

1. представление о высших силах, влияющих глобально на судьбу человека абсолютах (понятия, группирующиеся вокруг: *Fortune/Судьба, danger/опасность, occasion/случай, chance/удача, circonstance/обстоятельство*);

2. представления об этических абсолютах (*bien/добро, mal/зло, vérité/правда, истина, mensonge/обман, ложь*);

3. представление о главных органах наивной анатомии (*âme/душа, conscience/совесть, intelligence/ум*);

4. представление о том, что такое мышление (понятия, группирующиеся вокруг: *intelligence/ум, idée/мысль, cause, conclusion/причина, следствие, raisonnement/размышление, connaissance/знание, doute/сомнение, certitude/уверенность*);

5. представление о том, что такое базовые эмоции (понятия, группирующиеся вокруг: *émotion/эмоция, tristesse/грусть, peur/страх, étonnement/удивление, amour, haine/любовь, ненависть, bonheur, mal-*

heur/счастье, несчастье, passion/страсть, joie, plaisir/радость, удовольствие, aversoin/отвращение).

Мы намеренно не включили в пункт 1 Бога и дьявола, предполагая, что представления об этих высших силах наднациональны и детерминированы христианской доктриной.

Мы намеренно не брали социализирующих понятий, отражающих положение человека в социальной среде, ввиду очень высокой обусловленности этих понятий временем и местом, высокой флуктуацией значения.

Мы выбрали именно эти лексические ареалы, оставив за пределами исследования множество других лексических групп, не в меньшей степени отражающих специфику французского менталитета, именно потому, что мы хотели прочертить таким образом основные оси нанизывания других понятий, задав своего рода смысловой и образный вектор для соотнесения. Сверхрациональное, абсолютное, рациональное, эмоциональное, безусловно, этими осями являются.

Формирование каждого из этих лексических ареалов имеет свою историю, несет на себе следы различных эпох. Практически для каждой группы понятий существовали свои вехи — совпадающие с вехами формирования французского менталитета.

Так, например, представление о высших силах было сформировано на основе различных дохристианских и раннехристианских концептов, эклектически еще в средние века. Все слова этой группы — одни из самых ранних заимствований во французский язык, а процесс формирования их абстрактного значения не выходил за рамки старофранцузского периода. Так, *providence* заимствовано из латыни в XII веке с современным значением, *sòrt* с конкретным значением существует с X века, а с абстрактным, хотя и несколько отличающимся от современного (магическое действие негативного свойства), — с XI. С XIII века это слова становится синонимом слова *destin*. *Destin* заимствуется из латыни с современным значением в XII веке, равно как и *destinée*, *fortune* заимствуется из латыни в XII веке с современным значением, *danger* приобретает современый смысл к XIV веку, *hasard* получает абстрагированный смысл к XIII веку, правда со значением *неудача*, *bien* существует в современном значении с X века, *mal* — с IX, *vérité* со значением *мнение, соответствующее реальному положению вещей* употребляется с X века и т. д.

Группа слов, описывающая когнитивную сферу, напрямую связана с развитием наук и в первую очередь философии. Идентификация этих понятий связана с отрывом от обыденной жизни и отражает

потребность их идентификации в абстрактном значении. Соответственно, формирование абстрактных значений этих слов происходит значительно позже, в XVII—XVIII веках, и определение их значения зачастую связывается с именами конкретных философов. Так, например, появление абстрактного значения у слова *raison* датируется XVIII веком и связано с философией эпохи Просвещения и кантианством. *Raisonnement* в абстрактном значении (операция перехода от одного суждения к другому с целью получения вывода) употребляется с XVII века, *pensée* и *idée*, так же как и *conclusion*, также с XVII, философское значение *condition* устанавливается только с XVIII века. Отметим, что установившиеся несколько веков тому назад значения этих слов практически не изменились и активно существуют в современном языке.

Лексика, описывающая эмоциональную сферу, в том, что касается фиксации значения целого смыслового поля, неоднородна, представление о базовых эмоциях, присущих человеку биологически, сформировалось изначально, представление же об эмоциях, принятых в социуме, происходило по мере формирования соответствующих представлений. Так, например, *joie* или *peur* в современном значении встречаются в ранних текстах, а *obsession* впервые в абстрактном значении употребляется с XVI века со значением «состояние человека, одолеваемого демонами», современное значение появляется лишь в постклассическую эпоху и дополняется в XIX веке специальным медицинским значением. Слово *amour*, обозначавшее и просто дружбу, и страсть с эротическим гетеросексуальным компонентом, и куртуазную любовь, меняло свое значение до XVII века в зависимости от эпохи и среды. Слово *antise* стало употребляться абстрактно и обозначать эмоциональное состояние лишь с начала XIX века под влиянием английских фантастических романов и дополнило свое значение, как и очень многие слова из этой группы, с появлением фрейдизма, влияющего на понимание значения тех или иных слов, обозначающих эмоции, также и в настоящее время.

Следует отметить, что именно XVII и XVIII века во многом определили современный облик словаря, связанного с описанием эмоций, когнитивных состояний и социальных терминов. В частности, у Доза читаем: «Классический язык изощрялся в обогащении словаря для лучшего выражения чувств, притом небезуспешно: утонченное общество, салоны, академии, вкус к анализу, успехи картезианства, так же как стремление к порядку в обществе и умонастроении: XVIII век продолжал дело обогащения языка, опираясь на более рационалистическую и научную ориентацию» (6, с. 207).

Мы хотели бы отметить, что выбранные нами лексические ареалы не связаны исключительно с различными временными рамками формирования значений, хотя изучение сосуществования в современном языковом сознании менталитетов различных эпох представляется крайне интересным для наших целей.

Погрешность исследования

Исследования менталитета, основанные на объективных данных, то есть на данных языка и особенно лексико-семантической его стороны — тонкая и изощренная процедура, во многом напоминающая «хождение по минному полю». Прежде всего потому, что язык — гибок и многомерен и находящиеся в его поле факты полежат множественному толкованию. В когнитивной лингвистике считается доказанным, что если в языке нет понятия, то нет его и в менталитете, а для того, чтобы понятие возникло, то есть для того, чтобы его можно было признать существующим, у него в языке должно появиться имя (41). Из этого тезиса возникает соблазн, прямиком ведущий к минному полю — обнаруживать лакуны (плохо переводимые на другой язык слова), запреты на сочетаемость и отсюда сразу делать вывод — нет слова, нет понятия, перед нами специфическая черта. И это правильная логика для первооткрывателей, судьба которых, как правило, трагичная. Открыв новую цивилизацию, они нередко принимали один континент за другой, печально заканчивая дни в желудках аборигенов. Но дальше приходили их последователи, уточняли координаты, укрощали аборигенов... Те, кто будут в дальнейшем уточнять полученные данные, ответят нам на вопрос, что следует из того факта, что какое-то понятия напрочь отсутствует в другом языке в виде одного слова, но выражается описательно, что означается ситуация, когда слова в двух языках похожи по смыслу, как например, «сыр» и «frommage», да вот только выглядит это по-разному и едят это в разных ситуациях. Очевидно, им же, последователям, предстоит ответить на вопрос, как квалифицировать случаи, когда вроде бы в языке есть запрет, и на интересующемся языке так, как мы хотим, сказать нельзя, ну например, и правда нет во французском языке слова «балалайка», или в русском языке нет общедоступного слова «экспейпизм» или «дауншифтинг», но в заимствованном виде оно уже появилось и зацвело на иностранных харчах пышным цветом. Границы между нормой, классикой и живым пластом языка, игра слов, входящая в обиход на годы, а потом бесследно выходящая из него, новые слова — все это вопросы, которые есть, они стоят, но в нашем случае задача — консервативно

описать центр, зоны максимального проявления сущности, оставляя периферию другим исследователям.

Наши погрешности, а также разочарование от опровержения некоторых из приводимых в книге утверждений могут проистекать и из других источников. Прежде всего, словари, даже, к примеру, французские и отличающиеся небывалым уровнем лексикографической культуры, зачастую противоречат друг другу, в особенности в том, что касается значений и употребления абстрактной лексики. Так, например, «Dictionnaire historique de la langue française» (dictionnaires Le Robert, Paris, 1992), анализируя историю понятия *sagesse*, утверждает, что слово устарело для обозначения целомудрия и нравственного начала и что оно употребляется теперь применительно к детям, а также для обозначения спокойных и послушных действий. Le Petit Robert последнего выпуска никак не разделяет этой точки зрения, утверждая в целом обратное. Обращение к информантам в этом случае лишь запутает дело, поскольку непременно будет высказана еще третья и четвертая точки зрения. Мы в нашем исследовании столкнулись с подобной ситуацией и в более принципиальном случае, когда пытались выяснить, существует ли во французском языке столь же активное, как и в русском, понятие «доброты», столь же глобальное и столь же обиходное. Русское понятие не вызывало у нас сомнений, контексты типа «нужно/не нужно делать добро», «он очень добрый», «следует/не следует отвечать добром на зло», «он добрее, чем его брат», «добро должно победить зло», «добро должно уметь защищаться» частотны и однозначно характеризуют соответствующие установки русского сознания. Данные словарей и опрос информантов убедил нас в специфичности этого русского понятия, связанного не с отсутствием соответствующих французских эквивалентов (*la bonté*, *le bien*) и пр., а с заложенным в эти эквиваленты отличием значения (об этом понятии и сопоставлении его с русским эквивалентом см. соответствующую главу этой книги). Различия казались крайне существенными, ряд переводов из вышеперечисленных фраз вызывал симптоматические затруднения, значение русской фразы, взятой из одной театроведческой статьи, «...театр Брехта настраивает на добро», всякий раз требовал долгих и напрасных разъяснений, фраза *elle est bonne* со всеобщего согласия означала скорее «*она простовата*», нежели «*она — добрая*», пока, наконец, не обнаружился некий информант, перечеркнувший все предыдущие построения и давший только что приведенной французской фразе объяснение, практически в точности совпадающее с русским представлением о доброте. Что это значит? Что из этого сле-

дует? Каким образом должен в этом случае действовать исследователь? Главное, что, видимо, следует определить в такой ситуации, что на самом деле является языковым фактом и где его можно отыскать в чистом виде.

Насколько нам известно, словарей, сделанных на основе статистического принципа понимания значений слов, во всяком случае в русском и французском языках, никогда не создавалось.

Откуда же тогда в словарях определения и примеры употреблений?

Определения, очевидным образом, отчасти заимствуются из предшествующих словарей, отчасти дополняются на основе появившихся новых употреблений, замеченных в контекстах.

Контексты берутся из любых письменных источников, считающихся эталонными (по этому же принципу сейчас академик Ю. Д. Апресян создает «Словарь активного русского языка»), группируются по значениям, из них отбираются наиболее однозначно иллюстрирующие значения. Определение абстрактного существительного, трактуемого через другие абстрактные существительные, даже у носителей языка могут вызывать разночтения. Отброшенные двусмысленные примеры непременно приходят на ум в намеренной полемике со словарем. Однако оговорим сразу: спорить с толковым словарем — прерогатива исключительно носителей языка, не дающая особенно ценных результатов, ибо словарь, пренебрегая индивидуальным, дает все же представление об общем, всегда вступающим в известный конфликт с индивидуальным. И это общее представление мы и будет считать нашей точкой отсчета, неким абсолютом, об относительности которого, связанной в первую очередь с широко применяемым в современной лингвистике и лексикографии методом интроспекции, мы имеем достаточно полное представление. Иначе говоря, мы повторим за словарями все их ошибки, считая эти талмуды сборищем языковых фактов.

Что касается двуязычных словарей, то в них толкования и вовсе отсутствуют, а предлагаются переводные эквиваленты, о типах которых мы говорили ранее. Соответственно, из таких переводных эквивалентов можно вынести четыре типа представлений об исходном понятии: абсолютно ясное, относительно ясное, слабое и никакое. Проблема лишь в том, что обратившийся к словарю соискатель не отдает себе отчета в том, какое именно из четырех представлений он получил, и не устает удивляться, когда переводы, дающиеся в словаре, редко «один к одному» подходят для перевода искомого слова в контексте. Таким образом, двуязычный словарь, являющийся проекцией поня-

тийного мира одного языка на понятийный мир другого, может служить в нашем случае источником достаточно большой погрешности, не в том смысле, что мы собираемся, осознавая их непригодность для нашего исследования, пользоваться их данными, а в том смысле, что наше языковое сознание сформировалось на основе таких словарей, неизбежно проецирует мир неродного языка на мир родного языка, имеет свою инерцию, «энергию заблуждения» и непременно приведет к погрешности, которая может быть уменьшена в существенной степени лишь прилежанием и добросовестностью.

Третий фактор, непременно приводящий к погрешности в лексико-семантических контрастивных исследованиях, это всегда неабсолютное владение иностранным языком. Если перед нами — не билингва, этот фактор будет всегда сказываться в той мере, в какой велико несовершенство знаний. Подобное несовершенство характеризует любого представителя другой культуры и мотивировано всем тем набором специфических отличий, о которых мы говорили в этой главе и которые сказываются в первую очередь в области абстрактной лексики. Подобное несовершенство знаний иностранного языка в полной мере свойственно также и автору настоящего исследования.

Важный и, видимо, последний фактор, приводящий к погрешности, двояк и связан со спецификой работы с информантами. С одной стороны, представляется крайне трудным объективно оценить их ответы, которые зачастую спонтанны, внутренне противоречивы, никак не сопряжены с идеей ответственности и поэтому ни к чему информанта не обязывают. К тому же сошлемся на сказанное ранее: значение абстрактного существительного осознается весьма нечетко, а коннотация, часто отражающая национально-специфический образ понятия, вообще существует в подсознательной форме. С другой стороны, для выявления особенностей исследуемых понятий часто приходится давать для перевода русские фразы (когда информант имеет представление о русском языке) и объяснять особенности соответствующих русских понятий. Понять специфику русских понятий часто бывает необходимо, для того чтобы представить более широкий набор переводных эквивалентов, что в свою очередь задача, которая может быть поставлена только перед подготовленным информантом.

Подводя итог сказанному, признаемся в том, что мы готовы к обнаружению погрешности в нашем исследовании, более того, с сожалением осознаем неизбежность ее и будем рады всяким критическим замечаниям, которые смогут помочь улучшить его в каком-либо аспекте.

Вот какие выводы мы можем сделать из вышесказанного.

В этой главе, посвященной описанию теоретических предпосылок исследования, были сформулированы следующие его исходные положения:

1. Абстрактная лексика, описывающая идеальный, созданный человеком мир, — особый класс слов со специфическими отличиями в референтивной сфере.

2. Особенности референции абстрактных существительных, создающие проблемы для их осознания, приводят к появлению и укоренению такой метафорической сочетаемости этих слов, которая приводит к процессу их вторичной конкретизации, выражающейся в появлении у абстрактных понятий вещественных коннотаций, уравнивающих в сознании человека абстрактное и конкретное и делающих понятийную среду более однородной и удобной для интуитивного понимания.

3. Вещественные коннотации, выявляющиеся из общеязыковых метафор путем реконструкции, существуют независимо от воли говорящего, то есть являются фактами языка, но не речи, и, следовательно, существуют объективно, мотивируются объективно, задают законы употребления и ассоциирования. Нарушения этих законов приводят к коннотативным ошибкам.

4. Вторичная конкретизация абстрактных понятий — процесс, позволяющий охарактеризовать современное сознание как мифологическое. Мир вещественных коннотаций — это мифологический мир, отличающийся от классического подспудной формой существования и высокой степенью эклектичности, вызванной множественностью и зачастую противоречивостью коннотаций, закрепившихся за тем или иным абстрактным понятием.

5. Вещественные коннотации не универсальны, варьируются от языка к языку, связаны с историей развития соответствующего этноса и выражают специфику национального менталитета.

6. Выявление специфики национального менталитета может быть осуществлено путем контрастивного анализа абстрактной лексики, распространяющегося на все уровни значения слова (понятийный и образный).

7. Контрастивный анализ лексики проводится путем сопоставления понятийных эквивалентов.

8. Портрет национального менталитета в существенной мере задается представлениями о сверхрациональном, рациональном, эмоциональном и социальном.

9. Всякое контрастивное исследование обречено на погрешность, вызванную субъективными и объективными причинами.

10. Исследование национальных менталитетов представляет универсальный, общечеловеческий культурологический интерес и должно быть написано на общедоступном языке.

Библиография

1. *Богомолов А. С.* Античная философия. М., 1985. С. 216
2. *Соколов В. В.* Средневековая философия. М., 1979.
3. Абстракция. Философский словарь. М., 1968. С. 4—5.
4. *Гегель Г.* Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т. 3. С. 216.
5. *Топоров В. Н.* О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией мирового дерева // Труды по знаковым системам. V. Тарту: изд-во Тартуского ун-та, 1971. С. 9—62 (= 1997?).
6. *Доза А.* История французского языка. М., 1956. С. 196.
7. Абстракция. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 7.
8. Значение // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 262—263.
9. Понятие // Там же. С. 384—385, см. также: *Горский Д. П.* Вопросы абстракции и образования понятий. М., 1961; *Кузнецова А. И.* Понятие семантической системы языка и методы ее исследования. М., 1963; *Комлев Н. Г.* Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969; *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. М., 1974; *Арутюнова Н. Д.* Логические теории значения // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976; *Льюис К. И.* Виды значения // Семиотика. М., 1983
10. *Sauvageot A. A.* Mots concrets et mots abstraits // Portrait du vocabulaire frainsais. Paris, 1974. P. 123—132.
11. *Спрингер С., Дейч Г.* Левый мозг, правый мозг. М., 1983. 256 с.
12. *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М., 1977. С. 98—103.
13. *Меновщиков Г. А.* Язык эскимосов Берингова пролива. Л., 1980.
14. *Ogden, Pichards.* The Meaning of meaning. London, 1946.
15. *Heger K.* Analyse semantique du signe linguistique // Remarques semiotiques. Langue française. Dec. 1969. № 4. P. 44—46.
16. *Иванов Д. В.* Виртуализация общества. СПб., 2002. 213 с.
17. *Bally Ch.* Traite de stylistique. Geneve, 1964. P. 17.
18. Метафора. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 296—297.
19. Общая риторика. М., 1986. С. 194—197.
20. *Арутюнова Н. Д.* Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990. С. 9.

21. *Boyd R.* Metaphor and theory change // Metaphor and thought. Cambridge, 1979.
22. *Ортега-и-Гассет Х.* Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 77.
23. Мифология. Мифы народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 13.
24. *Кассирер Э.* Сила метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 33—44.
25. *Апресян Ю. Д.* Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
26. *Ельмслев Л.* Язык и речь // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965. С. 78.
27. *Успенский В. А.* О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика. Вып. 11. М., 1979. С. 147.
28. *Lakoff G., Gohnson M.* Metaphors we live by. Chicago, 1980.
29. *Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990. С. 393.
30. *Виноградов В. В.* Избранные труды // Лексикология и лексикография. М., 1977.
31. *Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1976. С. 27—29.
32. *Benveniste E.* Civilisation: contribution a l' histoire d'un mot // Eventail de l'histoire vivante. Paris., 1953. Т. 1. P. 47—54.
33. *Лакофф Дж., Джонсон М.* Цит. соч. С. 407.
34. *Апресян Ю. Д.* Образ человека по данным языка: попытка системного описания // *Апресян Ю. Д.* Избранные труды. Т. 2. С. 346—350.
35. *Wierzbicka A.* Dusa, toska, sud'ba: three key concepts in Russuan language and Russuan culture // Metody formalne w opisie jesikow slowianskich. Bialymstoky, 1990. С. 13—32.
36. *Голованивская М.* Художественный перевод, или несвобода творчества // НЛО. 1995. № 13.
37. *Бодрийар Ж.* Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. С. 3—256.
38. *Голованивская М.* Об относительности ума, добра и совести // Доклады на Ломоносовских чтениях / Моск. гос. ун-т. 1996.
39. См., например: *Маслоу А. Х.* Теория человеческой мотивации. М., 1999.
40. *Гумбольдт В.* О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовные чувства человечества // *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 44—61.
41. *Deprun J.* La philosophie de l'Inquietude en France au 18 s. Paris, 1979; а также *Mauzi R.* L'idee du bonheur dans la litterature et la pensee française au 18 s. Paris, 1960.

Глава вторая

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТОВ

В результате воздействия каких обстоятельств французы видят мир одним образом, а русские другим? И почему мы решили, что эти способы мировидения отличаются друг от друга? Ответ на второй вопрос очевиден: французская и русские мировоззренческие системы не совпадают прежде всего в силу несовпадения знаковых систем, языков, которые хранят, отражают, развивают эти системы. Мы уже говорили о том, что мировоззрение и язык (вспомним здесь еще один фундаментальный труд на эту тему — А. Р. Лурии. Мысль и язык — (1)) являются неразделимыми и представляют собой менталитет в его целостности.

Но как этот менталитет сложился, что сделало его таким, а не иным? Можем ли мы вообще знать о этом?

История формирования менталитета для нас в чем-то синонимична истории становления общенационального языка. И в том смысле, что менталитет — это сумма представлений и объяснительных моделей (то есть принятого в культуре способа установления причинно-следственных связей между явлениями), и в том смысле, что понятийная система этноса неотделима от понятийной системы того языка, на котором этот этнос говорит и пишет. Причем это касается не только синхронного уровня языка и сознания, но и диахронического, исторического: поскольку всегда понятийная система языка отражала менталитет народа, сканы прошлого состояния языка, его история является сканом соответствующего этапа развития менталитета, фиксацией истории этого процесса. В этом наш подход отличается от принятого,

например, в социологии или истории (см. работы С. Московиси «Век толп», «Машина, творящая богов», а также монографию Т. П. Емельяновой «Конструирование социальных представлений» (2), М., 2006). Мы не можем ничего домыслить, вывести какие-то факты из общих соображений или знания человеческой природы как таковой, мы связаны представительством мировоззренческих феноменов в ткани конкретных языков, семантических структурах, в истории этих структур. Так, ценные соображения, высказанные Николаем Бердяевым в его работе «Русская идея» (3) о влиянии плотного спеленывания младенцев на Руси на формирования русского самосознания не может быть нами воспринята как существенная, поскольку в русском языке нет никаких смыслов, связанных с этим фактом (выражение «связанный по рукам и ногам» реферируется к иной ситуации).

С другой стороны, сам по себе язык столь сложное, многослойное, постоянно изменяющееся и подверженное множественным влияниям явление, что нередко сложно сказать — есть в нем какой-то факт или нет. Вот очевидный пример: русское отношение к деньгам, произошедшим как понятие от тюркского «таньга», всегда было стеснительным (деньги мыслились как грязь, от любви к ним открещивались, ими можно было оскорбить, унизить, мелочно подсчитывать деньги считалось плохой чертой, предлагалось иметь сто друзей, а не сто рублей) — ни русская общинность, ни христианство, ни уклад сначала крестьянский, а потом коммунистический не способствовали постановке денег в верхний регистр ценностной мировоззренческой шкалы. Но вот прошли несколько десятилетий нового капиталистического времени, и в русский язык, в сферу употребления его средним классом, вошел английский деловой язык, а вместе с ним иная культура взаимоотношений, и иная логика взглядов, и новый пласт представлений. Этот пласт представлений начал воздействовать на российскую иррациональность и непрагматичность в сторону европеизации представлений о деньгах. Так что же мы можем сказать об отношении к деньгам в сегодняшней России? Если мы сочтем, что выражения «засейвить денежки», «пошерить траты», «влить наличность и оживить бизнес», «сверстать семейный бюджет» и пр. — жаргонизмы, пока не повлиявшие на общий характер представлений, — это виденье процесса изменения понятия на самом незначительном уровне. Если мы сочтем, что в современном сознании уже оформилась идея, что деньги семьи — это бюджет и им надо управлять — «подрезать траты в семейном бюджете», «расширить/срезать расходы на отпуск», «предусмотреть в семейном бюджете нового года расходы на поступ-

ление сына, лечение тещи» и так далее — это констатация более глубокого изменения понятия в мировоззренческой системе.

Что поможет нам сделать первую или вторую оценку? Языковые факты и их частотность. Если последних употреблений много и они стали языковыми фактами, значит перед нами тренд изменения представлений о деньгах в русском языковом сознании.

Изучение значений ключевых мировоззренческих понятий в русском и французских языках, изучение истории слов постоянно заставляло нас обращаться к историческим фактам и различным эпохам в формировании этих значений. Эти факты и эпохи могут без натяжки быть названы факторами влияния на соответствующие менталитеты и этим факторам мы хотели бы уделить специальное внимание, прежде чем займемся изложением результатов конкретных исследований.

То есть мы полагаем, что социо-культурный смысл, повлиявший на развитие менталитета, — это стечение обстоятельств, изменившее или развившее взгляды и представления этноса, это аргументы, причины, опыт, позволившие отныне и впредь устанавливать иную логику событий, объяснять их и прогнозировать иным или дополнительным способом, иметь иные мотивы для поступков.

Вот несколько примеров. Мореплавание и открытие других земель, к примеру Америки в 1492 году, наряду с открытиями Коперником в конце XV века двойного движение земли — вокруг своей оси и вокруг солнца — дали европейцам иные возможности представления движения, развития. Эти факты пробудили их воображение, потребовали переосмысления уже имеющихся представлений и в результате привели к идее спиралевидного развития, то есть возврата уже познанного, но с приращенной непознанной дельтой. Или массированное открытие невидимых миров в середине XX века — атомного ядра, плазмы, вирусов, гормонов, витаминов, обладающих большим воздействием на человека, — возможно, дало всплеск нового мистицизма, требующего особенных, как бы «неочевидных», техник обращения с миром как таковым (всплеск астрологии, увлечения лунными календарями, восточной медициной, гаданиями разного рода и так далее).

Таким социо-культурным смыслом может стать и открытая идея гуманитарного характера, такая как феминизм, например. Простой тезис, утверждающий, что «женщина тоже человек», тезис, попавший в правильную информационную среду, давшую ему убедительную упаковку и доставившую его «по назначению», превращается в мировоззренческий аргумент межнационального характера, предписываю-

щий иную логику интерпретации взаимоотношения людей и сценариев социального действия.

Открытие европейцами восточной цивилизации, японского и китайского мировосприятия, дало им ощущение множественности успешных стратегий. Линейность причины и следствия, прогресс, выражающийся в форме развития линейки приставок к человеку (оборудования, механизмов, которые человек присоединяет к себе, чтобы увеличить свои возможности), находятся сегодня под ударом восточной техники самосовершенствования, недействия, минимализма. Во что выльется этот диалог культур, мировоззренческих систем, зависит от многих обстоятельств, но сегодня можно констатировать — он активно идет.

В отличие от историков, культурологи нечасто сами занимаются общеисторическими разысканиями и, как правило, черпают свои представления о тех или иных исторических обстоятельствах из книг представителей других наук. В этом смысле все, что будет изложено далее на фактическом уровне, почерпнуто нами из книг, и ценность этого пересказа будет состоять лишь в проекции ключевой для наших целей исторической информации на расшифровку особенностей менталитета, отражение которых мы обнаруживаем в языке.

Итак, как же выглядят основные социо-культурные смыслы, повлиявшие на французскую ментальность?

Пользуясь терминологией Льва Гумилева, можно сказать, что французы представляют собой суперэтнос, находящийся в фазе пассионарного подъема последние полторы тысячи лет. Это объясняется многими причинами — расовыми, климатическими, историческими. Их мировоззрение является достаточной закрытой от внешних воздействий системой прежде всего в силу ее содержательной наполненности, изобилующих в ней ответов, а не вопросов. Положение дел именно таково, поскольку они получили уже готовое, развитое, убедительное трактование жизни от породившей их мировоззренческую систему материнской культуры — античности. Отсутствие вакуума, содержательных вакансий на протяжении истории делало французов донорами, предлагавшими миру свои ответы и свои решения, а не реципиентами, заимствующими мировоззренческие рецепты.

Доминантным социально-культурным смыслом, из которого питалась и питается французская ментальность, была и остается, как мы уже сказали, античность, с ее представлениями о праве, частной собственности, общественной пользе, красоте формальной, телесной, интеллектуальной, с ее приверженностью гармонии, гедонизму, сло-

ву. Французы в полной мере восприняли и свойственное античности преклонение перед таким инструментом поиска истины, как дискуссия, они восприняли рациональность, преклонение перед силой разума как императив. На это обращали наше внимание многие исследователи, с различными оговорками. Вот, к примеру, на что обращал внимание известный французский этнопсихолог Альфред Фуллье в своей книге «Психология французского народа» (4): «Мы должны избегать двойной ошибки: приписывать римлянам этническое влияние на наш национальный характер, в то время как им принадлежит только умственное и политическое влияние; и приписывать франкам или германцам значительное моральное и социальное воздействие на Галлию, тогда как за ними следует признать главным образом этническое влияние, проявляющееся, впрочем, в довольно узких пределах». Проиллюстрируем его тезис об умственном и политическом влиянии.

Так, у Цицерона читаем: «Вполне уместно поговорить об обязанностях магистратов, частных лиц, граждан и чужеземцев. Итак, прямой долг магистрата — понимать, что он представляет городскую общину и должен поддерживать ее достоинство и честь, соблюдать законы, определять права и помнить, что они порученные его верности. А частному лицу следует жить среди сограждан на основании справедливого и равного права для всех, не быть ни приниженным, ни унылым, ни заносчивым, а в государственных делать желать всего того, что спокойно и прекрасно в нравственном отношении» (5). Или: «Первая задача справедливости — в том, чтобы никому не наносить вреда, ... затем, чтобы пользоваться общественной собственностью как общественной, а своей — как своей» (там же, с. 117).

Или: «Ошибаться, заблуждаться, не знать, обманываться, как мы говорим, — дурно и позорно» (там же, с. 116).

Или: «Человек, наделенный разумом, усматривает последовательность между событиями, видит их причины, предшествующие события, сравнивает сходные явления и с настоящим тесно связывает будущее» (там же, с. 113).

Понятно, что прекрасных цитат из античных источников могло бы быть приведено бесчисленное количество.

Мы привели почти наугад несколько высказываний из Цицерона вот по какой причине: все они показывают высокую актуальность античных взглядов для современной Франции именно в области социального устройства, так сказать социального миропонимания, крайне важного для самосознания и самоопределения романского мира.

Важно видеть и понимать, что современными французами переняты у античных людей не фрагментарные представления о тех или иных методах и способах устройства жизни, а вся целостная система мировидения.

В ходе многократного и глубочайшего обращения к античным практикам — во время Каролингского возрождения, эпохи Возрождения, эпохи Просвещения, эпохи Романтизма — французы заимствовали у своих родителей иногда напрямую, иногда переосмыслив обширные зоны практики — право, систему государственного устройства (от империи до республики), — восприятие институтов любви (причем как гетерогенной, так и гомосексуальной), моду и гигиенические нормы, некоторые особенности кухни (употребление вина, например), многие общественные ритуалы — рассадку в органах власти, жеребьевку, процедуру голосования. В архитектуре, через романский стиль — французы переняли у античных людей основную геометрию жилищ, способы устройства городов (центральная площадь-форум в центре города, храм, тюрьма и расходящиеся во все стороны улицы), виды и формы вооружения, алфавит, институт брака, наследования, воинское искусство, алгоритмы управления иноземцами (и при колонизации, и с пришлыми), многие технологии и изобретения.

В области социальных идей, помимо представлений о справедливости и способах осуществления власти, из античности французы заимствовали идею диалектики мира и развития его, которое осуществляется при прямом участии воли человека (вспомним у Софокла: «Если все предопределяют боги, то зачем человеку даны ум и воля?» (6)).

Как уже было сказано, многие из этих идей были доразвиты и даже отчасти переосмыслены во французской цивилизации. Так, например, идея любви, связанная с душевными терзаниями, идущими от страстного желания обладать любимым существом, была доразвита в средние века в сторону куртуазного культа, не открывшего никаких принципиально новых форм ухаживания, но добавивших некоторые смыслы (например, *amour lointain* (7)). Античный гедонизм и культ плоти приобрел гротескно-раблезианские очертания якобы под воздействием галльских привычек и галльского юмора. Система римского права, прежде всего сословного, была существенно дополнена новыми ситемами понятий французскими рационалистами, эпоха которых, вместе со Великой французской Революцией, по праву может считаться вторым глобальным социо-культурным смыслом, определившем *profile* современного французского менталитета.

Ключевые социо-культурные смыслы, внедренные во французский менталитет эпохой Просвещения, новыми идеологами со всемирно известными именами, такими как Монтескье, Руссо, Дидро, Гельвеций, Вольтер, — Свобода, Равенство, Братство — отрыли новые мировоззренческие горизонты для всей новой цивилизации. Дело, конечно, не только в разработке новых смысловых цепочек, не только в предоставлении обществу новых ключей от новых социально-экономических ворот в Рай, сколько в принятой, установленной, внедренной вследствие представления о равенстве системе всеобщего и бесплатного образования, представлявшего и представляющего собой конвейер, штампующий национальные мозги.

Дело не только и не столько в том, что третье сословие, равное основной производящей силе этого периода, обрело свое идейное обеспечение, сколько в том, что Декларация Прав и Свобод Гражданина (1789 года), транслирующая новые социо-культурные смыслы, такие как свобода предпринимательства, собственность, безопасность, право на сопротивление угнетению, транслировалась в область общественного сознания всеми имевшимися в то время инструментами пропаганды. К этим главным смыслам, отразившимся в последующих французских Конституциях, выросших из Декларации Прав и Свобод, относится и отрицание божественности власти, что есть по сути практический атеизм, также попавший в систему тиражирования знаний.

Тогда, в конце XVIII века, была изменена вся парадигма причинно-следственных связей, ведущая к вершине важнейшего социо-культурного смысла, именуемого справедливостью. Отныне свобода именуется высшей ценностью, и понимается отнюдь не как свобода от начальника-короля — это в известном смысле предполагалось само собой — а как свобода действия, передвижения, совести и впоследствии, если иметь в виду революцию 1968 года, как свобода любви. Закон, отнятый у Бога и короля, теперь становится прерогативой общей воли, а власть из сакральной прерогативы переходит в разряд общедоступных способов совершенствования мира. Всем гражданам, — повторяет теперь хором весь французский народ, — по их способностям открыт доступ к государственным должностям, а все, что не запрещено, разрешено (Декларация Прав Человека и Гражданина от 26 августа 1789 года, статья 5 и 6 (8)). Идея равенства, сделавшая сирых и безработных площадкой для применения социально-политических конструктов, перевернула национальное самосознание, подобно тому как и само понятие «революции», взятое в социально-политическую практику из астрономической книги Николая Коперника «О вращении

небесных тел». Эпоха Просвещения, давшая французам общенациональную уверенность, что разум может все, а общество ничто иное, как царство разума, оплодотворила античное наследство, заставив его финально плодоносить во имя всей постантичной цивилизации. Она ознаменовала собой окончательную победу городской цивилизации, городского мировоззрения, городского способа действия над сельским, где примат рационального, анонимного, то есть произрастающего из равенства, механистичного и условного, в сфере потребления одержали окончательную победу (9).

Эта же эпоха обозначила границу влияния еще одного глобального фактора, повлиявшего на формирование современного французского менталитета, а именно — христианства. Нет ничего удивительного в том, что последние исследования свидетельствуют о чрезвычайно низкой значимости для французов христианства в качестве веры как таковой и чрезвычайно высокой его значимости в качестве общенационального ритуала (10). История развития христианского вероисповедания во Франции, да и во всем романском мире, имеет существенные специфические черты, позволяющие отчасти понять, почему над монашеством надсмехались многие мыслители на протяжении всей истории Франции, среди которых и Боккаччо, и Рабле, и, само собой, Дидро. Дело здесь не только в том, что светская власть, предлагающая обществу светский контекст разворачивания общественной жизни, отчаянно боролась с церковной властью за власть же, что приводило к откровенным схваткам, наподобие известного Авиньонского пленения пап (начало XIV века). Этот поединок за власть между королями и папством длился всю истории Франции, в разную эпоху давал разные результаты, но с неизменной подоплекой — ослабление влияния церкви на практическую сторону жизни французов. При этом духовенство компрометировало само себя, показывая честному народу все живописанные классиками прелести своего бытия — разврат, пьянство, алчность, лицемерие. Об этом же свидетельствует и повествования о том (изложенное в Повести временных лет), как русский князь Владимир выбирал для своего народа вероисповедание, дабы преградить путь распространяющемуся на Руси кровавому культу бога Перуна. От гонцов, отправленных в Ватикан разузнать поподробнее, что представляет собой католическая вера, он узнал, что на папский престол в 955 году воссел шестнадцатилетний юноша, нареченный Иоанном XII, превративший Ватиканский двор в вертеп продажных женщин. При этом он был славен также как охотник, игрок, пьяница и волокита, а также воспеватель культа Сатаны (11).

Такая интерпретация христианства романским миром представляется нам глубоко традиционной с точки зрения того колоссального влияния, которое оказала на ментальность «своих подопечных», включая клир, античная цивилизация. Воспетая античными философами и поэтами приверженность к красоте, телесности и наслаждению постоянно, с нашей точки зрения, одерживала верх над той телесностью, точнее антителесностью, которую предлагало христианство (12). Причем, как мы видим, одерживало верх не только у потомков трубадуров и труверов, но и у самих служителей культа.

Предыдущие строки мы посвятили описанию тех ограничений, которым подверглось восприятие французами христианских ценностных установлений. Однако, несмотря на эти ограничения, какие смыслы французы вынесли из этого культурного наследия?

В известном смысле для духовных потомков римлян идея иррационального знания, веры вопреки очевидности была революционной идеей. Возможно, именно этому «впрыску» иррациональности мы обязаны возникновению самого понятия любви, куртуазной любви как иррационального состояния, способного разрушать разумные сценарии построения жизни. Новая концепция состояния влюбленности, в логике которой существует сегодня вся европейская и связанные с ней цивилизации, на наш взгляд, напрямую связаны с восприятием идеи иррациональности, которую дало Европе христианство. Средневековое мировоззрение, столь блестяще описанное М. М. Бахтитным в его ставшей канонической книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (13), а также другими многочисленными исследователями (14), характеризующееся трагическими антиномиями, амбивалентностью, самопересмешничеством, раздвоенностью, дало сегодняшним французам все имеющиеся в их ментальной культуре «цветы зла» и тревожности, иррациональности в ощущении поиска того, что и не может быть найдено. Эта богатая традиция в поэзии, литературе, философии, идущая в логике культурной традиции от понятия души (не античного, а христианского) к понятиям одиночества, страха, отчуждения, внутренней противоречивости, идет не от атеизма, покинутости человека Богом, а от возможности «умирать от жажды над ручьем» (15), давшей новый важный мировоззренческий вектор, вырвавшийся из небытия как искра, иссеченная столкновением античности и христианства.

Итак, к названным трем социо-культурным смыслам, повлиявшим на формирование французского менталитета, таким как античность, христианство, эпоха Просвещения или рождение (городской) буржу-

азной цивилизации, выдвигающей на первый план и закрепляющий сценарии достижения личного процветания в равноконкурентной ситуации состязания, остается добавить четвертый, связанный с объективными географическими и климатическими факторами, оказавшими не менее существенное воздействие на развитие французской ментальности.

Франция, впрочем, как и Галлия, представляет собой шестиугольник, с трех сторон омываемый морем. Это означает принципиальную открытость французов навстречу различным проникновениям, идущим от морей, через «пассионарные окраины» (по терминологии Льва Гумилева) к центру. Море всегда являет собой возможность не только получать информацию о том мире, что лежит за ним, но и распространять через него свое влияние на другие народы. От этой открытости морям происходит, на наш взгляд, высокая осведомленность французов о жизни других народов, приверженность их к путешествиям. Отсюда же происходит и представление о море как о свободной стихии, являющей собой метафору рвущейся на свободу души, гимн которой воспел Шарль Бодлер в стихотворении L`Homme et la mer: «Homme libre toujours tu cheriras la mer\tu contemples tom ame\dans le deroulement infinis des lames».

Возможностями, которые открываются нации морем, французы обязаны обширнейшим своим колониям, которые с конца XVI века и в последующие века (до 1960 года) занимали почти что половину мира, объединяя в своем составе государства Азии, такие как Сирия, Ливан, французские поселения в Индии и Китае, в Северной и Южной Америке — Канада, Луизинана, Иллинойс и пр., в Африке — Алжир, Тунис, Марокко, Мавритания, Сенегал, Берег слоновой кости и так далее, в Океании и Антарктиде. Безусловно, такие мощные колониальные владения привили французам и вкус к экзотике, и широту взглядов, проявившуюся и в архитектуре, и в литературе, и в живописи (достаточно упомянуть фовизм и примитивизм как принципиально инновационные течения во французской живописи конца XIX — начала XX века, или «Саламбо» Флобера, давшего новое вдохновение литературе XIX века), и высокую коммуникабельность, и чувство собственного превосходства, и многое другое. Но главное — все это превратило Францию в одну из стран всемирного влияния, позволившего растиражировать по миру не только свой язык, но и свою систему взглядов. Именно поэтому до сих пор в публичных речах французских политических деятелей мы слышим учительские нотки, указывающие остальному миру, как правильно расставлять акценты в

имеющейся системе вещей (см., например, речь президента Франции Николя Саркози, произнесенную им по случаю завершения председательства Франции в Евросоюзе в декабре 2008 года).

Другие три грани шестиугольника, который напоминает территория Франции, обращены вовнутрь, обозначая некогда тревожные границы с соседями. Границы, через которые Франция привнесла влияние, впервые почувствовав в себе силы оплодотворять другие культуры (16).

Климат Франции представлял и представляет собой также шесть различных оттенков, начиная с влажного климата Бретани и сурового климата Арденн и кончая сухим и солнечным климатом Прованса. Это означает, что во Франции развиты и взаимодействуют между собой все виды жизненных укладов — приморский, горный, равнинный, все способы хозяйствования, дающие стране известное изобилие и множество возможностей при относительно небольших размерах страны и при хорошем сообщении благодаря рекам: три ее главных речных бассейна сообщаются между собой тремя легко переходимыми перешейками. Это же обстоятельство дало Франции равномерное развитие ее территории со множественными крупными центрами, такими как Париж, Лион, Марсель и другие. Это же обстоятельство, давшее стране принципиальную связанность, дало французам ощущение, что они хозяева ситуации в своей стране, она подвластна, посильна их воле.

Мы преднамеренно оставляем здесь в стороне такие обстоятельства, как многовековая борьба этих элит за власть и влияние, предоставляя возможность сосредоточиться на этих аспектах французской государственности политическим историкам.

Для нас важно, что благодаря всем этим географическим обстоятельствам, включающим также и умеренный климат, французы развивали, в постоянном общении с другими народами и культурами, собственный многообразный взгляд на мир, безусловно отразившийся в их менталитете.

Если говорить о дне сегодняшнем, то важным социо-культурным смыслом, воспринятым и Европой, и Россией, особенно в XX веке, безусловно, стали США. Эта страна, объединившая в себе множество идей, никогда не воспринималась как содержательная провинция. Напротив, впитав в себя европейские социально-мировоззренческие концепты во всем их многообразии, наравне с латиноамериканскими, иудейскими, индейскими и так далее, США превратили этот коктейль в гремучую смесь, мощно воздействующую на все относительно старые цивилизации. Америка, опирающаяся на энергич-

ных эмигрантов, выстраивала свою государственность и ментальность без строгого арбитража элит, одна из функций которых следить за соблюдением социо-культурных смыслов во вновь возникающих контекстах. Развиваясь без присмотра, Америка написала на своих деньгах клятву верности Богу, смешав и соединив тем самым несоединимое — жажду наживы и христианские идеалы. Европейские элиты, выстроившие себя по республиканской ли парадигме, или по демократической, оставались элитами, осознанно или нет, придерживаясь традиционных ограничений на возможность своего действия и допустимость только одного образа жизни. Европейский аристократ не станет торговать, отдавая эту прерогативу плебеям того или иного сорта, не станет практиковать занятие низменного толка (служить в колбасной лавке или работать парикмахером), не станет извлекать доходы из дела, ненавидимого другими (17), а станет возделывать свой сад — неотъемлемый атрибут аристократического бытия в любой из европейских стран.

До Америки посыл античности не докатился. Американская мечта, дающая каждому право свободно преуспевать, американская доктрина, переводящая власть денег в термины свободы, американское равенство, заключающееся в отсутствии протекционизма, то есть представляющее самую свободную из всех мыслимых конкуренций, и, наконец, установление логики выборов через использование политтехнологий для французских аристократов и, шире, элит, то есть традиционно выбранных содержательно лидирующих общественных групп, сыграло роль красной тряпки, яростное бросание на которую превратилось в важный мировоззренческий рефлекс. Америка расколола французское сознание на тех, кто признает такую мировоззренческую модель тупой, недопустимой для Европы, и на тех, кто считает возможным ставить преуспевание, то есть антиаристократизм, в ряд общенациональных целей. Борясь со смыслами, транслируемыми Америкой, борясь с экспансией этих смыслов, Франция защищала и защищает свою национальную идентичность, вводя квоты на прокат американских фильмов, продвигаю идею «les français aiment acheter français», презирая тех, кто протаскивает англицизмы во французскую речь (18).

Этот последний социо-культурный смысл, воспринятый Францией, находится сегодня в активном состоянии, и мы не можем сказать, какой эффект он в конце концов произведет на французскую ментальность.

Отметим лишь, что это тот из немногих смыслов, влияние которого Россия делит с Францией, в том смысле, что на протяжении почти

всего XX века американская система взглядов и ценностей рассматривалась в СССР как открыто враждебная. Россия мощно по всем «статьям» отталкивалась от американской мировоззренческой системы, внушая своим гражданам идею гибельности для населения Америки пропагандируемых властью ценностей. Для наиболее европеизированных российских граждан — тех, кто в силу профессиональных обязанностей сталкивался с европейской культурой и системой взглядов, а также для тех, кто оказался чувствителен к этим ценностям в результате потребления европейского художественного контекста (литература, кино и так далее), посыл американской цивилизации означал пропаганду свободы (статуя Свободы сыграла в этой коммуникацию не последнюю роль), однако влияние этой группы населения на русскую ментальность нам все же кажется пренебрегаемым, хотя бы в силу того, что такой концепт, как свобода, среди российских мировоззренческих осей представлен слабо.

Но какие мировоззренческие оси в российской ментальности представлены отчетливо?

Климатические и географические факторы, воздействовавшие на сознание россиян, огромная вытянутость территории России вдаль, сильно отличаются от европейских. Прежде всего, огромная территория России не является средой, хорошо проводящей информацию. Российская география непосильна для человека, реки, горы, тысячекилометровые расстояния, тяжелый климат, — все это разделяет этнос, вырастает на его пути как стена. Огромные масштабы, на которых теряется человек, вся палитра климатов и позже — часовых поясов, также представляющих собой коммуникативный барьер, обилие народов, говорящих на разных языках, — все это только усугубляет островной эффект сознания россиянина, который, как мы видим, имеет объективные предпосылки. Записки русских путешественников полны указаний на то (19), сколько непостижимой экзотики таят в себе российские окраины и глубинки.

Суровой климат Сибири задал доминанту русского характера — крупные светловолосые сероглазые мужчины и женщины, неразговорчивые, выдержанные, умеющие выживать в любых условиях. Однако суровый климат, преобладающий на большей части России, где зима продолжительна и холодна, предопределил, как в Северной Европе, популярность употребления крепких напитков, «развязывающих язык», что привело, по нашему убеждению, россиян к неразделяемой европейцами привычке откровенничать с кем попало (так сказать, «изливать душу»). Географические факторы протяженности

непреодолимых гор и рек, климатической суровости как на севере, так и на юге, все в сумме создающие среду непреодолимости, очевидно, первоначально задали людям, говорящим по-русски, слабую надежду быть услышанными, а также замеченными на фоне огромностей просторов и ландшафта. Именно русская ментальность породила и развила в своей культуре концепт «маленького человека», неразличимого на фоне огромной страны.

Влияние христианства на формирование российского менталитета поистине огромно, и его описанию могло бы быть посвящено отдельное исследование, предпринимать которое не является нашей задачей. Безусловным и часто отмечаемым фактором (20) влияния является повышенная страдательность православного мировоззрения, особая роль доброты, понимаемой как всепрощение, которое, в отличие от сходного понятия католической традиции, нельзя купить за деньги, а только вымолить. Сам концепт веры, чудесного иррационального состояния, способного творить чудеса, настолько сильно проник в русский менталитет, что до сих пор исследования показывают очень высокий процент верующих, как воцерковленных, так и нет. Многие исследователи русского менталитета отмечали «влюбленность русских в страдание», культ страдания в культуре, трактующего страдающего как совершающего некое важное социально значимое действо. Страдание в бытовой культуре русских изображается как болезнь или почти болезнь, обретая телесность и от этого становясь еще более осязаемым и значимым. В русской культуре принято уважать страдающего, помогать ему, совершать по отношению к нему действия, близкие к сакральным — даже посторонний человек станет страдающему предлагать еду, помощь, участие, станет предлагать содействие в устранении причины страдания, тем самым проявляя причастность, сочувствие. Все это существенно отличается от европейской традиции, где «понуждение к удовольствию» является неотъемлемой чертой современного общества потребления (21), питающего эту свою черту из античной традиции. В русской традиции принуждение к страданию — является одной из функции жизни, главным уроком, который объясняет человеку истину через внутреннее развитие, к которому, считают русские, страдание неминуемо ведет.

Терпимость к насилию, неверие в социальную справедливость здесь и теперь, отсутствие ответственности за своей выбор («на все воля Божия»), глобальная иррациональность — все это лишь те немногие последствия, к которым привела массовая христианизация россиян. При этом существенно, что возможность жениться, которая

была и есть у русских священников, уберегла их от греха и разложения, в котором погрязли в массе своей священники католические. Тем самым первые никак не запятнали своей репутации, сохранив за собой непререкаемый авторитет и влияние. У русского человека не было выбора, какому богу молиться, светскому или Всевышнему — власть системно не сражалась с церковью, не пленила патриархов (патриархи все больше сами выступали за сохранение статуса кво с властью, как это было в истории с патриархом Никоном), ереси на Руси было не в пример меньше, чем в Европе, да и инквизиция, как и многое другое, отразилась в российском обществе как в зеркале, меняющем право налево — на Руси жгли не других, а самих себя (об этой зеркальности русской культуры и самосознания по отношению к западной М. Ю. Лотман говорил на одной из своих лекций в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в марте 1984 года). Все это предопределило в целом гармоничное сосуществование власти церковной и светской, давшей церкви до XVIII века монополию на слово, то есть литературу и язык, а следовательно на знание и мировоззренческую систематизацию понятий. Это не означает, что русский язык не развивался в отрыве от церковнославянского, это не означает, что понятийная система этноса застыла в канонических церковных рамках, но она испытывала сильное его давление, стягивание, простирая потенции развития только в плоскость бесписьменного фольклора, а не окультуренной понятийной системы. Такое положение вещей длилось до того момента, пока светская литература на русском языке, переводная и своя, не хлынула в конце XVII века мощнейшим потоком под натиском европейского контекста, который был внесен в русскую ментальность этим потоком не только в виде обломков, но целыми островами иноязычного мировоззрения.

До сих пор христианство на Руси является не просто ритуалом, не просто мировоззрением, но и способом действия. Многие россияне в ответ на трудности, возникающие в их жизни, молятся или просто обращаются к Богу за помощью. При этом выражение «На Бога надейся, а сам не плошай» все больше обращается к детям, да еще и в светском варианте, звучащем как «под лежачий камень вода не течет» — это не «взрослая» истина, а воспитательная истина, противодействие свойственной детям лени. Наблюдаемый сегодня в России подъем религиозного чувства, на это указывают и опросы, и многомиллионный отклик россиян на смерть патриарха Алексия II, свидетельствует именно о принадлежности многих постулатов христианского вероисповедания к мировоззренческой среде российского этноса, поскольку

христианская вера могла бы быть искоренена за семьдесят с лишним лет коммунистического атеизма, а христианизированное мировоззрение — нет (22).

Одним из существенных смыслов, повлиявшим на русскую ментальность, безусловно, является «хождение под Ордой», продолжавшееся около 300 лет, которое историк Лев Гумилев в своей книге «От Руси к России» (см. цит. соч. с. 110) назвал «союзом с Ордой». Конечно, это была школа интриганства, сосуществования с представителями совершенной иной культуры, регулярное хождение «на ковер» и многое другое, что живописно изложено в школьных учебниках истории. Филологи также знают о словах тюркского происхождения, имеющих в двух первых слогах повторяющееся «а» — *барабан*, *таракан*, *капкан*, *баран* и так далее. Эта группа слов, обозначающая собой бытовые нехитрые понятия, нередко вводит доверчивого исследователя в заблуждение, как бы подсказывая ему, что монголо-татары были варварами (еще одно тюркское слово) и душили своим угнетением более высокую славянскую цивилизацию. Эта точка зрения оспаривается многими историками (23), а большое влияние степняков на русскую ментальность сегодня обнаруживается с отчетливой очевидностью — установки этического кодекса монголо-татар Великой Ясы, о котором мы уже упоминали, во многом повлияли на мировоззрение угнетенных россиян.

Прежде всего, монголы верили во врожденный характер человеческих достоинств и недостатков, а поэтому они считали, что дети несут в себе те же черты, что и родители. Если родитель был подл, и сын его будет подл, если отец был предатель, то и сын будет предатель. Этот взгляд глубоко присущ российскому менталитету и многократно проявил себя не только в пословице «яблоко от яблони недалеко падает», но и, например, в логике сталинских репрессий. Второе важное убеждение, воспринятое славянами — низкая цена человеческой жизни. Это происходит от отношения к человеку как воину, исчисляемому в сотнях тысяч и растущему посередь степи как трава. Войны воскрешались, по мнению монголов, если были убиты без физического пролития крови. Истечение крови перекрывало путь к воскрешению души воина. Не потому ли мы считаем именно *кровопролитие* страшнейшим из грехов? Этот же кодекс предписывал обязательную взаимопомощь, единый для всех закон и осуждение предательства, которое до сих пор является живым понятием современного мировоззрения. Мы рассуждаем в терминах предательства и о любовной измене, и о внезапно вскрывшейся корысти в дружбе именно потому, что впитали

это понятие из глубины веков, из Великой Ясы. Суть предательства, по Ясе, очень проста — это обман доверившегося. Не это ли имеем в виду, когда говорим об измене или обмане ожиданий друга?

Страшным грехом, по Ясе, требующим смертной казни, являлось неоказание помощи боевому товарищу. Не это ли впитали в себя русские воины, во все времена считавшие, в отличие от своих европейских учителей военного дела, за стыд бросить товарища в беде?

Также Яса обязательно предписывала накормить гостя, предложить еду соплеменнику, которого встречаешь в дороге, ведь путник, который не имел возможности подкрепить силы, мог попросту умереть. Если такой факт вскрывался, нехлебосольный монгол обвинялся в убийстве, и его также лишали жизни. По Ясе, например, следовало возвращать находку утерявшему, давать себе труд разыскивать владельца утерянной вещи. Многое в Великой Ясе напоминает наши сегодняшние непонятно откуда взявшиеся представление. Не слишком страстное отношение к деньгам, религиозная терпимость. Монголо-татарский кодекс, как мы уже говорили, утверждал свободу вероисповедания, то есть в войско принимали независимо от того, какой веры придерживается человек. Эта же установка позволяла сохранять завоеванным народам их веру, а не требовала, наподобие того, как это было у крестоносцев, выжигать ересь огнем и мечом! (24)

Особая степная иррациональность, воинская общинность, предполагающая коллективную ответственность, бескорыстную дружбу, пассионарный непрагматический этических кодекс, по нашему убеждению, прочно вошли в русский менталитет, усилив его негородской в веберовском смысле акцент. Не деньги — а слава, верность, преданность, взаимовыручка, терпимость, бескорыстность — все это легло как нельзя лучше отнюдь не на рабскую душу в будущем крепостных крестьян, а по глубинной своей сущности селян и степняков, не признающих городской купеческой меркантильности и городского же лицемерия, идущего от анонимной сущности городского бытия.

Важнейшим социо-культурным фактором, повлиявшим на русскую ментальность, безусловно, явились европейцы, обширные контакты с которыми в содержательном плане начались еще в эпоху Ивана III (25). Иностранцы при дворах русских царей служили и врачами, и воспитателями, и наставниками в воинском и инженерном деле. На службу нанимали и толковых татар, в XV столетии нанимали немцев. При этом как до Петра, так и при Петре Великом иностранцам хорошо платили, неизменно потешаясь над их инаковостью, быстро перенимали у них все полезное, относясь к ним, по выражению Льва Гуми-

лева, потребительски (26), но к власти их не допускали и должностей не давали. Можно смело констатировать, что преклонение перед иностранцами возникло не раньше наполеоновской эпохи, о которой мы скажем чуть дальше. Определить вектор влияния немцев на русскую ментальность, даже при том, что известные русские царицы были немецкого происхождения, непросто. Иначе говоря, это влияние не очевидно. Само слово — немец, как известно, произошло от прилагательного «немой», то есть немец этимологически — это иностранец, чья речь непонятна. Область заимствования иностранных слов в русский язык неплохо изучена и описана в работах Я. К. Грота, Л. П. Крысина, Д. С. Лотте, М. М. Маковского и других. Важной особенностью заимствований из немецкого и голландского языков является заимствование по преимуществу конкретных понятий — шумовка, галстук, парикмахер, рынок, ярмарка и так далее — или понятий сферы деятельности, таких как железнодорожное дело или мореплавание. Это наблюдение позволяет предположить, что немцы и голландцы открыли русским не мир идей, а мир вещей.

Совершенно иным видится влияние французов и Франции на русское мировосприятие. Широко известно, что русская элита говорила и писала по-французски по меньшей мере на протяжении XIX века, заимствовав вместе со словами языка и повадки, образ жизни и образ мысли. Так, русский язык заимствовал вместе со словом «амур» многие представления из мира чувств, а также представления об элегантности, стиле, об азартных играх и игре случая, о творчестве и людях творчества (артист, артистический), представления о миражах и кошмарах, о шансе и эпатаже и так далее. Важно также, что порой, не заимствуя само слово, русский язык, благодаря в частности русской литературе XIX века, нередко создававшейся почти как двуязычная, заимствовал от близкого текстового контакта сам способ описания страданий, душевных мук, экстаза (делая русскую литературу словно похожей на переводную), — всего того, чем жил и дышал свет в то время.

По прошествии времени, когда страстное увлечение Францией улеглось, русские, как и делали прежде, принизили это влияние своим уничижительным подтруниванием над «французиками из Бордо», шерочками машерочками, амурами тужурами, утвердив этим языковым поведением известное правило: возвышенный стиль сходит на нет, превращаясь в просторечье (27).

Современная русская ментальность, безусловно, переживает увлечение англо-американским дискурсом как дискурсом свободно-

го предпринимательства, денег, личного прогресса и преуспевания. Английский стал сегодня международным языком делового общения, обрушив в русский язык многочисленные заимствования из сферы бизнеса и права, спорта, информатики и веб, транспорта, автомобилей и пр. Сегодня можно с уверенностью обобщить — английский язык стал языком мира денег. Оценить насколько глубоко этот язык и стоящий за ним глобальный смысл и символ под названием Соединенные Штаты Америки повлиял на европейскую ментальность можно будет спустя некоторое время, когда это станет фактом, перестав быть процессом.

Последний важнейший смысл, на сегодня оставивший огромный след в российском менталитете — это социализм, коммунизм, в котором жила страна на протяжении почти всего XX века. Равен ли этот смысл атеизму, который был поднят на коммунистические знамена? Была ли социалистическая революция для России по сути атеистической?

Если говорить об идейной природе социализма, то она представляет собой такое же иррациональное, то есть требующее веры, построение, как и христианство. Социализм и коммунизм работают с близкой христианству, а точнее его историческому прародителю — иудаизму моделью будущего, когда поведение человека отражается на его потомстве, когда потомство пожинает плоды жизни предков. В этом смысле социализм как вера конкурентен традиционной российской системе верований и обязательно должен подменить ее собой. Но суть подмены именно в утверждении уже близкого россиянам благодаря наследству монголо-татарского завоевания смысла — мы оставляем в наследство нашим детям их судьбу.

Коммунизм как мировоззрение потому так надежно прижился в России, что никогда по сути не противоречил ему. Отрицание денег как зла, конкуренции как способа выживания и процветания, индивидуализма, утверждение самопожертвования, аскетизма, мыслей о великом будущем территориально великой родины — все это явилось по сути продолжением скольжения по наезженной колее, по которой катилась русская ментальность не в обуржуазившихся благодаря иностранному влиянию городах, а в городках и весях, где крепостные безропотно принимали свою участь от помещиков вплоть до известной даты середины XIX века. Влияние коммунизма на мировоззрение россиян сыграло ту же роль, что и влияние эпохи Просвещения на ментальность французскую — главный класс страны обрел своих лидеров, своих глашатаев, были созданы, описаны и спропагандированы доктрины, которое по сути разделяло большинство. Принять одну

веру через отрицание другой веры оказалось несложным упражнением, не любя, не принимая буржуазные ценности, россияне с удовольствием распяли тех, кто воплощал их в себе, протестуя не против царя батюшки и не против пышности дворцов, а по сути против городского, нового капиталистического способа действия.

Из заимствования русской революцией основных тезисов Великой Французской революции как всегда вышел анекдот — свобода, равенство, братство очень быстро поменяли свой смысл на противоположный, обернувшись тюрьмами, жированием элит, разорением фамильных гнезд. Социалистическая идеология, риторика, практика блестяще описаны многими крупными исследователями (28), и мы не будем повторять их основные тезисы. Суть глобального влияния коммунистической эпохи на русскую ментальность именно в закреплении в письменном виде тех основных ценностей, по сути глубоко антибуржуазных (то есть антигородских), которые эта ментальность накапливала за время своего развития. Важно, что именно в двадцатые годы XX века в России было введено всеобщее обязательное бесплатное образование, растиражировавшее в начале через Пришвина и Носова, а затем и через Маяковского и Горького, а также через целостную интерпретационную модель под названием марксизм-ленинизм основные ценностные стереотипы российской ментальности. Разве слабый должен умирать? Разве деньги могут дать человеку счастье? Разве быть богатым морально, когда столько людей по всему миру голодает? Разве какая-то абстрактная свобода достойна жертв? Разве среди нас нет врагов? Разве от несчастья можно застраховаться? Разве нам дано знать все обстоятельства, присутствующие в ситуации? Разве наш успех зависит только от нас? Разве поделиться тем, что у тебя есть — не высшее проявление человечности? И так далее и тому подобное. Все перечисленные социо-культурные смыслы, воспринятые русским самосознанием, пребывали в удивительной гармонии друг с другом, сделав в результате русских обладателями целостного последовательного мировоззрения созерцательного типа, мировоззрения, распахивающего индивида в мир, впускающего его в себя как соавтора своего бытия, но не его хозяина. Отсюда пассивность в достижении личных целей, самопожертвование в борьбе за общее мифическое благо, покорность при репрессиях, отсутствие стремления к прогрессу. Говоря о влиянии большевизма на русскую ментальность, хотелось бы оговориться, что многие феномены того времени не были плоскостными и отражали в себе сумму реальностей и смыслов. Например, тип русского революционера, столько богато описанного в

русской исторической прозе вплоть до произведений Бориса Акунина, представляется нам глубоко заимствованным, европеизированным нерусским типом. Конечно, и Базаров, и Рахметов, и вся, так сказать, русская разночинная интеллигенция здесь в предтечах, но можно ли сказать, что этот тип является тем общим, что объединяет сибирского мужика, новгородского купца и ставропольского крестьянина? Эти герои, как и подобные им типажи, сошли со страниц новых для России европейских по духу, хоть и национальных по форме книг, ощутив свою жизненность лишь от готовности к принесению себя в жертву, но не более того.

Последние десятилетия в России так и не случилось революционеров, хотя у нас и случилась революция, не возникло Робеспьеров и Сен Симонов, хотя бы и наподобие Владимира Ленина, пропитанного марксистскими идеями и бывшим плоть от плоти немецкой социал-демократии. В то время как французские революционеры были законными детьми французского народа и французской нации.

Итак, вот главные факторы влияния: для Франции — античность, христианство, Просвещение, Америка. Вот главные социо-культурные смыслы, повлиявшие на мировоззрение жителей России — христианство, Орда, иностранцы, коммунизм. Какие результирующие дает каждый из этих пучков влияний? Как выглядит тот условный инкубатор, в котором произрастали два менталитета, которые мы намерены в дальнейшем сравнивать?

Прежде всего надо констатировать, что это были разные инкубаторы и в них существовала совершенно различная среда.

У французов понятно, известно материнское влияние. Оно существует как система текстов (античность), которая неоднократно, в форме инъекций, вводилась в тело национального самосознания. У русских такое материнское влияние как система текстов, как сформулированное мировоззрение, как проект социально-политического устройства отсутствует.

У французов климат и география носят не подавляющий характер, территория страны соразмерна с возможностями нации освоить ее, преодолеть, совершив путешествие из одной стороны в другую. У русских нет.

Французы в ходе истории играли лидерскую роль по отношению к другим народам, русские были угнетены, воспринимали, а не оказывали влияние.

Французская ментальность, благодаря силе материнского влияния, проявила иммунитет ко всем последующим воздействиям, предложив

христианской доктрине определенное место и роль в национальной системе ценностей. Русская ментальность, не имея исходного систематизирующего влияния, работала как губка, впитывая то, что на ее почту приносили иные цивилизации. Христианство безальтернативно заняло место основного мировоззрения в российской ментальности и сохранило его до сих пор, несмотря на семьдесят лет государственной атеистической религии.

Франция — буржуазная страна, целостная городская цивилизация, описавшая и принявшая городской в философском плане способ осуществления жизни. Россия — не буржуазная страна, считающая многие буржуазные ценности бессмысленными или аморальными. Одним из основных влияний, оказанных на российский менталитет, наряду с христианством, следует считать влияние степняков (монголо-татар), обладавших ярким иррациональным мировоззрением из-за способа жизни и осуществления власти, имеющее очевидную антибуржуазную направленность.

Попробуем проследить, как отражение этих социо-культурных влияний зафиксировалось в национальных языках — русском и французском.

Библиография

1. *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М.: МГУ, 1979.
2. *Московиси С.* Век толп. М., 1996; *Московиси С.* Машина, творящая богов. М., 1998; *Емельянова Т. П.* Конструирование социальных представлений. М., 2006.
3. *Бердяев Н. А.* Русская идея // Основные проблемы русской мысли XIX—XX века. М., 2000. С. 52—71.
4. *Фуллье А.* Психология французского народа // СРБ. 1899. С. 107—110.
5. *Марк Туллий Цицерон.* Об обязанностях. М., 2003. С. 169.
6. *Софокл.* Царь Эдип // Софокл. Трагедии в переводе С. В. Шервинского. М., 1958. С. 29—42.
7. *Rougemont De.* Amour et L'Occident. Paris, 1939.
8. Декларация Прав Человека и Гражданина. М., 1989. С. 26—29.
9. Мы здесь имеем в виду те смыслы, о которых писал Макс Вебер в своей работе «Der Stadt». Dusseldorf, 1965, а также в книге «Биржа и ее значение». М., 2007. С. 333—364.
10. *Michel Diterlan.* Les français ont ils une ame? // Que sais-je? Paris, 1994. № 7. P. 108—116.
11. *Гумилев Л.* От Руси к России. М., 2004. С. 72
12. См., например, *Ле Гофф Ж., Трюон Н.* История тела в Средние века. М.: Текст, 2008.

13. *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
14. Здесь в первую очередь важны работы: *Zumpthor P.* Essai de poetique medievale. Paris, 1972 и др.
15. *Клюева Е. В.* Мельница мысли. Поэзия Карла Орлеанского. М., 2005.
16. *Saltere F.* Population et environnement. 2002? Vol. 24. № 2. P. 111—136, а также *Parsons J.* Human population competition: The pursuit of power through numbers. New York, 1998.
17. Именно так определял ограничения, которые пристало соблюдать человеку достойному, Цицерон в одном из своих трактатов: *Цицерон.* Об обязанностях. 1-я кн. М., 2003. С. 182.
18. См. *Etiable R.* Parlez-vous franglais? Paris, 1991.
19. Колумбы земли русской. Сб. документальных описаний об открытии и изучении Сибири, Дальнего Востока и Севера XVII—XVIII вв. Хабаровск, 1989.
20. *Вежбицка А.* Русский язык // Язык, культура, познание. М., 1996. С. 35—85.
21. *Бодрийар Ж.* Общество потребления. М., 2006. С. 109—115.
22. См. аналитические обзоры, размещаемые на сайте ВЦИОМ — www.wciom.ru за декабрь 2008 года.
23. *Похлебкин В. В.* Татары и Русь. М., 2005; *Андреев А. Р.* История Крыма. М., 1996; *Гумилев Л. Н.* Черная легенда. М., 2005.
24. См. о Великой Ясе: *Вернадский Г. В.* Монголы и Русь. Монгольская империя. М., 2000. *Вернадский Г. В.* Великая Яса. Исторические источники. М., 2003.
25. *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Гл. 13. М., 2003.
26. *Гумилев Л.* От Руси к России. Цит. соч. С. 368.
27. Городское просторечие: Проблемы изучения / Под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева. М., 1984.
28. См., например, *Левада Ю.* Советский простой человек. М., 1993; *Лапин П. И.* Модернизация базовых ценностей россиян. М., 2000.

Глава третья

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ У ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ

В этой главе будут рассматриваться понятия, связанные с высшей иррациональной предопределенностью человеческой жизни. Это смыслы, во французском языке группируются вокруг понятий *providence, destin, destinée, sort, fortune*, а в русском — вокруг понятий *провидение, судьба, участь, доля*.

Эти два ряда слов соположены, поскольку в языковой практике числятся взаимными переводными эквивалентами при переводе как с французского языка на русский, так и с русского на французский, о чем, безусловно, свидетельствуют и данные словарей, и утверждения билингв.

Эти слова в каждом из языков собраны в одну группу также и в связи с внутренней синонимией, в целом описывающей нечто по отношения к человеку высшее, внешнее, влияющее, неконтролируемое, универсальное. Как гроза или землетрясение.

Концепт «высшее» представляется как совокупность нематериальных сил, источник которых истолковывается в коллективном сознании как некое высшее начало, не поддающееся окончательному рациональному анализу и осмыслению. Говоря о судьбе или о провидении, французы и русские показывают пальцем вверх, имея в виду, что эти силы дислоцированы где-то высоко над головой, в небе. В мифологиях, исповедуемых на ранних этапах становления каждого из этносов, имеется в виду в античной и славянской мифологиях, эти высшие силы персонифицированы и представлены богами, божествами, духами и пр. (1). В материалистических системах (с определенно-

го момента — параллельно существующей мифологической системе) на их место выдвигается Объективный Закон или Закономерность, познать который или которую — извечная перспектива для человеческого разума (2). Отнесение предопределяющих человеческую жизнь сил к разряду высшего однозначно позиционирует их как открытие родового периода человеческой цивилизации, когда бинарное членение мира было основным методом структурирования мира (в отличие, например, от более поздних триад, описывающих время через конструкты прошлого, настоящего, будущего или процесса мышления — через осознание, анализ и синтез, или процесс через начало, середину и конец. Важно знать, что у примитивных народов многие из этих конструктов устроены дуалистично, например, у масаев — коренного населения Кении — категория будущего времени отсутствует, что существенно влияет на их жизнь: к примеру, они не могут сидеть в тюрьме, умирают, полагая, что так теперь будет всегда (3). Конструкты этого периода имеют дополнительный признак: высшее в их системе означает свойственное всем людям, а не кому-то в отдельности, неиндивидуальное, в отличие низшего — конкретного проявления высшей силы.

Внешнее — определение локализации источника этих сил относительно универсальной для европейской дуалистической шкалы «внутренний мир»/«внешний мир» с известной оговоркой, что для каждого человека внешний мир существует в виде проекции на внутренний. При этом отметим, что этот дуализм — новейший, так как исконно в индоевропейской культуре дух, живущий в человеке, не являлся ЕГО внутренней сущностью, а представительствовал в нем высшие силы, на время посетившие его и поселившиеся в нем. Новая философия, установившаяся в Европе после эпохи рационализма, увлеклась идеей отражения, дотянув это увлечение вплоть до диалектического марксизма, трактовавшего сознание как человеческую способность «отражать внешний мир в духовных образах» (4). Это замечание пригодится нам и в дальнейшем.

Влияющее — констатация того факта, что каждому из выделенных понятий приписывается статус причины, которая имеет тенденцию к ретроспективной оценке. Непосредственным событиям обычно приписывается статус следствия.

Неконтролируемое — констатация того факта, что действие каждой из выделенных сил происходит помимо воли человека и может проявиться в любой момент. Можно считать, что опасность или риск поддаются контролю, однако и то и другое вопреки прогнозам спо-

собно проявляться с неожиданной стороны и обладать неожиданным качеством. Невозможность стопроцентного контроля связана с неисчерпаемостью ситуации рациональным анализом.

Универсальное — означает действующее на всех. А также то, что след этих понятий мы находим в других понятиях, на что мы каждый раз будем указывать в ходе нашего исследования.

Общие представления о понятии «судьба»

Каждое из выделенных слов трактует некое общее понятие, несколько варьирующееся в зависимости от конкретного обозначающего его слова (в синонимическом ряду внутри одного языка). Понятие это является общим также для двух исследуемых языков, в той степени общим, насколько это возможно, когда речь идет о двух различных, хотя и близко контактировавших культурах. Для обозначения этого общего понятия мы вынуждены использовать русское слово — «судьба», поскольку исследование написано на русском языке, однако в данном случае это русское слово призвано обозначить общее, а не специфическое понятие.

Поговорим подробнее о разработке понятия судьбы в многочисленных мифологических, религиозных, философских и этических системах. Во всех этих системах судьба понимается как некое активное действующее начало, предопределяющее жизнь человека. Применительно к понятию судьбы действуют все приведенные нами общие признаки лексической группы в целом. Судьба — это высшее, внешнее, влияющее, неконтролируемое, универсальное, но вдобавок и имманентное, и главенствующее. Судьба, как правило, и начальница таких своих подданных, как случай, удача и риск. «Представления о судьбе принадлежит к наиболее коренным категориям культуры, они образуют глубинную основу имплицитной системы ценностей, которая определяет этос человеческих коллективов, сердцевину жизненного поведения принадлежащих к ним индивидов» (5). Понятие судьбы не только коренное, но и древнейшее ключевое понятие, которое, несмотря на смену представлений человека о мире, а также и изменений в самом мире, не исчезает из смыслового пространства языков и культур, дает доступ к прояснению картины мира, свойственной этим культурам, и отличается высокой стабильностью и значимостью (6). Это понятие отличается высокой степенью отрефлексированности в общеевропейской культуре, оно обсуждалось всеми без исключения философскими школами и религиозными конфессиями, в частности по интерпретации именно этого понятия как ключевого и происходи-

ли размежевания и сближения. Так, фатализм, признающий действие иррационального и темного начала, противопоставляется рационализму, механистически объективизирующему предопределение и трактующему судьбу как сцепление причин и следствий (7). В кальвинизме и исламе представлена теологическая точка зрения, утверждающая, что судьба происходит от Бога, волей которого все изначально предопределяется, оспаривающаяся, как и предыдущие, провиденциализмом, утверждающим присутствие свободы воли человека и рассматривающим событие как результат сочетания божественной воли и воли человека (8). Несмотря на то, что каждая из перечисленных концепций имеет свою датировку, подобное отношение к судьбе присутствует в различных культурах и по сей день и свободно проявляется не только в философских дебатах, но и в повседневном общении. Следует отметить, что по крайней мере в исследованных культурах нет однозначной императивной точки зрения на судьбу и подход к этому понятию выбирается индивидуально в рамках заданных культурной традицией возможностей, которых, по всей видимости, три:

1. миропонимание, признающее судьбу в качестве самостоятельного начала мира;

2. миропонимание, определяющее судьбу как составляющее других начал;

3. миропонимание, отказывающее судьбе в статусе реальности и допускающее использование соответствующего слова (слов) в метафорическом значении (6).

Об этом свидетельствует аналитика, то есть изучение имеющихся точек зрения.

Важно еще раз отметить, что слова передающие понятие судьбы, не терминологичны, относятся к общеязыковому фонду обоих исследуемых языков, используются во всех имеющихся речевых регистрах и крайне частотны в своем употреблении.

А о чем свидетельствует естественный язык?

Русское семантическое поле «*провидение, судьба, участь, доля, рок*».

По данным славистики, мифологические образы Доли, Лиха, удачи, богатства и пр., отражающие представления о неких абстрактных функциях, образуют единый уровень и являются древнейшим слоем мифологических праславянских понятий. Они представлены рядом мифических существ, среди которых наиглавнейшие такие:

1. Суд (Усуд) — существо, управляющее судьбой. Суд посылает Сречу или Несречу — воплощение счастливой и злой доли. В дни,

когда Усуд рассыпает в своем дворе золото, рождаются те, кому суждено быть богатым. Когда же Усуд рассыпает в хижине черепки, рождаются бедные.

К этому же корню восходит и имя греческой богини Фемиды, что позволяет рассматривать Усуда как архаизм славянской мифологической системы и связывать его с древнейшими индоевропейскими мифологическими представлениями.

2. Суденицы — мифические существа женского пола, три сестры входят в дом при рождении ребенка. Младшей — 20 лет, старшей 30—35 лет. Они бессмертны, приходят издалека в полночь на третий или пятый день после рождения ребенка в его дом, чтобы наречь ему его судьбу. Суд делает сначала старшая, обрекающая ребенка на смерть, затем средняя, предрекающая ему физические недостатки, и затем младшая, самая милостивая, определяющая, сколько ребенку жить, когда идти к венцу и с чем в жизни столкнуться. Считалось, что они писали судьбу ребенку на лбу, что делает понятным выражение «так ему на роду написано» (СМ).

Понятия Доли и Судьбы в общем значении (то есть не снабженные дополнительными признаками Злая доля — Лихо и пр.) рассматривались производно от деятельности вышеназванных существ. Понятие судьбы, нечастотное в фольклоре (9), понималось либо как приговор суда, который вершит персонифицированный дух Усуд, либо как сам этот дух. Доля персонифицировалась лишь в случае конкретизации ее.

Подытоживая сказанное, отметим важнейшие и специфические, как мы увидим дальше, черты славянских мифологических представлений о судьбе.

1. Судьба определяется путем устной дискуссии и затем записывается на лбу человека. Суденицы разговаривают, в отличие от древнегреческих парок, совершающих свое дело в полном молчании.

2. Определяющие судьбу суденицы, злая, не очень злая и добрая, вступают в конфликт, но именно последнее слово оказывается решающим.

3. Сказанное ими не может быть изменено.

4. Отдельно рассматривается вопрос о богатстве и бедности человека, который решается по прихоти Усуда.

Исследователи в области истории русского языка и культуры (10) отмечают повышенную глагольность лексико-семантического поля судьбы в русском и вообще в славянских языках, то есть связь этих понятий с действием. Все имена судьбы являются отглагольными дери-

ватами: *судьба — судить*, *доля — делить*, *рок — речь*. Слова *участь* и *счастье* восходят, по их мнению, к праславянскому глаголу со значением «кусать» через девербатив «часть». Слово «жребий» восходит к глаголу со значением «резать» (ЭСРЯ). Семантика судьбы включает некоторые специфические глагольные значения: судьба — результат завершенного действия — имеет признаки перфекта, мотивирующего трактовку судьбы как неотвратимого, свершившегося, состоявшегося факта. В связи с этим в описании поведения судьбы присутствуют два аспекта: ее поведение знаково (*судьба пишет, чертит, обозначает, назначает, судит, речет, предрекает* и пр.) и активно (*она делит, отделяет, разделяет, обрекает, заводит, ломает, играет* и пр. Но кто совершает действие деления, суда, разрезания? Сама судьба? Нет. Человек? Тоже нет. Некто. Исторически те, кого мы назвали. Вчера и сегодня — те, у кого есть власть, боги, Бог, начальники, хозяева.

При более детальном анализе в современном выделяется четыре ипостаси судьбы:

1. судьба как высшая сила;
2. судьба как данное Богом;
3. судьба как путь;
4. судьба как строительный объект.

Судьба в первой ипостаси — одухотворенное существо женского пола, рациональное, но и в большой степени эмоциональное, переменчивое, активно действующее. В ортодоксальной концепции воля Бога противопоставляется своеволию судьбы. Мы говорим: *быть игрушкой в руках судьбы*, *находиться в руках судьбы*, *бросить все на произвол судьбы*, *насмешка, улыбка судьбы*, *судьба разлучает, гонит, наказывает, смеется, жадничает, капризничает, одаривает, балует, решает, казнит, судит, хитрит, каверзничает*, *ей может быть что-либо угодно или неугодно*, *своим перстом она указует путь*, *она выносит приговоры*, *гневается*, *иронизирует*, *улыбается*, *может сжалиться или казнить* и пр. Рациональная роль судьбы часто связана с идеей театра: *она распределяет роли*, *отводит место* и пр. Все это оставили нам в наследство сестры Суденицы. Но не они одни. На наше представление существенно повлиял и французский контекст, пересечение с которым мы увидим, когда будем анализировать соответсвующие французские понятия. Повлиял в XIX веке благодаря стараниям Пушкина, Тургенева, Толстого. То, что человек перед лицом судьбы, как правило, пассивен, его связывают, разъединяют, посылают, забрасывают, обрекают на что-либо, и в этом случае человек — игрушка в руках судьбы, часто обиженная, обкраденная, испытываю-

щая гонения и пр., — как раз следствие глагольности. И из этой же глагольности логично следует и ответное глагольное поведение человека — он ее благодарит, доверяет ей, подчиняется ее воле и пр. Возможен и третий вариант взаимоотношений человека с судьбой в русском языковом сознания, хотя подобные отношения описываются достаточно скудной идиоматикой: человек может быть *не согласен со своей судьбой*, *бороться с ней*, *идти ей наперекор*, *против нее*, *смеяться ей в глаза*, *испытывает ее терпение* и пр. Это заимствованные, то есть не родные, как мы увидим далее, контексты.

Из всех приведенных контекстов выводится четкая коннотация, сопровождающая понятие судьбы в этом значении: это эмоциональная, своевольная, капризная, активная, агрессивная женщина, лицо, голос и руки которой дополнительно акцентированы, которая своевольно, по-женски, часто не соразмеряясь с идеей справедливости, ведет со слепым (!) человеком свои игры, благоприятные или неблагоприятные для него.

Благие ее действия описываются значительно скуднее (одарила, помогла, свела, защитила), нежели негативные, что и понятно, ведь две сестры Суденицы были злые, и только одна добрая. Такой ее облик отражает и развивает на другом, языковом, уровне заданные мифологические черты, о которых мы говорили ранее.

Эту же плодотворную идею и образ развивают и контексты, в которых *судьба* мыслится как неодушевленный предмет, вещь, то, что дается, дарится, то, чем наделяется человек, в этом смысле может явиться также и объектом приложения сил человека: *ее можно искать*, *ей можно следовать*, *ее можно потерять*, *найти*, *встретить*. В этом же смысле она выступает как некий текст, шифровка (то, *что на роду написано*), *ее можно угадать*, *разгадать*, *прочесть*, *строить*, *выстраивать*. Таким образом, здесь за судьбой закрепляется коннотация материального хорошо структурированного и поддающегося структурированию предмета, о котором можно рассказать, поведать и который находится в статическом положении.

В третьей своей ипостаси — судьба ассоциируется с движением, с путем, извилистым, трудным (или легким), этот путь можно разделить с кем-либо, по нему можно идти или свернуть с него, часто он представляется в виде некоего лабиринта и в нем можно заблудиться, потеряв правильное направление движения. Именно в этой третьей ипостаси наиболее явно выражается воля человека: человек может выбирать свой жизненный путь, то есть свою судьбу.

Когда и если человек активен по отношению к своей судьбе — а это не исконный, как мы видели, славянский контекст, — он может созидать ее, строить, обзаведясь такой необходимой для этого вещью, как жизненный план. В этом смысле мы, носители русского языкового сознания, реализуем древнейший стереотип, выражающий целенаправленное, осмысленное, длительное действие через метафору строительства, созидания, архитектурно-инженерного действия. Само по себе понятие плана, как и образ строительства как интеллектуального созидания чего-либо, пришло в современную ментальность именно из архитектуры и военного дела — древнеегипетских, античных, древнекитайских. Строить что-то — означает созидать по плану, действовать продуманно с позитивной целью. Именно в силу этого мы, европейцы, для выражения многих смыслов пользуемся метафорой строительства — мы говорим: *строить свою карьеру*, *выстраивать отношения*, *линию поведения*. Мы говорим: *логическое построение*, *стройность мысли*, *строить козни* и так далее. Для выражения обратной мысли, то есть для обозначения неразумного, непродуманного действия мы пользуемся той же метафорой, указывая на дефектность конструктивного элемента. Мы говорим: *строить замки на песке* или *строить карточный домик*.

Именно в этом смысле мы можем строить свою судьбу. Заимствовав этот образ мысли, как и образ действия, из европейской культуры, в XIX веке.

Мы рассказали о центральном понятии в русском семантическом поле судьбы, а именно о самом слове «*судьба*».

Разновидности русской *судьбы* — *назначение* (*предназначение*), *провидение*, *рок*, *участь*, *доля* различаются оттенками значений и проливают дополнительный свет на осмысление этот понятия в инвариативном виде в русском языковом сознании.

Понятие «*назначения*» является переводным термином с латыни или французского (*destination* или *predestination*) и обычно описывает внешний, социально-значимый аспект в жизни человека. Об этом свидетельствует имеющийся запрет на сочетаемость этого слова: мы можем сказать «*его предназначение в том, чтобы совершить переворот в науке*» или «*ее назначение быть хорошей женой*», но не можем сказать «*его*(*ее*) *предназначение — пять раз поменять работу или супругу* (*супруга*)».

Это слово употребляется узко, обычно в религиозных или околорелигиозных контекстах, ограничено в сочетаемости, имеет единственный метафорический образ «само провидение указало ему на ...»,

не снабжено никакими коннотациями и трактует человека как инструмент, выполняющий благую высшую волю. Назначение, предназначение напрямую связано с провидением, с его волей, образ провидения более разработан в сознании и языке, оно наделено силой, голосом и непременно добрым началом.

Слово «*рок*» (связанное этимологически с глаголом «*речь*» — сказанное, реченное) более активно в русском языке. Мы говорим: *жестокий, злобный, враждебный, беспощадный, бессмысленный, непонятный, загадочный рок. Рок преследует, обрушивается, настигает, вступает. Рок* — темная, враждебная, агрессивная, злая сила, рассматривающая человека исключительно как свою жертву и противостоящая счастливой судьбе. Но *рок*, в отличие от *судьбы*, не образует линию, путь, действие его всегда точечно, его нельзя построить, хотя эти точечные воздействия могут включаться в судьбу, в особенности в ее финальной части. Так, нежданная смерть от случайности — всегда осмысливается как рок.

В этой связи интересно употребление прилагательного «роковой», применительно к женщине или, реже, к мужчине, для обозначения соблазнительности и гибельности последних. Эта идея также французского происхождения (femme fatale) и также относится к заимствованным мыслительным способам поведения и суждения о нем.

Доля, участь, удел — в отличие от предназначения, может касаться и внутренней жизни человека (мы говорим: «*быть брошеной женщиной — такая уж ее доля*»). *Доля* «включает» в себя не только внешние факторы, но и сугубо внутренние, мы можем сказать: «*Такая уж моя доля — терпеть, ведь я не умею постоять за себя*». *Доля выпадает, ее ищут*, в современном языке она не может быть ни хорошей, ни плохой (счастливой, то есть делающей человека счастливым: признак человека, а не ее самой). В современном языке слова *участь, доля, удел* теряют свою активность, получают стилистическую окраску (либо поэтическую, либо просторечную, вероятно, это как-то связано с их исконностью и наибольшей архаичностью среди всех членов синонимической группы), и рядовой носитель обычно затрудняется, если ему предложить создать разнообразные контексты с этими словами.

Русское слово «*жребий*» в значении «*судьба*» употребляется в ограниченных контекстах: «*нам выпал такой жребий*», «*таков уж наш жребий*», «*наш жребий незавиден*». Обычно, по нашим наблюдениям, предпочтительно соотносится с первым и третьим лицом (его — доля), негативно окрашен, в образном строе выступает как неодушевленная сущность пассивного свойства (не сочетается с активны-

ми глаголами действия, можно сказать только: *жребий брошен*, глагол бросать в страдательном залоге).

В сочетании слова *жребий* и отчасти слова *доля* мы видим важный элемент метафорического концепта, объединяющий эти понятия с индоевропейскими прототипами. Мы будем много говорить о том, что представленные во французском мировоззрении когнитивные структуры, связанные с понятием *судьбы* и *случая*, ассоциированы в первую очередь с идеей падения-выпадения, восходящей к древним способам определения будущего через гадание и жребий. Мы не можем сказать, заимствована эта образность у европейцев или степняков, но можем определенно сказать, что в праславянском представлении ситуации, связанной с этими двумя понятиями, таких элементов, насколько мы знаем, нет.

Итак, мы проанализировали следующие русские слова, описывающие высшее, внешнее, главенствующее, определяющее человеческую жизнь: *судьба*, *участь*, *доля*, *удел*, *рок*, *провидение*, *жребий*.

У всех представленных русских понятий есть французские переводные эквиваленты. Рассмотрим их.

Французское семантическое поле *fortune, destin, destinée, sort, providence.*

Аббат де Фелис, француз, автор 26-томной «Энциклопедии, или Универсального словаря», увидевшего свет в семидесятые годы XVII века, отмечал, что «у христиан нет достаточно четкой доктрины судьбы» (11). Действительно, образ судьбы во французском языке представляется достаточно эклектичным и неоднородным, впрочем, не менее эклектичным, чем у русских, что следует, например, из такого высказывания Боэция: «Провидение и судьба, хотя и различаются, однако взаимодействуют между собой. Порядок судьбы возникает из простоты провидения... Бог в своем провидении располагает единственным и непреложным способом того, что должно свершиться. Судьба же, предписанная провидением, направляет относительно времени и места. И не важно, ткет ли она свою нить с помощью духов, близких к божественному провидению, или с помошью мировой души, или послушной ей природы, посредством движения небесных светил, или силой ангелов, или хитростью различных демонов, с помощью чего-то одного из этого или посредством всего этого вместе взятого, очевидно, что провидение есть простой и неизменный образ всего того, что предопределено к воплощению, судьба же представляет собой беспрестанно меняющееся сплетение и временной порядок того, что Бог в своей простоте располагает к возникновению» (12). Из

приведенной цитаты очевидно, что французские мысль и образный ряд питались из двух традиций — античной философии и мифологии и христианства. Фортуна бесконечно обсуждается у гуманистов (Альберти, Фичино, Понтано, Макиавелли (13)), то отрицаясь и низводясь, то воскрешаясь и обретая новые статусы. Столкновение судьбы и провидения, описанное и у Монтеня, и у Дидро (14), также свидетельствует о стойкости античных представлений, оставивших богатый след в языке, приведших к сосуществованию в обыденном сознании и языческого, и христианского образов.

В нашем исследовании мы будем неоднократно, как и говорилось в описании метода, обращаться к описанию аллегорий тех или иных абстрактных понятий, канонизировавшихся в эпохи средних веков и Возрождения, и хотели бы предварить в небольшом отступлении появление обширных цитат из соответствующих источников (I, CD), дабы показать, что именно мы усматривали в этих аллегориях и какой именно феномен они представляют собой. С нашей точки зрения, наиболее интересные замечания об этом содержатся в знаменитой книге Хейзенги «Осень средневековья» (15), где рассматриваются отношения между средневековым символизмом и аллегорией. Он рассматривает символизм с точки зрения каузального мышления, которым пытается связать явления в плоскости одновременно целевой и смысловой. Убежденность в такой связи возникает, как только у вещей обнаруживается общее свойство, соотносимое с некими общими ценностями. Всякий реализм в средневековом смысле, — утверждает Хейзинга, — это антропоморфизм, «когда мысль, приписывающая идее самостоятельное существование, хочет стать зримой» (там же, с. 258). Его можно достичь не иначе, как через персонификацию, превращая символ в аллегорию. Средневековые аллегории отражают обычай давать всему имена, во всякой вещи искать урок, мораль, нравственное значение, во всяком доказательстве прибегать к ссылкам на тексты, сохраняя неукоснительную веру в силу произнесенного слова. Средневековое мышление характеризуется Хейзингой как архитектонический идеализм, связанный с потребностью обособлять каждую идею, оформлять ее как сущность, объединять идеи в иерархические сочетания, выстраивая из них своеобразные храмы и соборы. Именно в силу этого мы полагаем, что аллегории оставили глубокий след в образной структуре понятий, превратившись в коннотации или фрагменты их.

В средневековой иконологии (I, Cd) мы находим следующие описания и соответствующие изображение Провидения и Фортуны:

1. «Провидение — женщина с двумя головами, как у двуликого Януса. На одной голове — венок из колосьев, на другой — из вино-

градных ветвей и кистей. В одной руке она держит два ключа, в другой руль. Поскольку ни один благоразумный человек не может существовать без знания прошлого и будущего, эта фигура изображается с двумя головами. Ключи символизируют недостаточность осязания вещей и подчеркивают необходимость рассуждать. Рассуждения — ключи, помогающие отпереть лабиринты человеческой жизни, преисполненной трудностями. Руль, использующийся на кораблях, показывает что провидение способно управлять событиями, чтобы помочь достичь богатства и славы, а также и спасти жизнь. Провидение вращает руль, управляя нами и нашими надеждами».

2. «Фортуна представляется в виде женщины с завязанными глазами, парящей над деревом жизни и сбивающей с него длинной палкой принадлежности и символы различных ремесел: орудия, оружие, книги, венцы и пр. Так изображаются Дары. Действия ее связаны со звездами, определяющими склонности человека и направляющими через его чувства его разум. Она изображается слепой, чтобы подчеркнуть, что они не благоприятствует никому в отдельности, она всех в равной степени любит и ненавидит, проявляясь через возможности, которые ей предоставляет случай. Это показывает, что следует простому народу идти только за правдой, которой располагает божественное провидение».

Вот еще одно изображение Судьбы, содержащееся в книге Чезаре Рипа:

3. «Женщина с небесной сферой на голове или стоящая на колесе времени и держащая в руке рог изобилия. Сфера или колесо времени показывают, что она находится в постоянном движении и к каждому по очереди поворачивается лицом, возвышая или унижая человека. Она распределяет блага из рога изобилия, но поскольку все время движется, то и блага постоянно переходят из рук в руки» (I).

Проанализируем эти описания.

1. Оба аллегорических персонажа — женского пола.

2. Оба персонажа действуют при помощи дополнительных инструментов (ключи, рог изобилия, колесо, руль, палка).

3. Области их действия не пересекаются.

4. Персонажи, олицетворяющие эти понятия, намекают человеку, как ему следует себя вести в отношении своей судьбы: знай прошлое, думай о будущем, рассуждай.

5. Провидение и французская судьба наделены богатствами: у них есть колосья, виноградные ветви, рог изобилия, дары — символы ремесел. Эти высшие «предопределители» жизни подсказывают человеку, как ему преуспеть.

6. Все люди равны, судьба никому не подыгрывает. Она или слепа, или равномерно вращается на колесе времени, поворачиваясь лицом к каждому.

Изложенные здесь представления в большой степени являются ключевыми для романской ментальности. Они пронизывают длинные ряды понятий, определяющие отношения человека и окружающей его естественной среды. Отголоски этих представлений мы находим во французских понятиях о добре, случае, успехе. Вот яркий пример: французский успех — *success* — связан с идеей, выраженной латинским, а потом и старофранцузским глаголом succedere, современным французским *succeder*, — исторически означавшим *иметь взаимосвязь во времени*, *иметь хороший результат во времени*, а затем в новое время означающим — *наследовать*, *получать в свою очередь*, *иметь в следствие*. Это понятие содержит в себе геном смысла, утверждающего связь между успехом, богатством и родом человека (наследством, делом, капиталом, перешедшим по наследству), а также длительным удачным стечением обстоятельств. В отличие от русского *успеха*, связанного с глаголом (*«успеть»*, *успеть схватить*, *воспользоваться*, *совершить «хапок»*). Все эти понятия, идущие от ключевого понятия *судьбы*, оказывают большое влияние на ментальность, на способ социального действия, принятого в культуре.

Мы видели, что аллегорический сборник Рипо иллюстрирует лишь два понятия из всего представленного синонимического ряда. С них начнем наш анализ.

(*Fortune n.f.*) — заимствование из латыни (1130), *Fortuna* — имя римского божества счастья, случая и удачи. Первоначально этим словом называли богиню урожая, о чем свидетельствует происхождение ее имени от глагола *ferre* — «носить», материнства и женщин. Впоследствии, возможно, под влиянием пренестинского культа, Фортуна стала богиней судьбы, счастливого и несчастливого случая, социального успеха. Во множественном числе этим словом обозначали «богатство».

Непосредственное происхождение слова связано с *fors*, *fortis*.

В современном языке выделяют три следующих значения этого слова:

1. сила, распределяющая блага и несчастья без видимого правила;

2. событие или события, хорошие или плохие, результирующие из действий этой силы;

3. благосостояние, богатство. В этом значении fotrune входит в следующий синонимический ряд: деньги, капитал, собственность, владения, богатство.

Уже этот беглый обзор показывает ключевую разницу мировоззренческих концептов *судьбы* в двух культурах. У русских *судьба* — это часто о плохом. У французов — скорее всего, о хорошем.

Слово *fortune* в первых двух интересующих нас значениях имеет во французском языке следующие метафорические сочетания:

les caprices, les caresses, les cadeaux, les revers, les revirements, la volonté, la révolution de la fortune;

etre favorisé, élu, digracié, favorisé de la fortune;

chercher, tenter, bâtir, courtiser, corriger, brusquer la fortune, faire contre mauvaise fortune bon cњur;

etre l'artisan, courtisan de la fortune;

avoir la bonne, brillante, heureuse, mauvaise fortune, ne pas avoir de fortune.

Следует отметить, что употребление *fortune* в значении «судьба» все больше вытесняется словами *destin, destinée, sort*, о которых речь пойдет далее. В современном языке на первый план значения этого слова все больше выступает конкретное значение этого слова — благо, богатство, состояние, конечно, являющиеся результатом благоприятствования «верховной судьбы». Именно эти значения слова *fortune* связываются нами с материнским аллегорическим образом Фортуны, раздающей профессиональные «дары», и именно он определяет специфику, нюансировку исходного понятия — мифологизированной силы, как правило помогающей достичь социального успеха и процветания через профессиональную деятельность. Так, по нашим наблюдениям, вся вышеприведенная сочетаемость появляется лишь в контекстах, связанных с карьерой, но никак не с личной жизнью человека. Например, высказывание «*il est allé chercher fortune aux Etas-Unis*» никак не может интерпретироваться как «он поехал искать личного счастья в Америку», но как «Он поехал искать денег, удачу в Америку». В связи с этим утверждением следует уточнить интерпретацию двух следующих примеров употребления: *c'est un homme à bonnes fortunes* — мужчина, которому везет в любви и у которого много женщин — и *La fortune t'a donné des parents riches*. Первое употребление рассматривается нами как идиоматическое, в котором *fortune* утратило первоначальный смысл, во втором — «богатые родители» фигурируют как социальная характеристика, благоприятствующая продвижению человека в жизни. Симптоматично, что сказать *La fortune t'a donné des parents pauvres* — нельзя.

Коннотативный облик *fortune* во французском языке вырисовывается достаточно четко: женственность особенно подчеркивается

возможностью ухаживать за ней, а также капризами и ласками, источником которых она является. Мы можем спрогнозировать наличие других сочетаемостных возможностей этого слова, подчеркивающих женские черты закрепленного за этим понятием образа. Однако при создании подобных высказываний следует учитывать, что французская *fortune* нема, поэтому нельзя услышать ее голоса и прислушиваться к ее советам. Почему? А потому что в мифе, в отличие от славянских Суденицы, она ни с кем не разговаривала, и язык запомнил это. Коннотативный облик *fortune*, связанный с представлениями о здании или о некоем артефакте (*bâtir sa fortune*, *être l'artisan de sa fortune*), связан не со значением судьбы — высшей силы, а со значением — деньги, состояние, благополучие. Мы уже писали о сути этой метафоры чуть ранее, когда говорили о русском словосочетании «строить свою судьбу».

Сравнение сочетаемости французского и русского понятия указывает на их близкий контакт и влияние французского слова и понятия на русское. Этот факт вполне объясним особенностями контекстов русского XIX века, когда происходило это заимствование.

Providence (n. f.) — слово, заимствованное из латыни (1165) (от *providentia* — предвидение, провидение), используемое первоначально специально, чтобы обозначить возможность тактического военного прогнозирования. Слово образовано от действительного причастия настоящего времени глагола *providere* — «видеть вперед, предвидеть». В старофранцузском языке существовал соответсвующий дериват (porvëance) со значением «провидение», «осторожность», «мудрость».

Providence не сохранило значения «предвидение», так как было вытеснено в этом значении словами *prévision* и *prévoyance*. Эти слова сохранились в религиозном словаре, для обозначения высшей мудрости, при помощи которой Бог управляет всем сущим, и по метонимии самого Бога, правящего миром (в этом случае слово пишется с большой буквы). В XVIII веке, как мы уже отмечали, это глубоко религиозное понятие входит в конфликт с понятиями *destin*, *destinée*, *sort* с одной стороны, и со слово *Nature* — с другой.

Следует особо отметить, что это слово терминологично и при употреблении непременно отсылает к христианской доктрине, что позволяет отнести его все же к специальному лексикону. Именно этим объясняется большая устойчивость его сочетаемости, невозможность даже для носителя языка порождать контексты употребления с отходом от заданного стандарта.

О *providence* во французском языке говорится:
Les décrets, les desseins impénétrables, les conseils de la Providence;
La Providence règle les affaires du monde coup de la Providence;
aller contre la Providence.

Определение нюансов значения этого слова — предмет специального теологического исследования. Мы лишь отметим, что провидение во французском языке имеет более социализированный, чем в русском языке, образ. Провидение — женщина (см. алегорический образ) без каких-либо женских проявлений. Но женщина скорее античная, богиня. Поскольку в христианской европейской традиции женщины мыслились младшими сестрами мужчин, до власти не допускались (до XVIII века) и никаких декретов обычно не издавали.

В отличие от русского провидения, она наделена не только голосом, но и возможностью, при помощи речи или письма, формулировать декреты, выражать свои намерения, давать советы. То есть она (провидение) активна, взаимодействует с людьми, уподобляясь им.

В оппозиции к *providence* находятся *destin*, *destinée*, *sort*, центральные понятия, выражающие идею судьбы во французском языке. Обратимся к их рассмотрению.

В паре терминов *destin/destinée* сразу же обнаруживается специфичность, связанная с их грамматической формой, специфичность, плохо описываемая на русском языке из-за отсутствия в грамматике существительного способов выражения длительности. *Destin/destinée* ассоциируется в этом плане с *jour/journée*, *matin/matinée* и пр. и заставляет искать аналогичного оттенка значения, закрепленным за аффиксом, системно выражающим определенный смысл. А именно — первая судьба (*destine*) является как бы воплощением, реализацией второй (*destin*) в актуально идущем процессе жизни.

В отличие от известных пар, различающихся суффиксом «ее» со значением длительности, оба французских термина — девербативы. Глагол *destiner* был заимствован в начале XII века из латыни (*destinare* — «фиксировать, привязывать» и в переносном значении «решать, назначать», а также «останавливать свой выбор на чем-либо». Латинский глагол произошел от *de* и *stare* — «стоять, быть неподвижным»). В середине XII века путем субстантивации причастия прошедшего времени женского рода фиксируется *destinée* в современном значении, то есть: «*destinée a été substantivée avec son sens de "sort", soit comme puissance abstraite (destin), soit comme situation individuelle, réglée par le destin*» (DILF). Эта констатация позволяет установить соотношение между тремя понятиями: *sort* — самое об-

щее из них, *destin* — абстрактная сила, *destinée* — конкретная ситуация, управляемая *destin*. Это позволяет определить соотнесенность грамматической формы двух рассматриваемых слов с идеей длительности: *destinée* — конкретная ситуация, то есть то, что разворачивается в реальном времени, *destin* — абстрактная сила, существующая вне времени. *Destin* в языке появилось самым последним (разница в появлении этих слов во французском языке исчисляется десятилетиями, а не, как это часто бывает, столетиями) и имело смысл «предопределение», который затем ушел вместе с другими средневековыми значениями этого слова — «решенное дело», «способ существования». Сегодня это слово обозначает силу, управляющую течением событий, или совокупность событий, рассматриваемых как предопределенные случаем, удачей или неудачей. Отметим, возможно неосознаваемое рядовыми носителями французского языка соображение: поскольку рядом с этими существительными всегда существовал активный глагол «destiner» — «предназначать», возникший во французском языке до существительных, о которых мы говорим, то, по нашему предположению, его значение, равно как и значение другого отглагольного существительного «destination» — «предназначение», нюансируют значение рассматриваемых двух слов, позволяя увидеть в них, возможно, в рудиментарном виде, идею предназначения, что находит отклики и в других языках. Так, в русском языке, например, слово «предназначение» является одним из синонимов слова «судьба», хотя и синонимом с узкой сферой употребления.

Со словом *destin* мы находим во французском языке следующие выражения:

se livrer àu destin, le destin entraîne, se prononce, règle, ordonne, dispose, n'a pas dit son dernier mot, on suit son destin, n'échappe pas à son destin, tournant du destin, l'inconstance du destin, destin tragique, heureux, dérision, doigt du destin, Dieu fait et défait le destin etc.

Из приведенной выше фразеологии мы можем увидеть, что *destin*, совпадая с первым значением *fortune*, имеет много общего в образной структуре понятия, однако в глаза бросаются два существенных отличия: *destin* наделен речью и в его облике редуцированы женские черты. В понятийном аспекте важное отличие заключается в том, что *destin* управляет не только социальным успехом человека. В его облике подчеркивается сильное (мужское) начало: в его власть отдаются, он тащит за собой и др. Наличие у *destin* указующего перста подчеркивает его императивность (указующий перст — атрибут трибуна, учителя и пр.) и активность. Активность *destin* не оставляет возможностей для

проявления активности человека, мы не можем сказать **chercher*, *lier son destin* и пр. Итак, *destin*: одушевленное, сильное, активное, непререкаемое, непостоянное, всеобъемлющее.

Destinée связывается в мировоззрении французов с конкретной человеческой жизнью и, возможно, его предназначением (*Ce à quoi une personne est destinée*). О ней говорят так:

tenir entre ses main la destinée de qn, accomplir sa destinée, trancher la destinée de qn, chacun est l'ouvrier de sa destinée, subir le joug de la destinée, finir sa destinée, unir sa destinée à qn etc.

Из приведенной сочетаемости видно, что *destinée* мыслится как что-то неодушевленное и пассивное, являющееся объектом действий человека. В отношении *destine* человек может многое — держать ее в руках, реализовывать ее, кому-то прерывать (как будто перерезая волос, на котором висит дамоклов меч), во французском есть выражение, буквально заимствованное в русский язык, только применительно к слову «счастье» в значении судьбы. Французы говорят «быть рабочим своей судьбы», а русские вслед за ними «быть кузнецом своего счастья». Эта разновидность «французской» судьбы очень часто связана с частной жизнью человека (*c'est sa destinée d'être parfaitement aimée*), что свидетельствует о том, что в сознании французов, как и в сознании русских, есть различение судьбы низшей, человеческой, и судьбы высшей — для общества или Бога.

Среди синонимов *destin* и *destinée* постоянно фигурирует еще одно понятие, связанное с идеей судьбы, — *fatalité*.

FATALITÉ — слово, заимствованное из народной латыни (*fatalitas* — «непререкаемость судьбы» и «естественная или сверхъестественная сила, заранее предопределяющая все, что происходит»). Иначе говоря, это причина, и чаще причина чего-то негативного. Первоначально (в народной латыни и старофранцузском языке) это слово обозначало череду необъяснимых обстоятельств, которые кажутся выражением высшей предопределенности, затем в его значение был включен латинский смысл. Отметим, что прилагательное *fatal*, родственное по происхождению, произошло от классически латинского *fatalis* («профетический», «предопределенный судьбой», «зловещий, смертельный»), происшедшего в свою очередь от латинского fatum («предсказание, «судьба» и, что особенно интересно, — «время, отведенное для чьей-либо жизни»). Возможно, этот последний смысл стал родоначальником отрицательной коннотации слова *фатум*, которое встречается с негативным оттенком во всех романских языках и во всех языках, заимствовавших из церковной латыни это понятие.

Прилагательное *fatal* пришло во французский язык на полтора века раньше, чем соответствующее существительное — в XII веке, и уже через два столетия негативный смысл его несколько ослабился. Однако *fatalité* в современном сознании — это сверхъестественная сила, благодаря которой все, что происходит (в особенности то, что неприятно), заранее предопределяется. Исходя из вышесказанного, мы можем трактовать *fatalité* как «злую судьбу», «досадную случайность», мешающую человеку жить или вовсе прекращающую его жизнь. Слово fatalité имеет во французском языке следующую сочетаемость:

subir, accuser la fatalité, s'incliner devant la fatalité, lutter contre la fatalité;

la fatalité s'acharne contre qn, poursuit qn, persiste;

la fatalité cruelle, inexorable, impitoyable, morale, physique, intellectuelle, spirituelle, intérieure, extérieure etc.

Интересной образной особенностью этого понятия является то, и это сразу бросается в глаза, что злая сила может находиться как снаружи, так и внутри человека. Очевидно, что *fatalité* рассматривается во французском языке как враг человека, как одушевленная, агрессивная сила, злонамеренная, не знающая жалости. Но человек в коллективном сознании французов может противостоять ей, бороться. Этот мотив возможности противодействия своей судьбе важен для понимания французской ментальности и еще раз доказывает сильнейшее влияние на нее античности, очевидно в данном вопросе куда большее, чем влияние христианства. Вспомним, как боролся со своей судьбой Одиссей и победил, как боролся Эдип — и проиграл. Многие античные герои бросали вызов судьбе, но никто и никогда из славянских прототипических персонажей этого не делал, даже не помышлял об этом (мы можем вынести такое суждение не только из анализов славянских мифов, но и из анализа русских сказок) (16).

Центральное понятие, трактующее идею судьбы во французском языке, связано со словом *sort*. Французское *sort* (n.m.) произошло от *sortem* (980), аккузатива классического латинского *sors, sortis* (n.f.), обозначавшего первоначально маленькие деревянные таблички, предназначенные для общения с оракулами через бросание жеребия, например, при распределении судебных полномочий в магистратах. Отсюда происходит выражение *tirage au sort* и *résultat de tirage*, также имевшее и особый смысл: «пророчество, нанесенное на дощечки, которую из двух выбирал ребенок, предварительно тщательно перемешавший дощечки», а также и «обязанность, должность, назначенная пророчеством». Это ключевой материнский смысл, соположенный

романскому, и в частности французскому, пониманию судьбы и случая, ключевой развивающийся образ, влияние и следы которого мы сможем обнаружить во многих группах понятий.

Далее по расширению значения *sors* обозначало «жребий, выпавший кому-либо, предназначение, удел (*sort, destinée, lot*)», затем «положение», в юридическом языке — денежная сумма, в противопоставление *fenus* — процент от денег, отданных в долг, а также — наследство. Здесь важно подметить, что и эта разновидность французской судьбы связана с деньгами.

Во французском языке *sort* унаследовало множество латинских значений. Во-первых, это способ принять решение через жребий (см. выражение *jeter sort* XIII века, означавшее «бросить кости», чтобы таким образом решить что-либо, превратившееся в *jeter, tirer au sort* в XVII веке и использующееся и по сей день). В XIX веке при помощи *tirage au sort* происходило рекрутирование в армию молодых людей из бедной среды, что полностью определяло их дальнейшую участь. Выражение *Le sort en est jeté* вошло в обиход благодаря Малербу, переведшего таким образом *Alea jacta est* (фраза, произнесенная Цицероном, когда Цезарь вопреки запрету, наложенному сенатом, решил перейти Рубикон). После песни о Роланде (1080) утвердилось другое значение *sort*, к которому примыкает *sorcier*, слово, обозначавшее магическое действие негативного свойства (откуда выражения *jeter un sort à qn* и *il y a un sort* — околдовать кого-то и главенствующая неудача). В XIII веке *sort* заимствует латинское значение «предсказание, пророчество», затем вышедшее из употребления. По расширению значения слово обозначало «искусство дивинации, осуществляемое при помощи костей» или в выражениях *sort homérique, virgilien* гадание на абзаце из Гомера или Вергилия. Со времен старофранцузского языка слово обозначает также и то, что должно произойти, и в этом значении оно эквивалентно *destin* и *destinée*. В этом значении слово sort было женского рода вплоть до XVII века. В этом же значении у этого слова выявлялся особый оттенок значения — материальная ситуация, в которой оказывался человек или группа людей.

Sort может быть благоприятным и неблагоприятным (в XV веке *mauvais sort* обозначало «яд») или нейтральным, в последнем случае ассоциируясь со случаем. Значения, связанные с помещением капитала под ренту, исчезли в современном французском языке.

Сегодня у этого слова с очевидностью выделяются следующие три значения описываемого слова:

1. магическое действие, обычно негативного свойства, предметом которого оказывается человек;

2. то, что должно произойти, происходит по воле случая;

3. воображаемая сила, определяющая течение человеческой жизни, фиктивная причина того, что происходит.

В современном языке слово *sort* имеет следующую сочетаемость:

Le sort sourit, sert, favorise, se joue, veut, abandonne, défavorise, tourne devant etc.

Les coups, les caprices, les injures, l'ironie du sort;

Subir, infliger, réserver, accepter, avoir un sort;

Lier son sort à celui d'un autre. Disposer, décider du sort du qn. Partager, plaindre, invier, se lamenter, s'apitoyer sur le sort de qn;

Etre résigné à son sort;

Arbitre du sort, abondonner qn à son sort, faire un sort à qn, faire un sort heureux a qn, faire un sort;

Le sort peut être digne, enviable, heureux, malheureux, cruel, indigne, lamentable, déplorable, pitoyable, propice.

Французское *sort* не имеет во французском языке никаких однокоренных глаголов или прилагательных, осознаваемых как таковые, не является производным или производящим, не может соответственно характеризоваться признаком и не происходит ни от какого непосредственного действия. Таким образом, само по себе это слово непрозрачно для современного носителя французского языка и мотивируется в повышенной степени контекстно. Наиболее частотный глагол, употребляемый со словом *sort*, — *jeter*, подчеркивающий этимологическое значение слова и связывающий понятие с идеей «бросания», следовательно, случая.

Таким образом, *sort* в наиболее частотном употреблении — случайный результат, функция случая. Случай этот может активизировать человек, а не божество, именно поэтому в сочетаемости это слово часто занимает позицию прямого дополнения, а место агенса отводится человеку или Богу. В функции прямого дополнения *sort* выступает во втором из перечисленных значений и осмысляется как некоторый неодушевленный предмет, с которым осуществляются действия, аналогичные тем, что в Риме совершались с *sors*. *Sort* можно навязать, заставить переносить, принимать, делить, ему можно завидовать или на него жаловаться. Активность человека по отношению к *sort* выражается также и в частотном использовании с этим словом глагола *faire*. Один человек может составить счастье другого, помочь ему материально, помочь достичь положения в обществе, и все это будет описано при помощи глагола *faire* и существительного *sort*. Человек

может найти применение вещи, и это также будет описываться при помощи тех же лексических средств. «Судьба» вещи, неодушевленного предмета, может во французском языке описываться также и при помощи существительного *destin*, однако *destin* в отличие от sort не может делаться человеком.

Идею относительной пассивности *sort*, «предпочитающего» прятаться либо за спину другого божества, либо за спину человека, подчеркивает также группа эпитетов-прилагательных с суффиксом — *able* — отглагольных прилагательных, указывающих на возможность совершения с характеризуемым существительным действия, задаваемого соответствующим глаголом.

Sort в третьем значении — персонифицированная высшая сила, характеризуется достаточно «мягкими» проявлениями, что, по нашему мнению, связано с только что описанной пассивностью этого слова во втором значении. В целом облик этой высшей силы недостаточно проявлен, определяется лишь способность помогать и не помогать, благоприятствовать и не благоприятствовать, покидать и пр. Однако постановка *sort* в позицию подлежащего (то есть действующего субъекта) не предпочтительна и чаще всего для выражения условно активных позиций *sort* будет использована причастная конструкция: *favorisé par le sort, il... etc.* Следует отметить, что sort не наделен речью, однако, как и все эти божества, способен улыбаться и поворачиваться: *le sort lui a souri*, *le sort tourne devant lui*, и именно в этих двух универсальных для описываемой лексической группы контекстах *sort* выступает активно, как и подобает высшей силе, распоряжающейся человеческой жизнью.

Итак, мы рассмотрели французское и русское представление о высших началах, предопределяющих человеческую жизнь. Как они соотносятся?

Сопоставительный анализ двух мировоззренческих систем, трактующих представление о судьбе

В русском языке нами были описаны следующие понятия:

Судьба (мифологема) — высшая неконтролируемая сила, одушевленная, женского пола с проявленным женским характером, активная, позитивная или негативная (с акцентом на негативном), допускающая противодействие, с выраженным лицом и руками, наделенная речью, управляющая любым из аспектов человеческой жизни. Наряду с мифологизированным персонифицированным обликом, ей приписываются также предметные коннотации: судьба как данное богом — текст, здание, судьба как перспектива — путь.

Назначение, предназначение (не мифологема) — предназначение, определенное высшей силой, связанное с идеей общечеловечески значимой миссии.

Провидение (мифологема) — персонифицированная функция Бога — высшая благая сила, рассматривающая человека инструментально, одушевленная, без половой маркировки, всегда позитивная, не допускающая проявления человеческой воли, сама наделенная волей, силой, речью, касающаяся любого сферы человеческой жизни.

Рок (мифологема) — высшая персонифицированная сила с мужской маркировкой, активная, агрессивная, злонамеренная, не допускающая противодействия, сосредоточенная на «убиении» человека.

Доля, участь, удел (мифологема) — результат деления на части, получение части целого, предмет, часто ассоциируемый со «съедобным куском», пассивный, не взаимодействующий с человеком. *Доля, участь, удел* связаны в первую очередь с частной жизнью.

Жребий (не мифологема) — синоним *доли* с ограниченной скудной сочетаемостью, поглощенный в употреблении «долей». Неодушевленный пассивный предмет, статичный, не взаимодействующий с человеком.

Во французском языке нами были описаны следующие понятия.

Fortune (мифологема) — высшая сила. Одушевленная, с женской маркировкой, активная, позитивная или негативная, взаимодействующая с человеком, связанная с идеей достатка и социального процветания. Не наделена речью.

Providence (мифологема) — высшая сила, одушевленная, женская (без женских проявлений), образно ассоциируемая с правителем, наделенная речью.

Destin (мифологема) — высшая сила, с мужской маркировкой, активная и резкая, негативная или позитивная, не допускающая противодействия с выделенными в облике лицом и пальцем. Наделена речью.

Destinée (мифологема) — результат действия высшей силы (*destin*) — неодущевленное, пассивное, женское, объект действий человека. В основном ассоциируется с частной жизнью человека.

Fatalité (мифологема) — высшая сила, активная, агрессивная, женская, допускающая противодействие, и внутренняя и внешняя. Не наделена речью. Результат действия другой силы (*Fatum*), присутствие которой осознается, однако слово, как и понятие, отмирает для современного носителя французского языка.

Sort (мифологема) — высшая сила, активная, с мужской маркировкой, хорошая или плохая, легко допускающая противодействие

человека, немая, а также результат действия этой силы, предмет пассивный, ассоциируемый со жребием, определяемый не только божеством, но и человеком.

Таким образом, исследуемые лексические поля в обоих языках представлены шестью лексемами.

Во французском языке пять из шести слов представляют собой активно действующие начала, управляющие человеческой жизнью (кроме *destinée*).

В русском языке три из шести слов представляют собой активно действующие начала (это — *судьба*, *провидение*, *рок*).

Таким образом, в русском языковом сознании основным критерием распределения функций является хороший/плохой: *судьба* — хорошая или плохая, чаще плохая, *провидение* — хорошее, *рок* — плохой.

Во французском языке все силы, кроме *fatalité*, могут быть и хорошими и плохими, да и само *fatalité* не столь фатально, как русский *рок*, поэтому в основе распределения лежит круг более дифференцированный представлений, которые в известной степени способны перетекать друг в друга: *fortune* — благополучие, достаток, социальная жизнь, *providence* — распоряжения мудрого правителя, имеющего исключительно благие намерения и которого следует слушать себе же во благо, *destin* — предназначение человека, реализующееся в его конкретной *destinée*, *fatalité* — противостоящая сила, *sort* — отдельная сила, описывающая внедрения случая во взаимодействие всех этих сил.

Однако, несмотря на то, что во французском языке больше «активных разновидностей» судьбы, мощность этой активности в рамках каждого из выделенных слов значительно слабее, чем в русском языке. Так, во французском языке существенно ослаблены и редуцированы возможности постановки какого-то из выделенных понятий в позицию подлежащего, такие контексты, безусловно, имеются, но частотно они встречаются значительно реже, чем в русском, да и количество предикатов, сочетающихся с именами судьбы, в три-четыре раза меньше. В русском же языке судьба крайне активна и избирает во фразе именно позицию агенса — подлежащего. Характерно, что во французском языке наделены речью лишь *destin* и *providence*, хотя наиболее частотным понятием для перевода русского судьба будет *sort*. В русском языке говорят и *судьба*, и *провидение*, то есть две главные активные силы, определяющие жизнь человека.

В русском и французском языках центральные понятия, выражающие инвариативное значение «высшее, внешнее, активное, главенству-

ющее, определяющее жизнь человека», ассоциированы с совершенно различными идеями. Во французском — судьба-благополучие, судьба-предназначение, судьба-жребий. В русском — судьба-присужденное (связанное с оценкой того, что человек заслужил, суд над ним), судьба-доля, часть от того, что полагается всем. Таким образом, в русском языке человек мыслится пассивно, его судят, ему дают долю, часть от общего, и, таким образом, он мыслится как часть коллектива, деперсонифицируется, в то время как во французском его стимулируют добывать блага, его предназначают для той или иной активности, ему выпадает или не выпадает благодаря случаю, который активизировать может и он сам, то или иное будущее, никак не связывающее его с коллективом.

Таким образом, мы можем предположить, что по отношению к описываемым высшим силам во французском языковом сознании человек ориентирован совершенно иначе, нежели в русском.

Несмотря на то, что представленный круг понятий относится к индоевропейским универсалиям, в русском языке выявляются нетривиальные, не имеющие аналогов во французском языке коннотации. Так, во французском языке судьба (*sort*, *destin*) не мыслится как некий текст или путь. В русском языке *судьба* не ассоциируется с образом *жребия*, такое слово употребляется отдельно с близким значением, но у слова *судьба* такой коннотации нет.

Во французском языке, в отличие от русского, выражено в ряде случаев лексическое разделение причины и следствия. Прежде всего на это указывает пара *destin/destinée*, *fatum/fatalité*. Несмотря на то, что *fatum* малоактивное слово, имеющееся разделение — *высшая сила/результат* действия этой силы — свидетельствует о более детальной философской проработке лексики этого гнезда, как на авторском, так и на общеязыковом уровне.

Статистика показывает, что наиболее частотными и развитыми по значению в русском и французском языке являются соответственно слова *судьба* и *sort*. Это центральные понятия, выражающие идею предопределения человеческой жизни высшей силой в рассматриваемых языках. Несмотря на сочетаемость, которая склоняет поставить в соответствие французскому *sort* русскую *долю*, мы считаем, что должны сопоставляться именно эти два понятия как базовые. Русская *судьба* — слово, происшедшее от другого абстрактного понятия (на последнем этапе), слово с соответствующей мифологической «поддержкой» и развитой метафорической сочетаемостью, за русским словом *судьба* стоит конкретно очерченный мифологический образ,

с разработанной внешностью, наделенный даром речи, которому приписываются строго определенные модели поведения. Русская *судьба* в первом своем значении подавляет, действует, вершит.

Французское *sort* — понятие без определенных мифологических истоков, оно ассоциировано в центральном своем употреблении с предметом, в чуть более редком употреблении с персонифицированным мифологическим существом, эклектически заимствовавшим свой облик у своих «соседей по гнезду». Метафорическая проработка этого понятия значительно более скромная, возможности действовать у этого «божества» ограничены одним десятком глаголов. При этом, как мы уже говорили, *sort* «не любит» выступать в роли подлежащего, уступая активную роль субъекту (лучше сказать *favorisé par le sort il..*, чем *le sort le favotisé*, *protege par le sort il..*, чем *le sort l'a protege etc.*) Подобную активность французского субъекта и пассивную русского мы связываем с соответствующими тенденциями обоих языков, проявляющихся на общесинтаксическом, независимом от конкретных понятий уровне.

Если подняться на более высокую ступень анализа и все же пренебречь многими указанными здесь частностями, в самом обобщенном виде мировоззренческое различие представлений французов и русских о судьбе может быть представлено следующим образом:

Ключевые моменты	Русское видение	Французское видение
Истоки	Сказать/дать	Бросать/выпадать
Актуальные взаимосвязи	Ущерб	Благосостояние
Членение ситуации	8 слов: 3 слова от *части*, *куска*, 1 от *жребия*, 2 от *говорить*, *судить*, 2 религиозные — от *предназначать*, *провидеть*	6 слов: 2 — *предназначать* (*не религиозное*), 1 *жребий*, 1 *богиня Плодородия*, 1 *религиозный*, 1 античный от *fatum*
Образ	Своенравная женщина (заимствованное из французского)	Своенравная женщина (заимствованное из латыни)
Роль человека	Пассивен (принять)	Активен (поймать)
Влияния	Славянская мифология, христианство, французский мировоззренческий контекст	Античность

Библиография

1. *Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 1980.
2. *Рассел Б.* Человеческое познание. М., 1957, а также *Юм Д.* Исследование о человеческом познании. Соч.: В 2 т. М., 1965. С. 19—26, 61—74, а также *Бергсон А.* Материя и память. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1992. С. 160—270.
3. *Reader J.* Africa: A biography of continent. London, 1997. P. 72—79.
4. *Ленин В. И.* Материализм и эмпириокритицизм. М., 1971. С. 16.
5. *Гуревич А. Я.* Диалектика судьбы у германцев и древних народов // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 148.
6. *Постовалова В. И.* Судьба как ключевое слово культуры и его толкование. Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 207—214.
7. *Панов Г. В.* Чувственное, рациональное, опыт. М., 1976.
8. *Виппер Р. Ю.* Влияние кальвинизма на политические учения и движения в XVI веке. М., 1894.
9. *Никитина Е. С.* Концепт судьбы в русском народном сознании (на материале устно-поэтических текстов) // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 130.
10. *Толстая С. М.* Глаголы судьбы и их корреляты в языке культуры // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 143—147.
11. Félice Abbé de Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné. Paris, 1973. T. 7.
12. *Боэций.* Утешение философией. М., 1990. С. 265—266.
13. *Баткин Л. М.* Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
14. Félice Abbé de Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné des sciences, des arts et des métiers (Diderot et D Alambert). Paris. 1954. T. 4. P. 896.
15. *Хейзенга Й.* Осень средневековья. М., 1980.
16. *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.

Глава четвертая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ О СЛУЧАЕ И УДАЧЕ

В этой главе мы рассмотрим русские и французские понятия, описывающие представления этих народов о стечении обстоятельств здесь и теперь, оказывающем благотворное или негативное влияние на какой-то момент человеческой жизни или имеющем влияние на весь дальнейший ход человеческой жизни. Русские называют такое стечение обстоятельств *случаем*, французы — *occasion*. В целом эти представления со всеми нюансами у русских описываются таким набором понятий: *случай*, *случайность*, *удача*, *неудача*, *шанс*, а у французов — таким: *occasion*, *hasard*, *chance*, *malchance*, *veine*.

Поговорим о том общем, что создает на сегодня общекультурный фон восприятия этих концептов, то есть о том, как образованные люди Франции и России мыслят эти понятийные кусты. В данном случае нам это необходимо для более точных интерпретаций материала, ибо систематизация всех этих обстоятельств, предлагаемая современной культурой, также в свою очередь является мифологемой и небезынтересна с этой точки зрения.

Противопоставление необходимости и случайности является одной из мировоззренческих осей современной общеевропейской культуры. Об этом противопоставлении с удовольствием рассуждали многие мыслители обеих интересующих нас культур — от Декарта до Льва Толстого. Именно поэтому русские и французские философские словари слово в слово пишут одно и тоже, связывая случайность с преимущественно внешними, несущественными, неустойчивыми единичными обстоятельствами действительности. Случайность часто осмысливается как результат перекрещивания независимых причинных процессов, событий, это способ превращения возможности

в действительность, при котором при данных условиях имеется несколько различных возможностей, могущих превратиться в действительность (ФЭС). Совершенно очевидно, что философские дебаты, сопровождавшие «судьбу» на протяжении формирования европейской цивилизации, сопровождали и понятие *случая*, поскольку *случай* и *судьба* могут свободно трактоваться друг через друга. В мифологии обыденного сознания — в той сфере, в которой от века существуют и то и другое понятие, возможны два соотношения между этими двумя невидимыми силами, управляющими человеческой жизнью. Либо можно считать, что *случай* и *судьба* независимы друг от друга, и тогда роль *судьбы* сужается, а роль *случая* возрастает, либо можно признавать, что *случай* подвластен *судьбе* и является одной из форм ее проявления (тогда *случая* как бы не существует). В философии проблема необходимости и случайности разрабатывалась с древности. В материалистической и рационалистической философии случайность трактовалась через материальность и объективность всего сущего. В идеалистической философии источники случайного виделись в разном: Платон и Гегель связывали случайное с объективной духовной сущностью, Юм и Мах с разумом и сознанием, Кант считал необходимость и случайность категориями доопытных форм мышления, Спиноза и Гольбах не видели между ними никакой связи, Гегель доказывал их диалектическую взаимосвязь. Такая относительная неокончательность трактовок давала дополнительный стимул для мифологической обработки выделенных понятий.

Так как понятие «*судьбы*» во французском и русском языках уже было описано нами, то мы могли бы уже сейчас, до того как будет контрастивно исследовано представление о *случае*, определить специфику соотношения *судьба/случай* в этих двух языках.

В русском языке, как и во французском, соотношение *судьбы* и *случая* выражают соотношение необходимого и случайного, детерминизма и индетерминизма (максимальная неопределенность, произвольность, непредсказуемость). *Судьба* и *случай* в обеих культурах — обозначение двух полюсов, управляющих тем, что происходит. Русские *судьба* и *случай*, по свидетельству В. Н. Топорова (1), обнаруживают общий элемент, восходящий к праславянскому корню и отсылающий к идее некоего синтетического движения, «обнаруживающего свое полное совершение-завершение в данной точке пространственно-временного континуума, где это движение видимым образом впервые объявляет себя как некое “со-падение, со-в-падение” (к префиксу ср. лат. con-cado “падать”, “выпадать” вместе)».

В. Н. Топоров указывает также на переклички в других языковых традициях. Так, немецкое *Los* «*судьба, участь*» (наряду с *Schicksal, Geschick* при *Fall случай*») или английское *lot* отсылают соответственно к немецкому *losen* и английскому *let* с идеей отпускания-освобождения, роняния, присутствующей и в русском случае (ср. *лучить* — «*метить, отпускать, ронять*»). Отметим, что в приведенных В. Н. Топоровом этимологических перекличках отсутствует французская пара *sort — hasard* (*occasion*), которая также необычайно ярко иллюстрирует выдвинутую им идею. Более подробное исследование французских слов последует далее, однако В. Н. Топоров точно подметил их специфику и позволил уловить различие в соотношении между *sort/hasard* и *судьба/случай*. Во французском языке лексика, обозначающая случайное, была, как мы увидим, существенно пополнена за счет лексики азартных игр, преимущественно игр в кости, не слишком распространенных в Древней Руси (2). Таким образом, французская пара понятий в большой степени тавтологична (это имеет дополнительно античные истоки). *Фортуна* — богиня и *судьбы* и *случая* (от лат. *fors, fortis*), в первом случае видится выпадение жребия, во втором выпадение костей. Понятно, что позднейшие переосмысления несколько развели эти слова, введя в ряд имен судьбы такое понятие, как *destin*, уходящее в этом противопоставлении от явной тавтологии, однако на уровне наиболее частотных употреблений такая тавтологичность в центральных понятиях все же может быть отмечена. Русские *судьба* и *случай* ни в коей мере не тавтологичны, несмотря на установленный В. Н. Топоровым общий элемент, к которому восходят оба слова. Русская *судьба* есть приговор, и этот приговор отменить невозможно. А *случая* может и не быть, если в плане судьбы он отсутствует. Если же он присутствует, значит случится непременно, уверены мы, правда, случится он от своего собственного имени.

На более поверхностном во временном разрезе уровне *случай* и *судьба* — девербативы от различных глаголов и за ними стоят совершенно различные действия. Подобное различие в соотношении центральных, ядерных культурологических понятий позволяет увидеть различия русского и французского менталитетов.

Поговорим о русском *случае*.

Русские понятия *случай, случайность, удача, неудача, шанс*

Владимир Даль определяет *случай* как «безотчетное, беспричинное начало, в которое веруют отвергающие провидение» или как «все нежданное, непредвиденное, внезапное» (ТС). Он определяет, кро-

ме оговоренных в определении, еще такие значения этого слова: 1) сговор, помолвка; 2) дела или приключения служебные, вносимые в послужной список. У слова *случай* существовал однокоренной глагол *случать*, *случить*, означавший соединение в одном месте, сближение (*беда случилась* означает что человек и беда совпали, соединились). *Слука*, по Далю же, в архаичном употреблении — любовь, дружба, привязанность, приверженность. Из сказанного видно, что для русского сознания еще в позапрошлом веке *случай* выступал прежде всего как соединение человека и события, людей, обстоятельств.

Важно отметить, что мы не находим никаких следов персонифицированного *случая* в славянской мифологии, в то время как в современном сознании случай мифологизирован достаточно ощутимо.

В современном русском языке под *случаем* понимается: 1) то, что случилось, произошло; 2) благоприятное стечение обстоятельств, дающее возможность сделать что-то, удобный, подходящий момент. На удивление, далевское значение «безотчетное, беспричинное начало, в которое верят люди, отвергающие провидение» отсутствует в современных словарях, и тем не менее это третье значение существует и доказывается следующей фразеологией.

О случае мы говорим:

Его Величество Случай, *игра случая*, *слепой случай*, *ставить*, *надеяться на случай*, *случай помог*, *помешал*, *спас*, *погубил*, *позволил сделать что-либо*, *представился*, *выпал*, *подвернулся*;

случай можно иметь, *искать*, *найти*, *упустить*, *пропустить*, *потерять*, *ждать*, *им можно воспользоваться*;

случай бывает удобный, *подходящий*, *счастливый*, *несчастный*, *редкий* и пр.

Из приведенной сочетаемости видно, что *случай* в русском языке представляется как одушевленное существо, порой удостаеваемое высочайшего титула, активно действующее, безответственное, однако часто благоприятствующее человеку, поэтому на него можно надеяться (выражение «*несчастный случай*» приобрело в русском языке особое значение — «событие, приведшее к ущербу для здоровья человека или к смерти» и не является антонимом для «счастливого случая». Выражение «это случай» в контексте *тебе удалось этого избежать — это чистый случай* (*случайность*) обычно связано с удачным исходом дела. *Случай* хуже сочетается с негативно окрашенными прилагательными. Мы чаще скажем «*неудобная ситуация*», а не *неудобный случай*. «*Ужасный случай*» в контексте «*со мной вчера произошел ужасный случай*» означает ужасное событие). Именно поэтому случая ищут, а

потеря его, всегда связанная с оплошностью человека или другими негативными качествами, оценивается как упущение.

Случайность часто представляется как результат действия *случая*, а часто и как сам *случай*. Будучи производной от *случая*, *случайность* заимствует многие из его признаков.

О *случайности* мы говорим: *жертва случайности*, *счастливая*, *досадная*, *чистая*, *простая*, *нелепая*, *трагическая случайность*.

Случай и *случайность* образуют взаимодополняющую пару смыслов, обнаруживаемых из запрета сочетаемости.

Мы можем сказать: «*это дело случая*», «*только случай может ему помочь*». Мы не говорим «*дело случайности*» и говорим «*только случайность может его спасти*». Мы полагаемся на *случай*, но не полагаемся на *случайность*. Губит *случайность*, а не *случай*. Иначе говоря, мы часто, говоря о *случайности*, имеем в виду, что все последствия ее представлены тут же, немедленно. И немедленно же и исчерпываются. *Досадная случайность* — и кошелек потерян. *Счастливая случайность*, и милиционер отвернулся, не заметив нарушения со стороны водителя. *Случай* же предполагает более фундаментальную систему последствий. *Случай* сталкивает людей, они женятся, соединяются. Они встретились *случайно*, но дальше вмешалась *судьба*. В действия *случайности* не могут иметь длинных последствий. *Случайность* столкнула людей, они здесь и теперь взаимодействуют, но дальше у этого нет последствий. А если есть — это уже *случай*.

Существенная семантическая разница *случая* и *случайности* обнаруживается при сопоставлении факта *случайности* и его описания, превращающего *случайность* в *случай*. Иначе говоря, в ряде случаев можно утверждать, что *случайность*, описанная обстоятельно, с выделенными в описании началом, серединой и концом, квалифицируется как *случай*. Так, чистой *случайностью* выглядит тот факт, что водитель, совершивший нарушение, не был оштрафован, так как милиционер именно в эту минуту отвернулся. Однако обстоятельный пересказ этой истории превращает ее в *случай*: «*Еду я по шоссе в половине девятого утра, разворачиваюсь через две сплошных, и тут вижу — милиционер. А он-то меня не видит! В этот момент кто-то отвлек его и он отвернулся в сторону тротуара. Ну, я перекрестился и поехал дальше*». Это короткое описание превращает *случайность* в *случай*, развернув ее в повествование. Именно поэтому *случай* и бывает интересным, ведь «интересность» возникает в результате авторской интерпретации рассказчиком излагаемого сюжета.

Таким образом, в русском языковом сознании присутствует некая иерархия обстоятельств, влияющих на человеческую жизнь и неподконтрольных его воле: на вершине находится *судьба*, определяющая весь жизненный сценарий, ей подчинен *случай*, могущий влиять на существенный фрагмент человеческой жизни, а ему уже в свою очередь подчинена *случайность*, влияющая на эпизод.

Там, где *случайность* выступает как сила с достаточно важным масштабом действия, она синонимична *случаю*, ср.: «*случайность* (*случай*) *помогла* (*помог*) *мне избежать наказания. Случайность уберегла тебя от двойки — спросили другого. Случай уберег тебя от встречи с этим бандитом и спас тебе жизнь. Благодаря чистой случайности он остался жив — пуля попала в дерево*».

Русская «*удача*» — интересный пример понятия, в большой степени выражающего специфику русского менталитета. Даль связывает *удачу* с глаголом *удавать*, происшедшего от *давать* и означавшего *сдаваться*, *сплоховать*, *струсить* и пр. Устаревшее русское *удаток* означало «уступка, поступление на себя». По развитию значения *удаваться*, *удаться* стало означать *сделаться*, *статься* («*мне удалось сделать что-то*» — всегда в пассиве, поскольку причина удачи никак не в субъекте, а в неведомой силе, что-то кому-то давшей). Даль трактует *удачу* как «желанный случай», современные словари — как «желательный исход чего-либо», фиксируя, таким образом, типичный семантический перевертыш, когда слово меняет свое значение на противоположное (как в случае с *наверное*, поменявшего свое значение с «наверняка» на «вероятно»).

Из цитируемой далее сочетаемости видно, что *удача* — персонифицированное мифологические существо с особыми функциями.

По-русски мы говорим:

удача благоприятствует, *улыбается*, *радует*, *окрылила*, *вскружила голову*, *отвернулась*;

приносить, *обещать*, *ждать удачу*, *желать удачи*, *верить в удачу*, *рассчитывать на удачу. Спугнуть удачу*, *переманить*, *приманить удачу*, *поймать удачу за хвост*, *щекотать удачу* (*попытать счастье*) и пр.;

удача неожиданная, *большая*, *долгожданная* и пр. (СССРЯ, РМР, ССРЯ, СРС, СРЯ).

Нам представляется, что в сочетаемости русского слова *удача* прослеживается мотив охоты (предположительно на некую мифологическую птицу: «*спугнуть*, *приманить*, *поймать за хвост*»), способную улыбаться и окрылять. Различные птицы в мифологиях разных стран

и народов играли незаурядную роль. Мы можем предположить, что и в славянской мифологии выделены были не только ворон и петух, но и еще некое фантастическое летающее существо, ассоциируемое с *удачей* и *счастьем*, давшее в дальнейшем устойчивую метафору: «*птица-счастье завтрашнего дня*», а также образный ряд — «*порхать, летать от счастья*» (то есть стать как птица), «*быть окрыленным от счастья, успеха, радужной перспективы*» и пр.

В славянской системе обозначений при помощи птиц выражались многие смыслы. *Ворон* — зловещая птица, появление которой как бы предрекает смерть, *петух* — символ мужского задиристого начала, *голубка* — символ души, любви, *дятел* — символ упорства, *ястреб* — символ военной силы, мощи, хищничества. Говоря об этой системе, мы можем предположить, что были и другие фиксированные ассоциации, от которых сохранились не обе части утверждения, а одна, со стертым именованием птицы.

Удача — это то, что приходит к человеку независимо от того, сделал ли он что-нибудь или не сделал для достижения удачного исхода дела. *Удача* выпадает, сваливается (сверху вниз, здесь возможно позднее образное заимствование из европейского метафорического языка) на любого, хотя в русском сознании и существует убеждение, что удачу можно заслужить, приманить правильным поведением. *Делать что-либо на удачу, на авось* — выражение специфически русское и достойное особого рассмотрения.

В последнее время русское словечко *авось* привлекло особое внимание лингвистов (3). Обычно *авось* толкуется через *случай* или *удачу*, на которые человек рассчитывает, но не настолько, чтобы встраивать это в свои планы на будущее. Приведем по этому поводу рассуждения Анны Вежбицкой (4): «По существу (авось — *М. Г.*) это отношение, трактующее жизнь как вещь непредсказуемую: “нет смысла строить какие-то планы и пытаться их осуществить; невозможно рационально организовать свою жизнь, поскольку жизнь нами не контролируется; самое лучшее, что остается делать, это положиться на удачу”». А. Вежбицкая считает, что *авось* в известном смысле резюмирует основное содержание русской культуры, пронизанной насквозь темой судьбы, осознанием минимальной роли человеческого разума и человеческих сил.

Такое обобщение представляется нам утрированным, этот доказывает, в частности, и тот факт, что «*авось*» катастрофически устаревает, если уже не является устаревшим, однако особое отношение к *удаче*, рядом с которой человек всегда пассивен, фиксируется безусловно. Важный, на наш взгляд, нюанс в русском «*авось*» заключается в том,

что оно мыслится как обозначение некой скрытой невидимой в ситуации причины, которая может оказаться на руку человеку. Из анализа представлений русских о знании и уме (этому в нашей книге будет посвящена отдельная глава) явственно следует, что русские мыслят мир и каждую ситуацию в нем недискретно, неисчерпаемо, непостижимо. Это означает, что в ситуации действует, с точки зрения носителя русского менталитета, множество невидимых причин и обстоятельств, одно из которых и называется «*авось*». То есть мы предполагаем, что среди невидимых обстоятельств и причин могут оказаться такие, в данную минуту непостижимые, которые изменят исход дела. Рассчитывая на них, и главное — веря в них, русские часто как бы рискуют, а на самом деле попросту реализуют свое мировосприятие.

Русское слово *неудача*, формально являющаяся антонимом слова *удача*, не столь разработано образно и понятийно, как *удача*. Так, часть сочетаемости слова *удача* могла бы быть применена к антониму с получением прогнозируемого смысла, а часть — нет. Мы можем сказать: *приносить, обещать неудачу, желать неудачи, обрекать на неудачу*, однако мы не можем *спугнуть неудачу, поймать ее за хвост, пощекотать*, аналогично *неудача* не может быть на чьей-либо стороне и пр., хотя в случае симметричности понятий противопоказаний для таких употреблений не было бы. Любопытен тот факт, что в русском сознании *неудача*, в отличие от *удачи*, может быть связана с самим же человеком. Так, по-русски можно сказать: «*Ты сам обрек себя на неудачу*», но нельзя обречь на *неудачу* кого-то другого (за исключением, пожалуй единственного контекста «*своим воспитанием родители обрекли его на неудачи*», где родители выступают как высшие, полубожественной природы, существа, а *неудача* — во множественном числе, придающем ей оттенок значения «конкретные негативные события».

Ужасная неудача постигает, неудачи преследуют, обреченный на неудачу или неудачи человек может попытаться справиться с ней (с ними), неудачи могут образовывать полосу, сплошную полосу, цепь, круг, быть сплошными, неудачи могут сломить человека, следовать одна за другой, человек, несмотря на неудачу, может продолжать верить в свои силы, неудачи могут сыпаться одна за другой, сыпаться градом, образовывать цепь, подстерегать его на каждом шагу.

Из анализа этой сочетаемости мы видим, что *неудача* в русском языке ассоциируется с двумя образами: один из них — персонификация по типу *рока* (*неудачи преследуют, подстерегают*, то есть уже не человек охотится, а на человека охотятся) с подчеркиванием

идеи множественности событий (*неудачи* следуют одна за другой) и ослаблением фатальной идеи (конструкции с «*несмотря на неудачи, сыпавшиеся на него, он...*). Другая коннотация — овеществляющая. Она представляет *неудачу* в виде некоего отрезка (ориентированного либо сверху вниз, либо горизонтально — *быть в кольце неудач*), состоящего из плотно или неплотно примыкающих друг к другу звеньев (*звенья цепи, град, сплошные неудачи, неудачи идут друг за другом*). И в том и в другом случае человек, если не сломлен, может оказывать сопротивление, разрывать кольцо неудач, прерывать их цепь. Что это напоминает? Осаду, облаву, захват? Вероятно.

Меру, степень, вероятность *удачи* определяет *шанс* — еще одно русское понятие, связанное с идеей случайного, определяющего на уровне одного события человеческую судьбу. Это не русское понятие. Оно заимствовано из французского языка в начале XIX века. Оно обозначает вероятность чего-либо, возможность, которой управляет человек. Как мы видим, вместе со словом заимствован и европейский глобальный концепт, утверждающий взаимосвязь между усилием, которое применяет человек для достижения цели, и результатом, а также изначальную благосклонность судьбы к человеку.

О *шансе* русские думают так: *шанс выпадает и может быть только счастливым, шанс можно иметь, дать, предоставить, использовать, получить, его можно упустить, шансы могут быть большими, ничтожными, достаточными, если они есть, то существует вероятность благоприятного исхода, если их нет — то нет. Шансы можно взвесить, подсчитать, оценить.*

Мы видим, что *шанс* овеществляется в русском сознании и представляется как некоторый небольшой предмет, который можно *дать*, *получить*, *взвесить*, *подсчитать*. В отдельных случаях, когда *шансы* большие, то есть когда они уже взвешены и подсчитаны, они фигурируют как даваемое, как данное, причем данное не только свыше и человеком. По-русски можно сказать «*я даю тебе шанс* (*последний шанс*) *исправить это*» или «*мы предоставили вам большие шансы для успешного завершения дела*», но по-русски нельзя предоставить маленькие, скромные *шансы*, у таких *шансов* анонимное авторство. Таким образом, *шанс* — положительно коннотированое слово, как и *удача*, однако *удача* — факт, а *шанс* — вероятность и в силу этого не факт, даже если он выражен в числах (*ваши шансы один к пяти*), которые в случае вероятности всегда приблизительны.

Возвращаясь к сказанному Анной Вежбицкой в подведение итогов главки, посвященной описанию лексики «случайного», мы хотели бы

отметить, что, с нашей точки зрения, речь идет не столько о пассивности русского человека перед окружающим миром, сколько о принципиально ином его понимании. Область случайного действительно не сопряжена у русских с идеей ответственности, выражаемой у европейцев в частности институтом страхования, но все же по отношении к случайности человек ведет себя достаточно активно, предполагая, что с судьбой не поспоришь, а вот с ее подчиненными можно вести себя по-разному. Такое поведение русским присуще и в отношении других иерархизированных систем, в частности социальных, где против верховного начальника глупо идти, со средним начальником надо договариваться, а вот с остальными как придется.

Французское представление о случае: понятия *occasion*, *hasard*, *chance*, *malchance*, *veine*

Понятия, связанные с высшим, внешним, влияющим, неконтролируемым, базовым, дискретным выражаются во французском языке при помощи слов: *occasion*, *hasard*, *chance*, *malchance*, *veine*. Обратимся к подробному рассмотрению этих слов.

У Чезаре Рипа мы обнаружили такое описание *occasion*:

«Обнаженная женщина в набедренной повязке, прикрывающей срамные места, с лохматыми волосами на лбу и лысым затылком, ноги крылаты, под ногами колесо, в правой руке бритва. Все волосы зачесаны на лоб, и это обозначает, что *случая* надо ждать и хватать на бегу, а не преследовать его, когда он уже повернулся спиной, так как он проходит очень быстро, ведь у него на ногах крылья, и он витает над колесом времени, которое постоянно вращается. Бритва в руке обозначает, что он режет всякую помеху».

Отметим интересную деталь: аналогичное описание случая мы находим у известного педагога, автора учебника, чеха по национальности Яна Амоса Коменского в его знаменитом учебнике (5) «Мир чувственных вещей в картинках», с одним лишь отличием, у него случай олицетворен в образе не женщины, а мужчины. Значит, описанный образ был в XVII—XVIII веках распространен также и в России, что объясняет нам путь заимствования образной системы понятия русским языком.

В современно французском языке слово *occasion* (n. f.) имеет следующие значения:

1. обстоятельство, которое приходит кстати;
2. рынок, благоприятный для покупателя;
3. выгодно купленный товар (купленный по случаю дешево).

Исследуемое слово во французском языке имеет следующую сочетаемость:

belle, unique, rare, tentante occasion;

occasion chaude, pressante, les grandes occasions;

prendre (saisir) l'occasion aux (par) les cheveux, l'occasion est chauve, l'occasion n'a qu'un cheveux;

c'est une belle occasion à saisir, profiter d'une occasion, sauter sur l'occasion, guetter, manquer, perdre, négliger, trouver l'occasion;

l'occasion se présente, fait le larron, s'offre, échappe, manque, tente.

Из приведенной сочетаемости видно, что случай описывается как женщина с типичными женскими характеристиками (*belle, tentente*), по отношению к которой возможно также и поведение, проявляемое по отношению к женщине (*négliger*). Французское *occasion* однозначно положительно коннотировано, отсутствует сочетаемость, негативно его характеризующая, так же как и отсутствует возможность говорить, в отличие от *судьбы*, о его переменчивости (нельзя сказать *l'occasion tourne, a tourne*). Во внешнем облике occasion сохранились средневековые мифологические черты (отсутствие волос). Образ *occasion* связан с идеей быстрого целенаправленного движения-убегания, выражаемого как в действиях человека по отношению к *occasion* (*saisir, guetter, sauter sur*), так и в действиях самого *occasion* (*échappe*). Ситуация взаимоотношений человека с occasion в целом описывается как охота с возможностью неудачного исхода: *perdre, manquer.*

Глубинная, семантическая связь *occasion* с *fortune* обнаруживается сразу в двух плоскостях. Во-первых, эти понятия связаны этимологически (напомним, что у древних было две судьбы: *fatum судьба-неизбежность* и *fortuna* от *fors, fortis судьба-случай*): *occasion* заимствовано (1174) из латыни (*occasio, occasionis*, от *occasum* — супина от *occidere* — «*падать*») со значением «*то, что падает, обрушивается*». Симптоматично также образное совпадение, присутствие и в первом и во втором образном контексте колеса времени, подчеркивающего идею постоянного движения. Во-вторых, выявляется неожиданная перекличка на уровне значений, связанных с материальной сферой: *fortune — богатство, собственность* и пр., *occasion — удачное приобретение, товар, продающийся по благоприятной для покупателя цене.* Идея материального благоприятствования является причиной или следствием положительной коннотации, закрепленной за обоими словами и позволяет объединить их в некую единую группу слов со специфическим, во всяком случае для русского языкового сознания, значением «*нечто, помогающее богатеть, выгадывать*».

Совершенно иначе в этом смысле ориентировано понятие *le hasard*, связанное в первом своем значении с идеей опасности и выступающее в качестве синонима слову и понятию *danger*. Такой акцент в значении отчасти объясним происхождением этого слова. *Le hasard* заимствовано из арабского *az-zard*, обозначавшего игру в кости, неудачное выпадение костей. Конечно, в современном сознании *hasard* не связывается с игрой в кости, а понимается в философском смысле, однако негативный смысл, возможно, проистекающий от этимона (игра в кости вызывает у играющего ощущение риска), остается и сохраняется на протяжении веков. В первой трети XIII века *le hasard* приобретает фигуральный смысл и обозначает «*неудачу*», «*риск*», «*опасность*» — значения, устаревшие в единственном числе и сохранившиеся в выражении *les hasards de la guerre*.

В середине XVI века это слово по расширению значения стало употребляться как *sort* и *fortune* для обозначения причины того, что происходит без видимой связи с предшествующим. Отсюда происходит и научная идиома *les lois du hasard*. Два установившиеся значения «*опасность*» и «*неожиданный случай, событие, происшедшее из сочетания неожиданных и необъяснимых обстоятельств*» привели к созданию характерной сочетаемости и прочно закрепились в языке: *s'exsposer, se mettre au hasard*, а также глагол *s'hasarder*.

Третье значение *le hasard*, определяемое, в частности, *Le Robert* как «фиктивная причина того, что происходит без видимой причины, и часто персонифицирующееся как *sort* и *fortune*», существует наравне с первыми двумя и представлено в языке следующими выражениями:

le hasard fait bien les choses, le hasard sait toujour trouver ceux qui savent s'en servir;

les caprices du hazard, faire la part du hasard dans une prévision, livrer, laisser qch au hasard, corriger le hasard;

le hazard heureux, malheurex, malencontreux, providentiel, capricieux, innatendu etc;

coups tirés du hazard.

Из приведенной сочетаемости видно, что *le hasard* в современном языке мыслится как очень активное начало с выраженной негативной коннтотацией (при возможности также быть и *heureux*). *Hazard* часто таит в себе опасность, мыслится одушевленным, во власть которого человек часто отдается или отдает что-либо. Идея движения, выраженная в *occasion*, здесь не присутствует вовсе. *Hasard* можно лишь учитывать, в крайнем случае, можно попытаться исправить принесенный им ущерб, но никак не охотиться на него или использовать

его в своих целях. Над *occasion* у человека есть власть, над *hasard* — нет. Hasard можно попытаться предвидеть, учесть, *occasion* — нет. У *hasard* и у *occasion*, таким образом, совершенно различные «отношения» с человеком.

Французское слово *chance* (n. f.) — еще одно свидетельство того, что для этого типа национального сознания было характерно ассоциирование подобного рода высших сил и обстоятельств с идеей падения, выпадения и игрой в кости. *Chance* произошло от латинского *cadentia* — действительное причастие настоящего времени от *cadere* «падать», употреблявшегося в латыни особенно для игры в кости.

В современном языке слово *chance* имеет следующие значения:

1. (с XIII века) сила, распоряжающаяся успехом или неуспехом в некоторых обстоятельствах; благоприятный или неблагоприятный исход событий;

2. возможность произойти случайно;

3. счастье, удача.

Слово *chance* во французском языке можно употребить следующим образом:

courrir, faire cesser la mauvais chance, mettre la chance de son côté pour réussir, pousser, rompre la chance, avoir la chance, tenter, posséder, gâcher, perdre, diminuer, réduire, supputer, calculer ses chances;

la chance augmente, diminue, tourne;

coup, linge de chance;

une chance peut être grande, maigre, mince, inespérée, inouie, incroyable, immence, énorme etc.

Сочетаемость этого слова явно свидетельствует о том, что это понятие мыслится неодушевленно и является объектом для человеческих действий, причем крайне разнообразных. Во французском языке *chance* можно прервать, оборвать, привлечь на свою сторону, испортить, потерять и пр. Некоторые употребления позволяют предположить, что *chance* имеет протяженность (*rompre, faire cesser le mauvaise chance*, и, возможно именно поэтому, *ligne de chance* — линия судьбы на руке, поскольку только у *chance* есть ассоциация с протяженностью). Действия, которые может совершать *chance*, направлены только на него самого: он растет, уменьшается, поворачивается. Сочетаемость с прилагательными показывает предпочтительность положительно коннотированной лексики, часто описывающей размер: *большой, огромный, необъятный* и этим потрясающий воображение: *невиданый, неслыханный, невероятный* и пр.

Прилагательные *maigre, mince* существенно выбиваются из предложенной трактовки (*худой, тощий*) и могут рассматриваться либо

как рудименты персонифицированного образа, соотносимые с *fortune*, *sort* (*худой* — значит плохой, как мы видим, не только в русском языке), что возможно, если учесть общую этимологическую подоплеку всех этих понятий, либо как некая перекличка с идеей протяженности. Итак, французское *chance*, выражающее по преимуществу идею удачи, подчеркивает активность субъекта, подчиненность ему, связано с идее протяженности, корреспондируется в первую очередь с *sort* и по специфической неодушевленности образа, и по этимологии. Производное от него *malchance* (n. f.) — антоним — литературно и малоупотребительно, сама по себе идея невезения будет во французском языке выражена при помощи отрицания *chance*. Слабость понятия *malchance* в целом подчеркивается особенностями синонимии, предлагаемой, в частности, *Le Robert*. Синоним *déveine* еще менее употребителен, чем *malchance*, а *guigne*, *poisse* — просторечны. Таким образом, мы видим, что образ *неудачи*, столь разработанный в русском языке, отнюдь не разработан во французском. *Неудача* не мыслится самостоятельно, а лишь как отсутствие везения, удачи. *Удача* же — это не то, что манипулирует человеком, а то, чем в большинстве случаев может манипулировать он сам.

Уникальное в этом ряду по своему происхождению слово, связанное с идеей удачи, — *veine* (n. f.)

Veine (n. f.) произошло от классически латинского *vena*, обозначавшего всякого рода потоки, струйку воды, металлорудную жилу. Это слово использовалось также и в анатомии в современных французском и русском значениях. В античности вены рассматривались как места сосредоточия жизни, а *vena* образно символизировало поэтическое вдохновение и суть вещей. Происхождение латинского слова неизвестно.

Во французском языке с XIII до начала XVIII века слово *veine* употреблялось лишь в анатомическом смысле, затем метафорически оно стало обозначать «цепь поколений», а выражение *être de grosse veine* обозначало «принадлежать к старинному и благородному роду». После XVIII века слово начало употреблять с заимствованным из латинского смыслом — поэтическое вдохновение. Идея вдохновения связывалась с двумя составляющими — предрасположенностью и удачей. Эти значения, зафиксированные в соответствующих выражениях, устарели, как и сами соответствующие идиомы. Из всех этих идиом уцелела, пожалуй, одна — *être en veine de*, что означает «быть расположенным к...». Значение «удача», безусловно, доминирует в современных контекстах и употребляется, очевидно, под влиянием других

членов синонимического ряда и применительно к азартным играм: *être en veine* означает «иметь удачу во время игры». Обособленность слова *veine* в этом синонимическом ряду выражается также и в следующем удивительном факте: словари не фиксируют его сочетания ни с одним прилагательным и всего лишь с двумя глаголами — *avoir* и *être*. Из этого следует, что из всех синонимов это слово самое «слабое», не разработанное образно, не подкрепляемое многообразными возможностями употребления.

Сопоставительный анализ двух описанных лексических ареалов

Очевидно, что и для французов, и для русских образ, идея падения/выпадения являются важными, если не ключевыми. Для французов — исконно, так сказать, от рождения, для русских — по частичному заимствованию.

В русском языке идея выпадения «размазалась» по группе, обозначающей разные иррационально произошедшие события, мы говорим: *выпадает счастье*, *участь*, *случай*, *шанс*, *возможность*, *обрушивается горе*, *неудачи*, *сваливается несчастье*, *выпадает жребий*, *сваливается состояние*, *обстоятельства*, *нежданно негаданно свалилась огромная любовь* и так далее. Глагол, связанный с образом падения/выпадения, обозначает внезапность, неожиданность события, его непредсказуемость. «*Выпало*, *свалилось*» — как раз и означает, что никто этого не ожидал.

Во французском языке идея падения/выпадения не столько выражается глагольно, сколько «запрятана» во внутренней форме существительных, обозначающих термины судьбы и случая.

О чем это свидетельствует или какая прототипическая ситуация стоит за идеей судьбы и случая, чем это объясняется и какие имеет культурные последствия?

Первая историческая подоплека, которая проглядывает за связью падения/выпадения и представлениями о судьбе и случае, безусловно, связана с ситуацией гадания, посредством которого протоевропейцы и европейцы определяли будущее. Но будущее не в широком смысле, не в том, о котором могут рассказать карты, гадание по руке, звезды или печень кролика (6), а в том, что касается ближайшего будущего. Так, посредством жребия или бросания монетки или костей и римляне, и европейцы нередко выбирали на должности, отправляли в опасное путешествие, на войну, жребий же определял очередность на состязаниях и гладиаторских боях и так далее. Таким же свойством обладали

и кости, различные комбинации которых подсказывали людям, как им поступить. Смысл здесь в том, что как бы посредством жребия или костей с людьми разговаривали оракулы, боги, подсказывая им правильное решение. НЕ желая брать на себя ответственность, правители и предводители бросали жребий, тем самым как бы оправдывая себя в принятии непопулярного решения, намекая: «это не я так захотел, это боги». Жребий помогал узнать, определить будущее, олицетворяя собой соединение судьбы и случая воедино.

Этот способ определения участи практиковался римлянами и европейцами так часто, что, до сих пор оставшись в качестве инструмента — мы и теперь иной раз тянем жребий или бросаем монетку, — задал рамки понимания того, описанию чего мы посвятили несколько глав.

Описанная ранее *Фортуна*, ронявшая с небес на голову людей символы ремесел, короткая или длинная соломинка, указывающая на избранность, — все это давно отпечаталось в сознании и мировоззрении в виде архетипических образов, в виде концептов, задающих координаты мифа, как старинного, так и современного.

Почему плеяды блестящих мыслителей, столь обильно обсуждавших *судьбу* и *случай*, не изменили подоплеки понятия? А потому, что никто индивидуально не может изменить миф или создать его просто по своей воле. Миф создается коллективно, а мыслители и философы никогда в обществе не были в большинстве.

Важным здесь является вопрос, а кто именно на самом деле бросает кости, подсовывает жребий, какой бог — хороший или плохой?

Ответ на этот вопрос не прозвучал однозначно, ни у европейцев, ни у заимствовавших этот образ цивилизаций, но тем не менее сама по себе эта трактовка самого концепта *судьбы* имела и имеет существенные последствия.

Приведем такой пример. Известно, что в современном обществе европейского уклада (включая Россию) встреча будущих супругов — ключевое событие для их родов — происходит случайно. Еще два века назад в России такой практики не существовало, как ее не существует сегодня в Грузии или в Иране. Многочисленные культуры, в большей степени ориентированные на монотеизм, а не на античные идеалы, не рассматривают случай как основание для брака. Любовь любовью, а институт брака, призванный защищать собственность и обеспечивать устойчивость в дальнейшем, зависеть от случая не должен. Эти народы не склонны видеть в случае руку провидения, гадание как правило считают грехом и действуют по своему разумению, соразмеряясь

с теми или иными принципами, принятыми в социуме. Недоверие к случаю, отрицание его как основания стало одним из существенных признаков современного европейского мировоззренческого уклада. Исчисление, оценка рисков, создание рациональных систем управления рисками во всех сферах деятельности, где люди сталкиваются с венучрными моделями (моделями будущего), создание изощренной системы страхования, алгоритмов наследования и так далее дают основание предположить, что падение/выпадение остается теперь лишь в сфере коллективного мифа, уступая область осмысленного и сформулированного иному толкованию, которое, возможно, в дальнейшем вытеснит и прежний метафорический концепт. Возможно, в будущем судьба и случай станут мыслиться европейцами в терминах и образах *риска* или чего-то подобного и именно это понятие станет ключевым ко всей системе представлений, трактующих высшее, базовое, влияющее и не контролируемое.

Итак, мы проанализировали русские и французские понятия, обозначающие идею *случайного* и *возможного*. Суммируем наши выводы и проведем сопоставительный анализ.

В русском языке высшее, внешнее, влияющее, неконтролируемое, базовое, дискретное, подчиненное выражено при помощи следующих лексических средств.

Случай — этимологически связан с идеей, выраженной в глаголе *случать*, то есть соединять в одном месте, образно оформлен как одушевленное существо, активное, безответственное, чаще благоприятно действующее, мыслящее человека как объект приложения. При этом человек этим объектом быть расположен, а *случай* интерпретирует как развернутое событие, имеющее завязку, кульминацию и развязку.

Случайность — эпизод, факт, обозначенный, но не описанный. Образно понятие близко к понятию «*случая*» и трактует человека пассивно, не предполагая его вмешательства в названный эпизод.

Удача, этимологически связанная с глаголом «*давать*», — активное мифологизированное существо, отношения с которым у человека выстраиваются по сценарию охоты. *Удача* связана со специфически русским «авось», вместе с которым выражает особое мировидение русского этноса.

Неудача — понятие, разработанное не строго в рамках антонимии со словом удача.

С ней связаны два коннототивных образа: 1) персонификация по типу рока с ослабленным фатальным аспектом и 2) овеществление в виде некоего отрезка, состоящего из плотно или неплотно приле-

гающих друг к другу звеньев. Неудача активна и в неодушевленном и в одушевленном проявлении, однако человек наделен возможностью бороться с ней.

Шанс — позднее заимствование из французского, овеществляется в русском сознании, фигурирует как предмет, который человек может оценивать различным образом и который может брать или давать, однако не может изменить его сути.

Отметим, что слова *удача*, *авось*, *шанс* положительно коннотированы в русском языке.

Все перечисленные слова разнообразны по своему происхождению, что свидетельствует о том, что идея случайного рассматривалась в языковом сознании с «разных сторон».

Во французском языке аналогичный круг понятий выражен следующими лексическими средствами.

Occasion (n. f.) на образном уровне персонифицируется как женщина, по отношению которой возможно проявление специфического отношения (ухаживания). Слово, безусловно, положительно коннотировано, возможность сочетаемости, которая позволяла бы интерпретировать его негативно, отсутствует. Сценарий взаимоотношений с человеком также часто описывается в терминах охоты. Соотносится с *fortune* в специфичности своей позитивной направленности (имеет значение, связанное с денежной выгодой).

Hasard (n. m.) — активное персонифицированное начало с выраженными в сочетаемости негативными проявлениями (при сохранении возможности быть также и позитивным). В отличие от *occasion* отсутствует возможность как бы то ни было оперировать или манипулировать этим началом.

Chance (n. f.) мыслится неодушевленным и выступает как объект, предмет для проявления человеческой инициативы. Человек может не только оперировать, но и манипулировать им. Сочетаемость подчеркивает активность субъекта. В сочетаемости слабо выражается идея протяженности. Соотносится с *sort* коннотативно и этимологически.

Malchance (n. f.) — малоупотребительно. Целостное понятие и образ, соответствующие русской неудаче, отсутствуют.

Veine (n. f.) — слово без образной проработки с крайне ограниченной сочетаемость, вытесняемое языком.

Все рассмотренные французские лексические единицы, за исключением *veine*, имеют общие этимологические корни и восходят к идее бросания и игре в кости.

При сопоставлении этих двух понятийных и образных рядов обнаруживается следующее.

1. В русском языке все слова различны по своему происхождению и соответственно исторически выделяли различные аспекты в исследовании рассматриваемой ситуации «человек — случай». Во французском языке за анализом рассматриваемой ситуации этимологически стоит образ игры в кости, разностороннее исследование ситуации отсутствует.

2. В русском языке разница между *случаем* и *случайностью* эфемерна, во французском между *occasion* и *hasard* принципиальна. Это выражается и в различном поведении человека по отношению к ним в двух языковых культурах (пассивность человека во французском языке перед *hasard*, чувство страха, вызываемое им в человеке), и во взаимной специфичности понятий. *Случайность* — мелкая, часто бытовая, *occasion* — *случай*, часто связанный с материальной или социально значимой ситуацией.

3. В паре *chance* — *удача* также наблюдаются существенные различия. Русская *удача* одушевлена и активна, французское *chance* — овеществлен и пассивен. Вся персонификация во французском языке сосредоточена вокруг вполне «состоявшейся» мифологической пары *occasion* и *hasard*. Русская *удача*, равно как и специфически русское *авось*, особым образом раскрывает трактовку идеи ответственности (точнее, безответсвенности, идущую от представления о недискретности мира), никак не согласующуюся с французской трактовкой *chance* как предмета, которым не только оперируют, но и манипулируют.

4. Целостное и образно разработанное понятие *неудачи* является специфически русским и не находит аналога во французском языке. Его наличие связывается нами с развитием темы ответственности/безответственности: *неудача* — это тот активный субъект, который будет отвечать за промахи человека.

5. Русское *шанс*, условно рассматривавшееся в этой группе соотносится с одним из значений французского *chance*, которым человек может оперировать, но не манипулировать.

6. Сопоставление вещественных коннотаций рассматриваемых слов в двух языках позволяет усмотреть общие коннотативные мотивы: *охота*, *протяженность*, однако закрепление их за соответствующими парами слов не совпадает. *Охота* по-русски связывается с *удачей*, по-французски с *occasion*, в толковании которого очевидным образом присутствует положительный компонент, объединяющий оба слова. Идея протяженности в русском языке связана со *случайностью* или *неудачей*, во французском языке, напротив, с *chance*.

7. В целом рассматриваемое лексическое поле в русском языке распределяет негативное и позитивное следующим образом: *удача* — «хорошая», *случай*, *шанс*, *авось* — скорее «хорошие», *случайность* — разная, *неудача* — «плохая». Таким образом, позитивные силы в данной ситуации преобладают над негативными.

Во французском языке *occasion*, *chance*, *veine* — «хорошие», *hasard* — «плохой», при отсутствии оформленной в целостное понятие *неудаче*. Преобладание хорошего также очевидно, однако, при учете ослабленной *veine*, оно менее мощное. Таким образом, картина мира в этом аспекте в русском сознании, вероятно, более оптимистичная, чем во французском.

8. Оптимизм и пессимизм, о которых мы писали только что, трактуется принципиально различным образом в изучаемых нами языках. Русский оптимизм связан с верой в невидимых соучастников, скрывающихся в структуре ситуации, отсюда выражения («*все обойдется*», «*само обойдется*», «*как-нибудь*», «*авось повезет*», «*а вдруг пронесет*»). Французский оптимизм связан с идеей возможности вмешательства человека в сферу случайного, где все скорее прозрачно и особых тайн нет.

Обобщение полученных результатов можно представить так:

Базовые признаки	Русским менталитет	Французский менталите
Истоки	Соединять	Падать, выпадать
Актуальные связи	?	Деньги
Образ	Охота на Жар-птицу	Хватание Лысого старика за волосы
Членение ситуации	4 слова: *случай* — развернутое событие, *случайность* — точечное событие, *удача* — хорошее событие, *неудача* — плохое событие	4 слова. Принципиальное различие между хорошим случаем и плохим (слова от разных корней). Слова *occasion*, *chance*, *hasard* связаны с идеей падения. Слово *veine*, не связанное с этим смыслом, выходит из узуса
Человек	Активен	Активен
Влияние	Славянские корни	Античность, косвенно арабское

Библиография

1. *Топоров В. Н.* Судьба и случай // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 56.
2. *Новосельцев А. П.* Восточные источники о восточных славянах и Руси VI—IX вв. // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 414.
3. Путеводитель по дискурсным словам. М., 1996.
4. *Вежбицка А.* Язык, культура познание. М., 1996. С. 78—79.
5. *Коменский Я. А.* Мир чувственных вещей в картинках. Одесса, 1896. С. 108
6. *Буше-Леклерк.* Из истории культуры. Истолкование чудесного в античном мире. Киев, 1881; а также *Иванов В. В.* К предыстории знаковых систем // Материалы Всесоюз. симпоз. по вторичным знаковым системам. 1(6). Тарту, 1974.

Глава пятая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ ОБ ОПАСНОСТИ, УГРОЗЕ И РИСКЕ

(Сопоставительный анализ понятийных рядов:
опасность, угроза, риск/danger, péril, menace, risque)

Общее понятие о смысловом поле

Понятия, о которых мы будем говорить в этой главе, в отличие от понятий судьбы и случая, не имеют философской подоплеки, хотя относятся к своего рода универсалиям, как языковым, так и экзистенциальным.

По распространенным представлениям, сочетающим в себе и рациональный анализ, и современный миф, опасности подстерегают человека с момента его рождения и могут благодаря случаю, недостаточной осторожности и другим причинам актуализироваться и привести к негативным последствиям. Опасность может существовать и не проявиться, риск может быть очень велик, однако никакой идеи неизбежности в нем нет.

Опасность — это свойство какой-либо ситуации и чувство человека, чувство, связанное с инстинктом самосохранения и часто опирающееся не только на рациональный анализ, но и на интуицию. Опасность — свойство окружающего мира, результат объективной его оценки, источники ее не только в высшем злом начале, желающем погубить человеческую душу, но также, и в основном, в самой природе, зачастую враждебной человеку. Гиперразвитое чувство опасности приводит к возникновению душевных болезней, нормальный человек не думает постоянно об опасностях, которые подстерегают его повсюду, поскольку в этом случае его активность была бы просто парализована. В сознании человека опасность связана со случаем,

а также и судьбой, которые могут позволить ситуации «выплеснуть» все негативное на голову человеку. Постоянная жизнь в ситуации опасности, большей или меньшей, требует от человека определенных выработанных этой ситуацией качеств, которые также являются, судя по всему, общеязыковыми и понятийными универсалиями (такими как *осторожность/prudence*, *навык/habilite* и пр.).

У рассматриваемой лексической группы мы могли бы выделить такие общие элементы значения: *высшее*, *внешнее*, *влияющее*, *неконтролируемое*, *базовое*, *дискретное*, *объективное*, *негативное*. «Объективное» в этом ряду означает возможность анализа и оценки каждой конкретной опасности, изучения ее причин, разработки мер безопасности. Объективность связана также и с тем, что опасность возникает по определенным причинам, предшествующим ей, то есть опасность — своего рода следствие и может быть эксплицирована рациональным путем, что принципиальным образом отличает эту группу слов от предыдущих.

Русское представление об опасности (понятия «*опасность, угроза, риск*»)

Русское слово *опасность*, трактуемое как возможность нанесения вреда человеку и его жизни, существует наряду с глаголом *опасаться*, описывающим поведение человека перед лицом опасности (ответ человека на опасность), а также прилагательным *опасный*, описывающим соответствующее свойство.

И Владимир Даль и Фасмер фиксируют связь опасности с глаголом *опасать/опасти* — «оберегать, охранять, стеречь, брать под свою опеку» (*Опасаю паству свою*, *опасная грамота* и пр.). *Опасенье* — синоним *осторожности*, употреблялся очень широко, см., например, поговорку «Рать крепка опасением». *Опасность* долгое время употреблялась как синоним *опаски*, оставшейся в выражении «*взглянуть с опаской на кого-либо*», что означает страх и осторожность: «*Живи с опасностью, с опаской*» (ТС).

Таким образом, *опасность* долгое время в значении *опаска* рассматривалась как реакция человека на *опасность* в современном смысле слова. Сейчас *опасность* — характеристика внешней по отношению к человеку реальности, а пара *опасность/опасаться* показывает, что человек не может быть источником опасности (нет соответствующего глагола), а может быть только страдающей стороной и в ответ на опасность производить действие.

В русском языке слово «*опасность*» употребляется следующим образом:

чувствовать, понимать, сознавать, учитывать, предусмотреть, предотвратить опасность. Избегать, подвергаться, подвергать, бояться, не бояться, пренебрегать опасностью;

быть, находиться в опасности, вне опасности, указывать на опасность, свидетельствовать об опасности, сделать что-либо перед лицом опасности;

с опасностью встретиться, считаться, делать что-либо;

опасность существует, надвигается, нависла над, грозит, кроется, поджидает, таится в чем-либо, подстерегает, заключается, миновала;

что-то представляет опасность, чревато опасностью;

опасность большая, огромная, страшная, смертельная, скрытая, повышенная, возрастающая;

источник опасности, зона опасности (*опасная зона*) (СССРЯ, РМР, ССРЯ, СРЯ).

Из приведенной сочетаемости мы видим:

1. Человек в состоянии воспринимать опасность всеми доступными ему способами (*чувствовать, понимать, осознавать, видеть* и пр.).

2. Опасность может мыслиться одушевленно, как женское существо, имеющее лицо, охотящееся на человека (*подстерегает*), либо коварно и вероломно поджидающее его, пытаясь остаться незамеченной. Опасность охотится на человека, человек — жертва опасности (*кроется, таится, поджидает, подстерегает*), или просто *бродит, находится там же, где и человек* (*встретиться с опасностью, избежать опасности, опасность миновала*).

Опасность может сидеть внутри какой-либо ситуации, как в чреве, и внезапно актуализироваться, родиться.

3. Опасность мыслиться как нечто с очерченными границами, площадка (*быть в вне опасности, зона опасности, опасность заключается в...*). Опасность может менять свои размеры либо вследствие обстоятельств, либо под воздействием человека (*уменьшается, возрастает, огромная* и пр.)

4. Опасность мыслится как предмет, находящийся наверху (*надвигается, нависла*).

В русском языковом сознании человек перед лицом опасности должен собраться, сконцентрироваться, мобилизоваться, напрячь все силы, чтобы дать ей отпор, избежать, обойти, уйти из-под нее. Каждое из этих действий подтверждают выделенные коннотации: *уйти из-*

под — нависающий предмет, *обойти* — площадка с ограниченными границами, *мобилизоваться*, *дать отпор* — одушевленный враг.

Таким образом, в опасности мы видим и «отпечаток» пастбища (площадка), и, условно, нападение волков на стаю, и ситуацию, с которой человек может встретиться в лесу на охоте, а также образ нависшего дамоклова меча, о котором мы скажем далее и который в свою очередь является заимствованным из французского.

Русское слово «*угроза*», этимологически связанное со словом *гроза* (ИЭССРЯ), то есть в пугающем проявлении природы ранее ассоциировавшееся с гневом богов, зачастую используется как синоним опасности, но имеет существенный нюанс в значении. Прежде всего *угроза* — это обещание причинить кому-либо зло, неприятность, это намерение вызвать страх.

В этой связи любопытно сопоставление таких пар, как *опасность/опасаться*, *угроза/угрожать*. Так, источником угроз является действие, описываемое глаголом *угрожать*, источник опасности кроется отнюдь не в соответствующем глаголе, описывающем, напротив, следствия осознания опасности.

Источником и *угрозы*, и соответствующего глагола является человек или персонифицируемое существо, наделенное злой волей (так, в выражении «*угроза эпидемии*» эпидемия одушевляется и потому может угрожать), источник опасности, как правило, неодушевлен, а если и одушевлен, то не обязательно злонамерен (душевнобольные зачастую представляют *опасность*, но не *угрозу*). В связи с выделенным значением *угроза* часто сочетается с глаголами речи и может быть открытой, откровенной, прямой, к *угрозам* можно прибегнуть, она может происходить с чьей-либо стороны, может заключаться в словах (см. у Даля: «угрозное слово, у меня есть на него угроза»).

Второе значение, по нашему убеждению, имеет оттенки первого: *угроза* — это возможность возникновения опасного, что может причинить зло.

Мы говорим: *опасность взрыва*, *возгорания*, *пожара*, *угроза войны*, *агрессии*, *нападения*, *провала*, *конфликта*, *скандала*. Грань здесь тонкая, и многие не соблюдают ее, однако отметим, что *угроза* предпочтительно происходит от людей, а *опасность* от стихии.

По-русски мы говорим: *угроза нависает*, *возникает*, *возрастает*, *под угрозой можно быть*, *находится*; таким образом, мы видим, что она направлена сверху вниз, ассоциируется с чем-то висящим, что показывает, с одной стороны, ее возможную связь на образном уровне с облаком, а с другой, и это уже не гипотеза, — с дамокловым мечом. Но

в отличие от *опасности угроза* неодушевлена, что логично, поскольку она инструмент, который использует одушевленное существо.

Угрозу можно устранить, ликвидировать, уменьшить, ослабить, порождать, представлять собой. Это же человек может сделать и с *опасностью*, однако по отношению к человеку *угроза* не ведет себя как *опасность*, она всегда явная и, в силу своей неодушевленности, не может на него коварно и вероломно охотиться.

Русское слово «*риск*», заимствованное из французского, определяется как возможная опасность чего-либо. По-русски мы говорим: *подвергать себя риску*, *делать что-либо с риском для жизни* и пр.

Второе значение, выделяемое и Далем и Ожеговым: «действие наудачу, на авось». Рисковать, в связи с этим, означает пускаться на неверное дело, подвергать осознанно себя опасности. Появление в толковании слов, обозначающих идею угрозы и риска, таких понятий, как «*наудачу*» и «*на авось*», возвращает нас к представлениям о недискретности мира и безответственности, о которых мы писали в предыдущих главах.

Даль свидетельствует, что распространившаяся и распространенная и по сей день поговорка «Риск — благородное дело» — поговорка картежников, что теперь уже забыто, а выражение употребляется для любого класса подходящих ситуаций. Любовь и уважение к риску русских, любящих «быструю езду», некогда игравших в русскую рулетку и бездумно тратящих деньги, — известная национальная черта, многократная описанная и у иностранных путешественников, и у русских писателей, и у культурологов и философов последнего времени (1). Русское прилагательное «*рисковый*» (о характере человека) выражает и преклонение, и восхищение, и страх (мы можем сказать: «*он человек сильный, большой, рисковый*», но не можем сказать «*он человек слабый, ничтожный, рисковый*». См. также: «*Кто не рискует, тот не пьет шампанского*»).

Русское слово «*риск*» не богато сочетаемостью. Мы можем сказать: *увеличить*, *уменьшить риск*, «*просчитать*, *обсчитать*» *риск*(*-и*), *риск* может быть огромным и небольшим. Вся имеющаяся с этим словом сочетаемость трактует идею размера *риска*, но ничего не сообщает нам о его образе. Это произошло потому, что понятие и слово *риск*, заимствованное из французского в начале XIX века, не совпадает с понятием *риск*, *риски*, заимствованным из английского языка в последнее время в деловую сферу. Новый *риск* по сути банковский термин, распространившийся в связи с появление в России в новые времена людей, занимающихся бизнесом профессионально и гово-

рящих о *риске* не в бытовом контексте. *Риск* же, заимствованный из французского, по сути описывал и описывает бытовые ситуации, с которыми сталкивается человек нередко по доброй воле.

Французское представление об опасности (гнездо *danger, peril, menace, risqué*)

Французское слово *danger* (n. m.), означающее угрозу безопасности человека или вещи и ситуацию, которая из этого следует, произошло от вульгарно-латинского **dominarium*, в свою очередь явившегося дериватом от латинского *dominus*, означавшего «хозяин, повелитель».

В Северной Галлии это слово, по всей видимости, первоначально употреблялось как *dominium* — «собственность, право собственности» и дало жизнь таким словам, как *domination* — существительное от глагола *превосходить*, а также *droit — право*.

Словари фиксируют старофранцузское употребление слова *danger* в значении «превосходство, преимущество, власть». Первоначально выражение *être en dangier d'aucun* означало «быть в чьей-либо власти». Современный смысл — «опасность», зафиксированный с 1340 года, возможно, выделился из *en dangier de*, пройдя смысловую эволюцию от «быть в чьей-то власти» до «опасаться чьих-то действий». Постепенно именно этот смысл вытеснил все прочие смыслы.

Сегодня слово *danger* во французском языке употребляется следующим образом:

mettre en danger (*la réputation, les interêts de* qn);

aimer, mépriser, craindre, fuir, éviter, écarter un danger, échapper au danger, être hors de danger;

courir, encourir, dénoncer, braver, affronter, mépriser, conjurer, voir, sentir, fleurer, côtoyer, deviner un danger;

s'exposer à un danger; *comporter, présenter du danger*; *se prémunir, se défendre contre*; *parer un danger*; *trembler, frémir devant*; *un danger menace, naît, renaît, guette, subsiste*; *persiste, apparaît, disparaît*; *un danger grave, pressant, imminent, croissant, menaçant, redoutable, immédiat, évident, certain.*

Происхождение французского понятия, заставляющего в нем видеть аналог русской *угрозы*, не в смысле этимологии этого русского понятия, а в смысле привязанности его к человеку, позволяет увидеть истоки представлений о том, почему «*можно бросить вызов опасности*», «*презирать, игнорировать угрозу*» и так далее. Потому, что прототипически за этим видом *угрозы*, *опасности* стоял человек. Здесь

вторичная конкретизация понятия через метафорику воскрешает *эго этимон*. Отсюда, возможно, и изначально ошибочно понятое выражение *aimer, mepriser le danger*, которое с большой вероятностью могло обозначать *любить чью-то власть, презирать чью-то власть*. То, что базовое понятие «*опасность*» во французском языке имеет социальную, а не стихийную природу, свидетельствует о том, *что* у французов как у нации в этом вопросе социальный опыт стоит на первом месте, отодвигая *опасности* иного происхождения на второй план. Что естественно: французы уже по меньшей мере двенадцать веков живут в государстве с четко очерченными властными полномочиями одних социальных групп по отношению к другим.

Анализ приведенной сочетаемости показывает существенное отличие в образах французской *danger* и русской *опасности*: в ситуации *человек—опасность* во французском сознании активен человек, который ведет войну с опасностью. *Danger* угрожает, подстерегает, существует и настаивает в своем существовании, персонификация ее образа, безусловно, выражена в этой сочетаемости, но подчеркнута еще более поведением человека по отношению к ней. Французскую *опасность*, впрочем, как и русскую, можно презирать и любить, однако только французскую *опасность* можно *braver, se prémunir, se défendre contre, parer un danger*. Эти глаголы описывают враждебное, вызывающее поведения человека по отношению к опасности. Так же как и любого врага, *danger* по-французски можно разоблачить и заклинать, обнаруживать ее человек способен всеми своими органами чувств и далее сражаться и побеждать. *Danger* не столько коварно, как русская опасность, она не может таится, скрываться, *danger* может только упорствовать и давить. Среди прилагательных на это же указывают *évident* и *certain*. В распоряжении человека все возможности «убегания» от опасности, все возможности «отклонения» ее. Перед опасностью человек может либо дрожать и трепетать, точно как перед лютым врагом, либо идти ей навстречу не боясь (*braver*), выставлять себя не боясь (*s'exposer*).

Подведем итоги: в языке *danger* описывается как одушевленное и активное существо, наделенное превосходством, но не столь же активное, как человек, ведущий с ней войну.

Сочетаемость *danger* описывает скорее поведение человека, нежели поведение *danger*. Мы полагаем, что такая ситуация в большей мере объясняется историей развития значения этого слова, ведь первоначально этим словом описывались взаимоотношения двух людей, сильного и слабого, и именно поэтому эти взаимоотношения описы-

ваются в терминах войны, которую ведет слабый, дабы выровнять свои шансы на победу.

Синонимом слова *danger* выступает слово и понятие *péril*. У Чезаре Рипа мы находим такое описание *péril*:

«Молодой человек идет по тропинке, опираясь на палку, и вдруг змея кусает его в ногу. Справа от него пропасть, слева — водный поток, с небес его поражает молния. Палка олицетворяет хрупкость нашей жизни перед лицом опасности, хотя мы и опираемся на нее в тяжелые минуты. Гром, вода, пропасть — опасность грозит нам отовсюду» (1).

Из этого описания мы видим, что во французском языке исторически также присутствовала связка понятия *опасности* с природными фактами и явлениями. Приглядимся к этому слову по внимательней.

Французское слово *péril* произошло (980 год) от латинского *periculum*, означавшего «проба, опыт, испытание», отчего произошли вторичные значения «риск, опасность», таже в средневековой латыни «опасность для души, проклятие».

Periculum образовано от глагола *periri* «испытывать, экспериментировать», быстро замененного глаголом *experiri* (родоначальником французского и русского «*эксперимента*»).

Первоначальный смысл глагола, видимо, «идти вперед, проникать вглубь». Это слово с первых же текстов обозначает состояние опасности, в котором находится человек. То есть первоначально, сделаем такое допущение, слово обозначало опасность, которой подвергал себя человек, исследующий или испытывающий природу. В старофранцузском языке у слова были особые значения «шторм, буря», а также «риск, связанный с чем-либо». Опять же можно увидеть, что и этот контекст описывает ситуацию, когда человек добровольно испытывает обстоятельства с какой-то целью, идет по морю для открытия, захвата, охоты и вследствие этого сталкивается с силами природы. Иначе говоря, не природа нападает на него, как у русских, а он вторгается в пределы природы с какой-то целью.

В современном языке это слово определяется как положение, состояние, характеризуемое высокой степенью риска, а также то, что угрожает безопасности.

Это слово употребляется следующим образом:

etre aux milieux des périls, *mettre sa tête en péril*, *courir un* (*des*) *péril*(*s*), *s'exposer au péril*, *affronter*, *braver les périls avec audace etc.*

Отметим сразу, что *péril* — слово письменного языка и не слишком употребляется в живом языке, за исключением, пожалуй, нескольких

выражений: *il n'y a péril en la demeure* и *faire qch a ses risque et périls*. Очевидно, что слово *péril* часто употребляется во множественном числе также и потому, что оно мыслится по преимуществу неодушевленно, а также как некая совокупность неблагоприятных обстоятельств. Эту неодушевленность мы склонны связывать с тем образом *péril*, который запечатлел для нас Чезаре Рипа. Но вот что интересно: сочетаемость слова свидетельствует не о том, что эта опасность нападает на человека, а о том, что человек сам подвергает себя этой опасности, что мы уже однажды отмечали, когда говорили об этимологии *péril*. А раз так, то логично ослабление мотива противостояния, борьбы, войны.

Третье понятие, описывающее во французском языке и менталитете понятие опасности, обозначено как *menace* (n. f.). В современных словарях оно определяется как проявление чьего-либо гнева, имеющее целью вызвать чувство страха, связанное с намерением причинить зло.

Некогда, по свидетельству Чезаре Рипа, аллегорически это понятие изображалось так:

«Женщина с открытым ртом, с головным убором, напоминающим страшное животное, одетая в серую, расшитую золотым, красным и черным ткань. В одной руке у нее меч, в другой — палка. Угрозы — это проявление того, что должно пугать и ужасать других, а страх может родиться четырьмя путями: от лица, от одежды, от меча и от палки».

Мы видим большое совпадение средневековой и современной трактовок этого понятия. Происходит это от его однозначности и детерминированности ситуации, к которой оно привязано.

Этимологически *menace* произошло (881 год) от народно-латинского **minacia* — «проявление насилия, жестокости, свидетельствующих о намерении причинить зло». Слово образовалось через прилагательное *minax* от латинского *minae*, первоначально обозначавшего выступ скалы, стены. Идея *падения/выпадения/низвержения*, как мы уже писали, семантически выделена в индоевропейских представлениях, обрушение скалы, низвержение камней связано с идеей опасности через многочисленные опыты античных и ближневосточных народов, идущие от смертоносных землетрясений конца прошлой — начала нынешней эры, и неизменно ассоциированные с гневом богов.

От «чего-то нависающего», таким образом, был сделан переход к идее угрозы, опасности, аллегорически поддержанный уже имевшейся у этой группы представлений аллегорией дамоклового меча.

В Европе и в частности в романском мире *menace* — угроза — первоначально могла воплотиться только в словах или жестикуляции

человека. По расширению значения с XVIII века слово получило значение — события, ведущие к негативным последствиям.

Идея «чего-то висящего», то есть материнская идея, идущая от этимона, надежно запечатлена в сочетаемости слова *menace*.

По-французски говорят:

menaces en l'air, l'air etait lourd de menaces, la menace suspendue sur son bonheur, être sous la menace.

Слово *menace* сочетается со следующими глаголами:

adresser, proférer, lancer, braver, craindre, mépriser, prendre peur devant; obtenir qn par la menace; la menace peut être horrible, terrible, furieuse.

Из сочетаемости этого слова мы видим, что оно мыслится, как и русская *угроза*, переводным эквивалентом которой оно является, неодушевленно, опредмеченно (*lancer; obtenir qcn par* ...). Предметом этим манипулирует человек, угрожая другому.

Французское слово *risque* (n. m.) было заимствовано из староитальянского языка в середине XVI века, то есть является самым «молодым» из описываемых слов. Некоторые исследователи ассоциируют это слово с латинским *resecare* — «отрезать». Возможно, отсюда произошло много позже значение «риск, которому подвергается товар в море» (при каких-либо проблемах его будут отрезать и сбрасывать в море). Пьер Гиро не согласен с этой точкой зрения и считает, что это слово произошло от романского корня **rixicare*, произошедшего от латинского *rixare* — «браниться, ссориться», через расширение, идущее от слов «бой, сопротивление» к идее опасности. Теперь это слово связано с идеей возможности предвидеть негативные последствия чего-либо.

В современном языке, по свидетельству словарей, слово *risque* обозначает опасность более или менее предсказуемую или же в специальном употреблении (в области права) — возможность события, зависящего не только от воли сторон и могущее привести к потерям, которые покрываются страховкой.

Идея страхования, как известно, — одна из центральных современных европейских цивилизационных идей, являющихся прямым следствием эпохи рационализма, трактующего мир как механизм, созданный разумом, а общество как социальный механизм, созданный человеческим разумом. Как мы видели, *risque* поздно пришло в язык, происхождение этого слова туманно и основная мифология, вторично конкретизирующая это понятие, должна быть отнесена к пострационалистической эпохе, эпохе крупных городов и новобуржуазных взглядов на жизнь.

По-французски это слово употребляется так:

entreprise pleine de risque, из чего можно сделать вывод, что риск может заключаться в некоем событии;

assurance qui couvre le tout risque, что указывает нам на то, что риск имеет некую площадь, которую можно покрыть чем-либо другим и через это обезопасить его;

prendre, aimer, détester le risque, avoir le goût du risque, показывающие эмоциональные отношения человека с *risque*, такие же, как и с предыдущими синонимами.

Однако идея страха, по-видимому, связывается не непосредственно с *risque*, а с действием «принятия на себя риска»: лучше сказать *il craind de prendre es risque*, чем *il craint les risques*.

Peser, estimes les risques — трактующего риск как товар, имеющий свою стоимость, что, возможно, намекает на то, *что* оценка риска в новое время закладывалась в стоимость товара и отчасти переняла его характеристики.

Сопоставительный анализ представлений французов и русских об опасности

Итак, в русском языке лексика, описывающая высшее, внешнее, влияющее, неконтролируемое, базовое, дискретное, объективное, негативное, представлена следующими словами.

1. Опасность — самое общее понятие с достаточно детально разработанным образом, одушевленная, активная, обычно с очерченными границами, передвигается по тем же дорогам, что и человек, является следствием определенных причин, характеризуется по параметру «размеры». Источник опасности всегда внешний. Опасность мыслится в образе женщины, у которой есть лицо, она охотится на человека, часто вероломна, в охоте предпочитает скрытую тактику.

Этимологически *опасность* связана с идеей *опасения* (пасения, защиты) скота, осторожности, то есть в процессе эволюции поменяло свой смысл на обратный.

2. *Угроза* причинно связана с человеком, всегда явная и не ведет охоты, является проявлением злой воли того, кто ее порождает. Соответственно неодушевлена и инструментальна. Этимологически, видимо, связана со словами «*гроза*», «*грозный*» (ср. Иван Грозный) и иллюстрирует русское представление о сходстве сильной личности и природного явления, стихии, которые не могут быть скрытыми и в негативных своих проявлениях бедственны.

3. *Риск* — слово с разработанным значением, но не развитым образом. Понятие связано с идеей отваги, удали, в русской культуре существует множество контекстов, где русские признаются в любви к риску и трактуют это как черту национального характера.

У французов:

1. *Danger* (n. m.) — эквивалент русской опасности с существенными отличиями в проработке образа. *Danger* также одушевлено и активно, однако идея коварства ослаблена. *Danger* очевидно и несомненно. Сочетаемость этого слова направлена на описания противостояния человека опасности, который активно борется с ней. Этимологически это понятие связано с взаимоотношением сильнейшего и слабейшего и поэтому, с нашей точки зрения, сочетаемость в большей степени описывает ситуацию противостояния.

2. *Péril* (n. m.) — синоним *danger*, проиллюстрированный аллегорическим прототипом. Источник *péril* — окружающий мир. Слово письменного языка, употребляющееся по преимуществу в нескольких определенных выражениях. Мыслится неодушевленно, часто употребляется во множественном числе и трактуется как совокупность неблагоприятных обстоятельств. Мотив противостояния человека péril ослаблен, вероятно, из-за того, что человек сам идет на испытание.

3. *Menace* (n. f.) — эквивалент русской *угрозы*, этимологически связано с идеей испытания, то есть, очевидно, подразумевается активный агенс, производящий некие действия с пациенсом, источник menace — злая воля человека. Образ этого слова обнаруживает связь с аллегорическим прототипом, а также с общим для русского и французского языка образом дамоклового меча. В образном плане понятие мыслится неодушевлено, предметно.

4. *Risque* (n. m.) отличается неразработанностью образа, но разработанностью понятия, центрального в страховой системе Франции и французском менталитете. В образном плане мыслится как предмет, товар, материальный актив.

Сопоставляя описанные ряды, отметим прежде всего, что они находятся в совершенно различных этимологических полях.

Русский ряд связан с идеей осторожности (*опасность*) и разбушевавшейся стихии (*угроза*), французский ряд с властью сильного над слабым (*danger*), испытанием, своего рода экспериментом (*péril*) и жестокостью (*menace*). Находясь в поле стихии и осторожности, русский человек пассивен и является объектом для преследований коварной и злостной опасности, в то время как носитель французского языкового сознания выступает по отношению к опасности активно,

лишая ее возможности охотиться на себя и вероломно нападать. Активность французской трактовки связана также с возможностью самостоятельно подвергать себя опасности не ради лихачеств и удали, а ради познания жизни и приобретения выгоды.

По отношению к риску поведение носителей двух исследуемых языков также различно, русский человек любит риск, слабо сопрягая его с идеей ответственности, по крайней мере там, где речь идет о собственной жизни, французы же, разработав развитую систему страховок — способа угнетения страха в ситуации окружающего со всех сторон риска, сопрягают свое поведение с идеей ответственности.

Анализ понятий, выражающих идею опасности, также свидетельствует о повышенной социализированности понятий французского ряда, ориентации его на общественную, государственную, иерархическую практику взаимоотношений и целеполаганий.

В более абстрагированном виде результаты могут быть представлены так:

Признаки	Русское представление	Французское представление
Истоки	Явление природы	Человек, природа как поле для эксперимента
Взаимосвязи	Охрана имущества	Власть
Образ	Ускользание	Битва
Членение ситуации	Три вида опасности: природа, угроза, при бизнесе	Четыре вида опасности: человек, природа, эксперимент, бизнес
Человек	Любит опасность	Страхуется, борется
Влияния	Монголо-тарары (?)	Античность, эпоха Просвещения

Библиография

1. Россия XVIII века глазами иностранцев. М., 1989, а также *Масса И.* Известие о Московии в нач. XVII века. ОГИЗ. 1937.

Глава шестая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ О ДОБРЕ И ЗЛЕ

В этой главе мы рассмотрим одну из ключевых бинарных оппозиций, представляющую глобальную понятийную универсалию большого «радиуса действия». В том смысле, что у многих, если не у всех народов, она так или иначе представлена. В обобщенном виде ее можно представить как + и –. Иначе говоря, положительное и отрицательное, полезное и вредное, нужное и не нужное, дающее силу и слабость и так далее. Это две мировоззренческие оси, на которые нанизываются многие другие понятия, имея в своих значениях элементы смыслов этих понятий или их коннотаций. Можно сказать, что эти бинарные оппозиции задают своего рода оси координат, в рамках которых в индоевропейской цивилизации могут быть так или иначе распределены многие другие понятия, причем они не обязательно закреплены намертво, могут флуктуировать, но при этом продолжают отчетливо соотноситься с осями.

Посмотрим на следующий набросок:

добро	зло
мужчина	женщина (или наоборот)
право	лево
Запад	восток (или наоборот)
сила	слабость
красота	уродство
работа	праздность
безденежье	деньги (или наоборот)

белый (и все, что с ним употребляется, например день)	черный (аналогично, например, ночь)
знание	невежество
мир	война
христианство	мусульманство (или наоборот)
истина	ложь
корова	волк
врач	преступник

И так далее.

Очевидно, что фундаментально описать эти понятия — дело отдельного исследования, наша задача в данном случае — показать некоторые сходства и различия. Итак, проанализируем, как французы и русские понимают добро из зло. Для этого сопоставим русские слова и понятия *добро* и *зло* с французскими *bien* и *mal*.

Мы уже отметили, что перед нами не столько синонимические ряды, хотя они и представлены по крайне мере в русском языке — *добро*, *благо*, сколько антонимические пары, представляющие древнейшие оппозиции и являющиеся рудиментарными остатками так называемых дуалистический близнечных мифов (1). Это означает, что дальнейшее развитие мировоззренческих систем происходило если не под сильным влияние этих концептов, то в тесном соприкосновении с ними. Именно поэтому они и являются системой координат, материнскими осями, но, конечно, не только из-за своей древности. Как мы увидим далее, эти отвлеченные и базовые понятия не означают одно и то же в различных культурах и наполняются в зависимости от изучаемого языка национально специфическим смыслом.

Обратимся к определениям. Современные философские энциклопедические словари (ФЭС) так трактуют добро и зло: «... это нормативно-оценочные категории морального сознания, в предельно обобщенной форме обозначающие, с одной стороны, должное и нравственно-положительное, благо, а с другой — нравственно отрицательное и предосудительное в поступках и мотивах людей». В интерпретации добра и зла в истории этики, начиная с древности, сталкивались различные точки зрения.

Материалисты связывали их с человеческими потребностями и интересами, с законами природы или фактически с желаниями и устремлениями людей (натурализм), с наслаждением или страданием (гедонизм), с реальным социальным значением тех или иных действий.

Идеалисты выводили понятия добра и зла из божественного веления и разума, из неких потусторонних идей и сущностей, в результате чего конфликту между добром и злом придавался метафизически-онтологический смысл борьбы извечных начал в мире (2). Отметим, что наши сознание и язык сочетают в себе и первую и вторую точки зрения, не вызывая внутреннего конфликта и необходимости рационализировать исторически сложившиеся непримиримые различные подходы. Потому что в нашем сознании в большой степени правят воображение и миф, не требующие в своей развернутости логичности и последовательности, как того требовали бы построения разумные (3).

Итак, мы могли бы предложить для представленной группы слов следующий набор дифференциальных признаков: *высшее*, *внешнее*, *вечное*, *влияющее*, *неконтролируемое*, *базовое*, *абсолютное*, *категориальное*.

Абсолютное — значит непостижимое и неисчерпаемое.

Вечное — означает, что эти понятия не соотносятся с конкретной человеческой жизнью, сопровождая не жизнь человека, но жизнь рода человеческого. У каждого своя судьба, каждому представляются или не представляются различные случаи, каждому суждено повстречаться с различными опасностями и использовать или не использовать различные шансы.

Влияющее — означает, что человек не только с точки зрения актуальных мифов искушаем добром и злом, истиной и ложью, но и отвечает за свой выбор (и в человеческом суде, и в высшем).

Неконтролируемое — означает, что человек не может доминировать над этими понятиями.

Базовое — означает и — присущее от века, абсолютное, означает не имеющее степеней, категориальное, значит основополагающее для классификации. Элементы значения именно этих слов обнаруживаются, как мы уже сказали, в трактовке огромного числа других понятий, являясь самым абстрактным элементом значения.

Русское представление о *добре* и *зле*

Русские понятия добра и зла не находят никаких прямых аналогий в славянской мифологии. Происхождение этого слова неизвестно, есть версия, что оно, возможно, восходит к праславянскому корню **dob*, связанным с идеей времени.

Существующие сегодня производные слова датированы XVII и более поздними веками и восходят к идее «добротности, доброкачественности, годности».

Активная мифологизация понятий добра и зла связана также с новым временем, развившим мотивы отождествления зла с сатаной, Люцифером, а добра с Богом. Производные со значением «сострадательный, милосердный» возникли значительно позже других значений, что позволяет нам сделать вывод о том, что современные понятия добра и зла относительно новые, а в историческом времени — совсем молодые и могут трактоваться как специфические характеристики мышления и сознания современной цивилизации, начало которой с согласия многих культурологов относится именно к периоду конца XVIII века, к тому времени, когда атеизм оформился в самостоятельное и хорошо очерченное философское течение.

Сказанное не отменяет предположения о древности, исконности самой оппозиции, обозначенной в первых строках той главы как + и —.

Первое значение слова *добро* — вещественно. *Добро* — это имущество, достаток. Иной оттенок значения этого слова появляется при его соотнесении с синонимом *благо*. Даль отмечает что *добро*, *благо* — это то, что честно и полезно, то, чего требует от нас долг человека, гражданина, семьянина. То, что противоположно *худу*, *злу* (ТС). Здесь можно порассуждать: если имущество нажито честно, то будет хорошо, не будет плохого, от этого оно и называется *добро*. Но если нечестно, то *добра* не будет, ни в прямом ни в переносном смысле. *Добро* на протяжении нескольких веков было центральным гражданственным понятием и именно в этом качестве было поставлено в соответствие пятой букве алфавита, о которой получал представление российский ребенок в возрасте пяти—семи лет. Добрый человек, по свидетельству Владимира Даля, это человек «дельный, сведующий, исправный, добро любящий, добро творящий, а также мягкосердный, жалостливый и иногда слабый умом». Доброта же — это соответствующее качество человека, относительно которого Даль приводит следующий афоризм: «Доброта без разума пуста».

Читая определения Даля, касающиеся слабого ума, современный человек может удивиться: откуда такое могло взяться? Ответ, очевидно, нужно поискать в истории русского юродства, юрод и именовался как *дурак* (см. слав. *оурод*ъ — *дурак*, *безумный* — (4)) и действовал постоянно вопреки корысти, совершая как бы религиозный подвиг.

Но обратимся к современному значению. Во-первых, в современном языке совершенно утерян граждаский аспект значения этого слова, во-вторых, в современном языке добро и благо существенным образом рознятся, в третьих — добро никак в нынешнем употреблении языка не ассоциируется со слабоумием.

Понятия «*добро*» и «*благо*» были описаны «В новом объяснительном словаре синонимов» (НОСС) под редакцией И. А. Мельчука и Жокловского, и принципиальные моменты этого описания выглядят следующим образом.

Добро и *благо* — это то, что хорошо для людей. Синонимы различаются по следующим смысловым признакам: *добро* абсолютно, благо относительно, *добро* этически ценно и связано с доброй волей человека, *благо* — не этическая категория, а некий положительный результат, исход дела. *Добро* в отличие от *блага* — высшая нравственная ценность.

Добро абсолютно, представление о нем может измениться только вместе со всей ценностной шкалой человека, представления о *добре* и рациональны, и нравственны, и интуитивны. *Благо* же сугубо рационально. Для *добра* главное соответствующее душевное движение, для *блага* — холодный расчет. В основе представлений о *добре* и *благе* лежит ориентация на разные ценностные шкалы и на разных субъектов оценки: представление о благе связано с человеческим судом, с точкой зрения людей вообще, подобно представлениям о справедливости и правде, а *добро*, подобно *истине* — с абсолютной, высшей, может быть, божественной точкой зрения на мир. Оно рассматривается как абсолютная ценность и поэтому способно обозначать абстракцию высокого уровня.

Мы присоединяемся к этому анализу, различая два вида *добра* — абсолют и характеристика, оценка нравственного поведения человека.

Посмотрим на русскую сочетаемость этого слова:

добро делают, *несут*, *приносят*, *творят*, *сеют*, *настраивают на добро* и пр.;

добро укореняется, *разрастается*, *живет в человеке*, *разлито в мире*, *ходит по свету*, *борется со злом*, *побеждает*, *ретируется перед грубой силой*, *торжествует и дает всходы* и пр.;

добра желают, *добром отвечают на добро* (*зло*), *к добру призывают*;

царство добра, *Империя* «*добра*» (как антоним *империи* «*зла*»), *силы добра*;

свет добра, *сила добра*, *апология добра*, *взаимная проницаемость добра и зла*, *плацдармы добра*, *довести до добра*;

добро должно уметь себя защищать (*быть с кулаками*), *что-то не кончится добром* и пр.;

свет добра, *дитя добра и света*, *озаренный добром* и пр.;

проявляется, *растворено в каждом поступке*.

Рассмотрим подробнее образы, стоящие за сочетаемостью.

1. *Колос/сорняк.* У понятия *добро* отчетливо проглядывается коннотация растения (*его сеют*, *оно укореняется*, *дает всходы*, *его жнут* и так далее). Мы предполагаем, что за этим неопределенным растением может стоять колос или иное растение, дающее человеку его «хлеб». Такая ассоциация могла бы считаться базовой и системной, ибо, как мы увидим дальше, зло наделено той же коннотацией — растение (поговорка, идущая из античности: *вырвать зло с корнем*) — но растение это плохое, сорняк.

2. *Имущество.* Из этого образа логично проистекает образ предмета, объекта, имущества: *добро делают*, *несут*, *принимают*, *отвечают добром на добро*. Этот образ вплотную подходит к одному из толкований, на которое мы указывали у Даля.

3. *Солнце.* Прототипический образ урожая, стоящий за растением колосом, логично влечет за собой (или наоборот) образ солнца, света, без которого нет жизни, нет пищи. Именно поэтому *добро светит*, *согревает*, *озаряет*, *освещает путь* и так далее.

4. *Вода.* Вода, традиционно коннотирующая эмоциональную сферу и олицетворяющая одну из стихий (мы это увидим далее), представлена и в сочетаемости слова «*добро*»: *добро разлито в мире*, *волны добра* и та далее. В этом смысле, когда *добро* мыслится как внутренний процесс (*добро родилось в нем*), оно в метафорическом описании подобно эмоции (*добрые чувства захлестнули его* и так далее). Если рассматривать сочетание «*добро разлито в мире*», уподобляющее *добро* питательной среде, то здесь мы также склонны относить это к прототипической ситуации сева и урожая, которые без воды, как и без солнца, не могут быть успешными. Контексты, где *добро* из-за своей ассоциации с водой мыслится растворимым (*добро растворено в каждом его поступке* — то есть является частью их), производный контекст, от базовой ассоциации *добра* с водой.

5. *Войско.* Представление *добра* как системы сил происходит из христианства и является одним из производных этого мифа.

На содержательном уровне понятия «*добро*» существуют любопытные нюансы, приоткрываемые соответствующим прилагательным «*добрый*».

По нашему убеждению, «*добрый*» (о человеке) означает не только способность давать безвозмездно, но и умение проявлять жалость и всепрощение. Мы можем предположить, что в значении «*умеющий прощать*» традиционно эти качества рассматривались на Руси как чисто женские. Поэтому мы можем сказать «*она добрая женщина*», «*он,*

она добрый человек» (с немаркированным полом в слове «*человек*»), но плохо будет сказать *«*Он добрый мужчина*» именно в силу названных особенностей значения этого слова.

Отметим, что понятия добра, доброты являются обиходными для русского языкового сознания и часто употребляется для характеристики людей, их намерений. Само это качество — доброта — социально одобряется, люди, проявляющие бескорыстное намерение помочь другому, оценочно поддерживаются социумом.

Конечно, этот мировоззренческий концепт имеет даже в бытовом сознании нюансы, суммирующиеся в библейском выражении «благими намерениями вымощена дорога в ад» или в упрощенном виде — «не делай хорошо, чтобы не было плохо», но это уже предмет отдельного анализа, в ходе которого следовало бы обязательно указать на тот факт, что прототипически из двух братьев один всегда плохой, а другой хороший (Каин и Авель и так далее), и, как бы не рознились векторы их потенции, они все равно остаются родственниками, то есть нередко встречаются, соединяются, пускай даже в ретроспективе.

Русское слово *зло* связано с древнерусским прилагательным *зълъ*, означавшим «дурной, плохой, низкий», *зъло — беда*, *зло*, *грех*, *зълоба* — «порок», «грех», «вражда». Этот славянский корень связан с индоевропейским корнем со значением «изгибаться, кривиться, изворачиваться». Таким образом, *зло* этимологически антонимично также и *правде*, *прямоте*, *правильности*, *правоте*, ассоциируясь, через кривизну, с *левизной*, *левым*, *незаконным* (см. «*кривой договор*», «*левый заработок*» и пр.).

Первоначально прилагательное было значительно более распространено, чем существительное, и применялось для характеристики человека.

«*Злой*» означало «недоброжелательный, проникнутый враждой, ненавистью, желанием мучить». Иначе говоря, описывало поведение врага. Окончательная абстракция существительного произошла, по нашему убеждению, тогда же, когда и окончательная абстракция *добра*, с распространением и укоренением атеистического мировоззрения, когда возникла необходимость формулировать основы морали без обязательной ссылки на православную религию.

Понятия *добра* и *зла* в высокой степени симметричны: *добро*, как мы видели, — это то, что хорошо для человека, а *зло* — это то, что для него плохо, *добро* связано исконно с идеей богатства, *зло* — с войной, с враждой, и, таким образом, с потерей богатства. *Добро*, через абстрагирование понятия, стало обозначать высшую нравственную

добродетель, *зло* — наивысший порок. За *добром* стоит Бог, который абсолютно благ. За *злом* — дьявол, который абсолютно злонамерен.

Многое сказанное о *добре* с противоположным знаком может быть отнесено ко *злу*, и в этом также мы видим проявление, последствие древних близнечных мифов.

В славянской мифологии история появления *добра* и *зла* представлена таким образом: серая уточка — олицетворение единого славянского бога Рода — по его научению отправилась разыскивать землю и, найдя ее (сотворя ее), снесла на ней два яйца с силами Яви и Нави (Явление и Навет), иначе говоря, с силами *добра* и *зла*. А дальше вылупившиеся из этих яиц птицы понесли *добро* и *зло* по всему свету и стало оно само твориться и размножаться (СМ).

Славянское божество, олицетворяющее собой зло, — Мара, Маруха. Оно также «отвечало» за вражду и смерть (см. отсюда Мор, Мрак). У северных славян Мара — грубый дух, который днем невидим, а ночью открыто творит злые дела, предпочитая таиться в пещерах, на болотах, в рытвинах под берегом реки. С праславянским представлением соотносится также персонификация *зла* в образе беса (*Бес попутал*, или возглас «*Черт!*», называющий причину собственного или чьего-то ошибочного действия, неудачного стечения обстоятельств). У древних славян было верование, связывающее бесов, силы зла, с темнотой и холодом, а также с временем зимы, считавшимся временем их власти (*). К древним мифологическим персонажам этого ряда могут быть отнесены также и *злыдни* — слово, употребляемое до сих пор, иногда иронично иногда впрямую, для обозначения злонамеренного человека. Так вот, *злыдни* в восточнославянской мифологии — вредоносные домовые духи, *недоля*, *бида*. *Злыдни* отличаются от пассивности *доли*, исконно касавшейся только благосостояния человека, они приносят ему несчастье. В некоторых местностях *злыдней* представляли в образе невидимых стариков-нищих, где они поселятся, там вечно будет беда.

В современном русском языке слово «*зло*» имеет следующую сочетаемость:

причинить, *сделать*, *принести*, *посеять зло*;

зло укореняется, *дает всходы*, *корень зла*, *извести зло с корнем*;

зло наименьшее, *наибольшее*, *выбрать из двух зол наименьшее зло*, *великое зло*;

держать зло на кого-либо; *срывать зло на ком-то*, *носить в себе зло*;

безусловное, *неизбежное*, *мировое зло*;

зло побеждает, одерживает верх, силы зла, цветы зла;
отойти от зла, познать зло;
торжество зла, империя зла, оплот зла.

Из приведенной сочетаемости мы отчетливо видим такие его метафорическую конкретизацию:

1. *зло* как растение, сорняк (об это см. выше);
2. *зло* как дискретная среда, представляющая человеку конкуренцию зла;
3. ограниченная территория (*отойти от зла*);
4. войско (*силы, империя*).

В языке мы не находим прямых свидетельств, но в актуальной практике находим много подтверждений ассоциирования зла с ночным светилом — луной. Славянские мифы, как мы видели, связывали зло с ночью, темнотой. Отрицательное настороженное отношение человека к темноте и к светилу темноты имеет место и теперь: лунатизм, оборотни, ночные страхи, усиление преступности в ночные часы — все это подтверждает тот факт, что мы считаем темное время суток временем темных сил. Соответственно и холод, сопровождающий страх, косвенно рассказывает нам о том, что страх возник от ощущения, лицезрения зла, врага, опасности, того, что так сильно ночью. Подспудно связь зла с холодом просматривается в образах Снежной королевы, в выражении «вместо сердца кусок льда» (здесь еще важна ассоциация с тем фактом, что холод снижает чувствительность вплоть до полной ее потери, а этим и пользуется зло, чтобы подтолкнуть человеку в дурную сторону, столкнуть в прямого пути). Отсюда же, возможно, тянется нить к выражению «холодный прием», то есть бесчувственный, недоброжелательный, «темные дела», то есть злые, нечестные, через эту же метафорику (через слово *кривда*, о котором мы будем говорить далее, перебрасывается мост и к слову «кривотолки» — то есть разговоры, не только пересказывающие неправду, но и имеющие злую цель и так далее).

Мы не разворачивали описание коннотаций слова «*зло*», так как указывали при описании его антонима на присутствующую в представлениях об этих «близнецах» симметричность. Поговорим о том, что рознится. Человек зачастую является источником зла, но дальше зло отделяется от человека и существует отдельно. Мы можем сказать «*своим бесконечным добром он доказал...*», или «*его добро, добро, которое от него исходило, было сильнее...*», но не можем создать аналогичных контекстов со словом *зло*. Слово *зло* не имеет в русском языке множественного числа в именительном падеже, но имеет в родитель-

ном и мыслится множественно, ведь мы *выбираем из двух, трех, пяти зол наименьшее, наибольшее, среднее*. Таким образом, *зло* бывает не только множественным, но и различным по качеству и размеру, в то время как *добро* едино и не рознится по характеристикам. Именно этим соображением объясняется тот факт, что слово «*добро*» имеет бедную сочетаемость с прилагательными, а слово *зло* — обильную. Поведение *зла* в русском языке описывается не столь подробно, само называние этого слова вызывает достаточно сильный ряд имплицитных ассоциаций, о которых мы писали. *Добро* действует, борется, *зло* побеждает, проигрывает, наказано. Но зло нередко результативнее. Именно поэтому добро, по смелой идее Станислава Куняева, должно быть с кулаками, именно поэтому столь ярко и последовательно выражена идея долженствования борьбы и победы над злом.

Современное употребление слова *зло*, связанное с идеей вражды, подчеркивает внутренний эмоциональный его источник: держать зло на кого-то значит таить его в себе, испытывать к кому-то злобу, а срывать на ком-то зло означает выплеснуть на невиновного человека внутреннее негативное напряжение. *Срывать* здесь связано с идеей, выраженной в глаголе *срываться*, то есть неправомерно давать волю своим негативным эмоциям. Возможно, этот глагол связан с представлением о нормальном состоянии и поведении, выражаемом в стабильности, то есть в фиксированности.

Таким образом, мы видим, что зло несколько иначе функционирует чем добро, при выраженной антонимической симметрии этих понятий.

Французские представления о *добре* и *зле*

Французские понятия о добре и зле имеют существенные отличия.

Обратимся к анализу этих понятий.

Существительное *bien* (n. m), совпадающее по форме с наречием *bien* (хорошо), заставляющим вспомнить о русском выражении *дать добро* (*согласиться, сказать: хорошо*), зафиксировано во французском языке в X веке и очевидным образом произошло от латинского наречия *bene*, соответствующего прилагательному *bonus* — хороший.

Существительное *bien* зафиксировано прежде всего в христианских текстах и отражает моральное понятие того, что справедливо, достойно, похвально (*les gens de bien*). С XI века *un bien, des bien* означает также «богатство, собственность».

Таким образом, до этого момента мы можем говорить о сходном развитии двух понятий — русского и французского, что явным образом связано с христианским контекстом.

В современном языке значение этого слова несколько видоизменилось и выгляит так:

1. то, что приятно, благоприятно, то из чего можно извлечь выгоду, то, что полезно для достижения поставленной цели;

2. богатство, собственность;

3. то, что характеризуется моральной ценностью, то, что справедливо и честно.

Этот перечень значений уже позволяет зафиксировать разницу и даже противопоставление по ряду признаков этих понятий. В русском языке при трактовке этого понятия не используется понятие выгоды, пользы, да и само слово никак не ассоциируется с богатством, а скорее даже наоборот — с бедностью.

Первые два значение французского слова попадают в такой синонимический ряд: *avantage*, *bénéfice*, *intérêt*, *profit*, *satisfaction*, *service*, *utilité*.

Второе в такой: *capitale*, *domaine*, *héritage*, *propriété*, *richesse*.

Этот синонимический ряд подтверждает: сегодняшнее французское *добро* прочно привязано к денежной сфере, корысти, всему тому, что обогащает человека.

Третье же значение французского «*добра*» привязывает его уже к моральной сфере: *devior*, *idéal*, *perfection*, *charité*, — но особенным образом, как бы растолковывая, к какому классу ситуаций оно должно быть привязано. Иначе говоря, французское коллективное сознание ставит это понятие в рамку, с четырех сторон указывая на его границы — долг, идеал, совершенство, благотворительность.

Подавляюще частотное употребление этого слова связано именно с первым и вторым значениями, третье значение явно периферийно, создает трудности в свободном употреблении и по преимуществу ограничено узко специальной морально-этической сферой религиозных и философско-этические текстов.

Исходя из частности первых двух значений, а также особого смысла этого слова, у нас есть все основания соотнести слово *bien* с *fortune* и *occasion*. Теперь мы уже можем с уверенностью сказать, что материальная сфера жизни особенно маркирована во французском языке. *Fortune* покровительствует желающему процветать, occasion предоставляет возможность, а *bien* — это то, что следует из усилий fortune и удачных *occasions*. *Bien* — это то, что получает человек, когда богиня обогащения на его стороне, когда случай помогает ему сберечь деньги.

Что же получается, *bien* скорее античное понятие?

Выходит, что так: античные корни всего понятийного гнезда, идущие от фортуны и случая, утянули с собой и добро, выведя его из-под христианской сферы влияния. Этот факт в первую очередь и обусловил его сегодняшний понятийный абрис.

Сочетаемость слова *bien* скудна и не маркирует его как высшую силу или абсолют, озаряющий человеческую жизнь божественным светом. В данном случае мы не говорим о специальном религиозном значении этого слова, но о бытовом, повседневном. Можно с большой степенью уверенности утверждать, что в бытовом сознании эквивалента русскому *добру* в современно сознании франкоговорящих народов практически не существует.

Употребляя слово *bien* в третьем значении, по-французски говорят:

discerner le bien du mal, faire le bien, rendre le mal pour le bien; pratiquer, poursuivre, rechercher le bien, tendre vers le bien.

Сочетаемость с прилагательными нами не зафиксирована, что позволяет предположить, что *bien* никак не характеризуется, не оценивается, не квалифицируется качественно. Глагольная сочетаемость явно акцентирует, что действия, совершаемые с bien, носят отпечаток практичности действия.

Контекст «*rendre le mal* (*le bien*) *pour le bien* (*le mal*)» позволяет усмотреть, как и в глаголах практического действия, употребляемых с *le bien*, овеществление *этого понятия*, впрочем, крайне не развитое, как и сама образная структура *этого понятия*. Существенное отличие между русским *добром* и французским *bien* еще больше раскрывается через дериваты *bon*, *bonne* и *la bonté*. Перевод на французский язык высказывания «*она*, *он добрая*(*-ый*)» вызывает существенные затруднения и для не слишком поднаторевшего во французском языке иностранца таит опасность высказать нечто до известной степени противоположное: *elle est bonne* означает: «она простовата». Здесь мы обнаруживаем еще одну перекличку с устаревшим русским толкованием доброты, цитированным нами по Владимиру Далю, и связываем это с общностью христианский контекстов, связанных с юродством, которые, вероятно, и та и другая культуры не пожелали закреплять за «*добром*».

Привычные для русского языка эпитеты «добрый, хороший» кажутся чуждыми для французской культуры и будут заменяться эпитетами, описывающими не суть характера, а его внешнее проявление по отношению к окружающим. Мы скажем в этом случае: «*il est gentil, sympa, chaleureux*». Французское существительное *la bonté* — эквивалент русского *доброта* — слово сугубо литературное и мало употре-

бляющееся в живой речи. В литературных употреблениях у этого слова также появился определенный негативный оттенок, появляющийся в ироническом использовании выражения faire qch par bonté d'âme, означающее «проявить жадность, скупость».

Для описания бескорыстного поведения носители французского языка скорее предпочтут конкретные социализированные термины *altruisme*, *indulgence*, *miséricorde*, двигаясь по тропинке, проложенной третьим цитировавшимся значением *bien*.

Перевод же русского «он, она добрее, чем ...» вызовет уже совсем серьезные затруднения и, вероятно, потребует конкретизации утверждения и больших потерь русского смысла.

Иначе говоря, мы видим, что французское понятие *bien* в подавляющем числе контекстов не совпадает с русским понятием *добро*, но реальность за ним стоит другая — прагматическая. Мы видим также, что *le bien* крайне не разработано образно, мы можем лишь сказать, что оно скорее предметно и пассивно, но сочетаемости не достаточно для того, чтобы делать какие-либо более детализированные выводы. Мы можем также констатировать, что это понятие не является важнейшей составляющей бытового сознания, определяющей поведение людей, и позволяющей их оценивать именно с этой точки зрения в силу низкой частотности его употребления.

Возможно, именно с этим связана часто высказываемое русскими восприятие французов как людей холодных, расчетливых, не оперирующих понятиями дружбы (для носителей русского сознания идея дружбы связана, с нашей точки зрения, в первую очередь с идеей бескорыстности и взаимной доброты), трактующих любовь (для русских любовь — это когда ты желаешь добра тому, кого ты любишь) непонятным образом и способных к отзывчивости в очень ограниченных рамках.

Возможно, именно идея добра — один из параметров, отражающих специфичность русского менталитета относительно французского, или, если угодно, наоборот, специфичность французского менталитета относительно русского, не эволюционировавшего в явном виде столько раз, не пережившего столько эпох и не вышедшего из другой великой прагматической цивилизации — античности, полагавшей основными критериями целесообразность, полезность, благо.

Французское понятие «*зла*», выражаемое словом *le mal*, представляется более понятийно и образно разработанным, чем свой антоним. *Le mal* образовано от латинского прилагательного *malus* (881 год) — «плохой, зловещий, злой». Это древний религиозные термин, прочитываемый во многих индоевропейских формах.

Существительное *le mal* образовано путем субстантивации соответствующего прилагательного. *Mal* с первых же старофранцузских текстов обозначало моральное понятие, противоположное *bien* (в третьем значении). Оно употреблялось в христианских текстах, усиливалось производным от него именем дьявола (*Le Malin*) и связывалось с идеей греха.

В XVII веке *faire le mal* означало грешить. В светских контекстах слово *mal* встречалось в уже цитировавшемся выражении *donner le mal pour le bien*. В XI—XII веках появляются другие известные сегодня значения этого слова — *болезнь* и *боль*, не входящие в гнездо значений русского слова «*зло*».

В современном языке слово *le mal* имеет следующие значения.

1. То, что причиняет боль, огорчение, несчастье, то, что плохо, вредно, тяжело для кого-то.
2. Страдание, физическое недомогание.
3. Болезнь.
4. Моральная боль.
5. То, что противоположно моральному закону, добродетели, добру.
6. Абсолютное значение: все, что противоположно, противостоит добру.

Анализ значения слова *le mal* показывает, что во французском языке одним и тем же словом обозначается боль душевная и физическая. Таким образом, душевная боль мыслится достаточно конкретно, что будет проинтерпретировано нами в дальнейшем при рассмотрении лексики, описывающей эмоции. Видно также, что прагматический аспект значения, присутствовавший в слове *le bien*, отсутствует, что, возможно, объясняется универсальностью и древностью этого понятия, выходящего, очевидным образом, за границы античности и ее идеологии. Именно через понятие *le mal* выражаются недовыраженные аспекты понятия *bien*: именно в статье *le mal в Le Petit Robert* мы находим контексты (*l'arbre de la science du Bien et du Mal, par dela le Bien et le Mal, le monde partagé entre le Mal et le Bien etc.*), которые были бы столь же уместны и в статье на *le bien*, но отсутствуют там в силу, видимо, недостаточной разработанности последнего понятия. Отметим также, что абсолютное значение слова *le mal Le Robert* дает последним, что свидетельствует о том, что это слово все же мало употребительно. Вторичная конкретизация понятия *le mal* через некую образную систему отчетливо видно из сочетаемости этого слова:

attaquer le mal à la racine, extirper le mal, couper le mal, tarir la source du mal, couper le mal à sa source, le mal a des ailes, le mal porte le venin en queue, le mal vient à cheval et s'en retourne à pied;

dénoncer, enrayer, réparer un mal; être enclien au mal;

le mal règne, triomphe;

le mal nécessaire.

Из приведенной сочетаемости мы видим, что *le mal* оформляется образно как:

1. растение со стеблем, которое можно выдернуть и срезать;

2. как ручей, источник с устьем;

3. хтоническое существо, сочетая в себе связанные с землей архитипические черты: хвост, крылья, яд. Образ летающей рептилии, дракона с жалом, налитым ядом, очевидным образом связывает его с глубокой древностью (5).

Мы видим, что зло во французском языке одушевляется, способно царить и побеждать и имеет глубокий источник, питающий его земными соками. В описанном образе наблюдается много перекличек с образом дьявола, имя которого, как мы уже писали, имеет тот же корень.

Коннотация, связанная с образом растения, очевидным образом легла в основу метафоры *les fleur du mal*, созданную Бодлером и укоренившуюся в языке. Эта коннотация идет в русле известного латинского выражения «*Mala herba cito crescit*».

Отметим, что представления о добро и зле для французского сознания относятся исключительно к сфере философского и религиозного поиска и не характеризуют бытовое сознание, предпочитающее оперировать в этом случае более конкретными понятиями.

Итак, подведем некоторые итоги.

Обобщение сходств и различий в представлениях французов и русских о добре и зле

Добро в современном русском языке понимается как высшая нравственная ценность, связывающая сознание и поведение человека с идеями бескорыстности и всепрощения. Современное сознание овеществляет и одушевляет это понятие. *Добро* ассоциируется со светилом, растением, воинствующей, но уязвимой силой. Понятие *добра* для носителя русского языка является частотным и обиходным.

Зло — антоним *добра*, также понятие обиходное. Оно также овеществляется и одушевляется. Овеществляется в виде растения, одушевляется в виде воинствующего начала, по отношению к которому человек активен и враждебен.

Bien (n. m.) в значении «моральная ценность» употребляется нечастотно. Основные значения — то, что полезно, то, из чего можно извлечь выгоду, а также богатство, собственность. Моральное значение находится на периферии употребления этого слова. *Bien* (n. m.) — понятие из ряда *fortune*, *occasion*, маркирующее материальное преуспевание человека. Сочетаемость этого слова позволяется сделать вывод о неразработанности вторичной конкретизации понятия, его образной структуры. Глаголы, сочетающиеся с *bien*, характеризуют действия, совершаемые с этим понятием, как действия практические. Моральный смысл дериватов также существенно редуцирован, а в ряде случаев и сильно искажен.

Mal (n. m) — древний религиозный термин, обозначающий моральное понятие, соотносимое с представлением о дьяволе. Его более поздние значения — «боль, болезнь» в современном языке вышли на первый план, а первое употребление слова в моральном значении становится все менее частотным. Образный ряд, ассоциируемый с этим понятием, связан с идеей «низа» — источник, растение, хтоническое существо. Человек призван бороться со злом, однако подобные контексты не обиходные, а философско-религиозные. Понятия *добра* и *зла* не являются базовыми этическими ориентирами для носителей современного сознания франкоговорящих этносов.

Из предпринятого описания мы можем сделать следующие выводы.

Во французском обыденном сознании (!) сильно изменено понятие, эквивалентное русскому *добру*, а также и *доброте*.

Подобный факт связывается нами со специфической трактовкой во французской культуре понятия бескорыстного действия.

Безусловно, это понятие присутствует во французском сознании, так как это сознание во многом определяется христианскими установками, однако в обыденном сознании более активными оказываются идеи, связанные с прагматической деятельностью, нацеленной на процветание человека. Это подтверждается не только ущемленностью понятия *добра* во французском языке, но и особыми смыслами, обнаруживающимися в *fortune*, *occasion*, *vérité*. Эпитеты, характеризующие поведение человека с точки зрения именно этой нравственной категории («*добрый*, *хороший*»), также заменяются эпитетами, описывающими не суть характера, а социально значимые проявления его. Мы связываем это различие двух культур с восхождением этих понятий к принципиально разным истокам.

Французский менталитет продолжает сохранять многие установки, идущие от античности, связанные в первую очередь с идеями це-

лесообразности, практичности, блага. Русский же менталитет, формировавшийся под влиянием православия, не прошедший через горнило многократно сменявшихся эпох, бесконечно ведущих диалог с античными истоками, и пребывавший долгое время в средневековой, небуржуазной идеологии, не усвоил многих рациональных и прагматических взглядов и отражает во многих своих проявлениях сознание не конкурентное, а мировое, в котором процветают понятия *добра*, *любви* и *дружбы*, интерпретируемые в терминах равенства и подобия, а не в терминах индивидуализма, связанного с идеей успеха, обогащения и материального процветания.

По основным признакам французские понятия добра и зла могут быть охарактеризованы следующим образом:

ДОБРО/BIEN

Базовые признаки	Русская ментальность	Французская ментальность
Источник	Не известен	Лат. *хорошо*
Актуальные взаимосвязи	Бескорыстие	Корысть (деньги, благосостояние)
Образ	Жатва, колос	Нет
Членение ситуации	2 термина: благо, добро (материальное/ нематериальное)	1 термин: *bien*, но означает и зло, и болезнь
Влияния	Христианское	Античное
Человек	Активен: давать, прощать	Пассивен: иметь

ЗЛО/MAL

Базовые признаки	Русская ментальность	Французская ментальность
Источник	Кривой, враг, Мара	Плохой, дьявол
Актуальные взаимосвязи	То, что хочет причинить вред	То, что мучает
Образ	Сорняк, холод, мрак	Сорняк, дракон
Членение	1 термин: зло	1 термин: зло
Человек	Активен	Активен
Влияние	Христианство	Христианство

Влияние этих ключевых представлений, как мы увидим далее, ощущается во многих смысловых полях и среди самых разнообразных понятий.

Библиография

1. *Иванов В. В.* Близнечные мифы // Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980. Т. 1. С. 174—176; а также *Штенберг Л. Я.* Античный культ близнецов в свете этнографии // Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936.
2. *Кузнецов Б. Г.* Эволюция картины мира. М., 1961.
3. *Уемов А. И.* Истина и пути ее познания. М., 1985.
4. *Иванов С. А.* Византийское юродство. М., 1994.
5. *Smith G. E.* The evolution of the dragon. Manchester, 1919.

Глава седьмая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ ОБ ИСТИНЕ И ЛЖИ

Истина, правда/ложь, обман характеризуют не этически-поведенческие аспекты человеческой жизни, но когнитивные. Это означает, что эти понятия отражают *представление* о том, как выглядит в культуре, живущее в пространстве соответствующего языка (русского и французского в нашем случае), *представление* о знании и незнании чего-то, о пределах этого знания.

Категории *истины*, *истинного*, как и *ложного*, также по-разному трактуются на протяжении развития европейской цивилизации представителями различных философских течений (1): так или иначе, но истина есть знание, и вопрос лишь в том, кто может обладать ею и в какой форме — Бог, человек или природа. Идея познаваемости/непознаваемости мира, непосредственно примыкающая к представлениям о специфичности истины со времен античности, делит не только философов, но и обычных граждан на два лагеря: одни полагают, что они знают или могут знать истину в отношении чего-либо, другие уверены, что нет и истина является предметом специального знания. От этого последнего соображения возникла в современной цивилизации мифология, представляющая научное познание как процесс поиска истины, структурированный, пошагово описанный, как бы выверенный в веках и сверенный с когнитивными техниками, выдающими себя за когнитивные идеалы. Дедукция, индукция, эксперимент, статистика, экстраполяция и так далее — все это приемы современного научного метода, на сегодняшний день являющиеся догматами, не подлежащими обсуждению. Такой взгляд на вещи так или иначе связан с нашими (европейскими в широком смысле слова) представлениями о характе-

ре истины, закрытой, спрятанной и подлежащей выявлению только с помощью вот такого особенного скальпеля (или консервного ножа).

Мы не отыщем понятия «*ложь*» ни в одной философской или мифологической энциклопедии. Это весьма удивительно, ведь если представлено понятие истины, логично представить и понятие лжи. Этот пробел восполняют логические словари (2), где *истина* и *ложность* представляют противоположные категории, доводя эту пару до уровня бинарного противопоставления и возводя ее в ранг древней близнечной оппозиции. При этом очевидно, что эти понятия выступают в этой бинарной системе несамостоятельно, а как продолжение глобальных членов противопоставления — добра и зла. Так, истина явно лежит в плоскости добра, а ложь, даже на образном уровне ассоциированная с искажением, кривым зеркалом, лежит в плоскости зла (вспомним, что зло нередко ассоциируется в культурах с кривизной).

Оформление понятия ложности, лжи в логике на уровне термина — первый, но недостаточный шаг для оформления целостного концепта в языке. Пока это понятие само по себе не развило должной системы связей с другими абстрактными концептами (как, например, это произошло у слова «*заблуждение*») и образами. Но многие языки, в том числе и русский, уже демонстрируют готовность, как мы увидим, принять *ложь* в пантеон и уделить ей достойное место.

Рассмотрим русские понятия *истина*, *правда*/*ложь*, *обман*, описывающие понятийно гнездо, о котором мы говорим.

Истина — достоверное знание, объективное знание, недоступное человеку, но лишь высшему началу, связано со староставянской *истиной*, обозначавшей «правду, верность, законность». В «Судебнике» 1497 года, своде русского государства, слово *истина* встречается в значении «основной, без процентов капитал», производно от *истый* — подлинный, действенный, настоящий. Это суть, квинтессенция русского понятия «*истины*»: истина — это то, что есть, то, что можно предъявить, уже отмечено у Даля. Даль комментирует это значение так: истина — наличные деньги, то есть не мнимое, оборотное или долговое богатство, а истинное, наличное.

Отмечает Даль еще один любопытный факт: истина, по его словам, — «все, что подлинно, точно справедливо, ныне слову этому отвечает и правда, хотя вернее под словом правда понимать правдивость». Истина, поясняет он, от земли, а правда с небес. То есть, если сопоставлять реальность, описанную Далем, с сегодняшней, то они принципиально не совпадут, ведь сегодня именно *истина* — высшее, небесное знание, а *правда*, как мы увидим, это то, что видно и известно смертным людям.

Это в полной мере подтверждает современный исследователь, известный лингвист Н. Д. Арутюнова: «Концепт истины противопоставляет идеальный и материальный миры, используя следующие признаки:

вечное/временное (пребывающее/преходящее),
неизменное/изменчивое (твердь и хлябь),
ненаблюдаемое/наблюдаемое (ноумен и феномен),
подлинное и мнимое.

Первые — немаркированные члены этой оппозиции — образуют концепт истины... Истина статична. Она существует в вечности. Она отвлечена от осей времени и пространства» (3). По отношению к определению, данному Владимиром Далем, верна только последняя оппозиция (подлинное/мнимое), а все остальное вполне можно было отнести, если говорить о «его» реальности, к правде, на протяжении столетий считавшейся высшей и небесной сущностью, будучи результатом правильного, праведного Божьего суда.

В «Голубиной книге» (XII—XIII век) читаем: «это не два зверя собиралися, не два лютые собегалися: это Правда с Кривдой соходилися. Промежду собой они бились-дрались. Правда Кривду одолеть хочет. Правда Кривду переспорила. Правда пошла на небеса... А Кривда пошла у нас вся по всей земле» (4). Из этого текста мы видим, что на протяжении многий веков именно *Правда* была небожительницей, а отнюдь не *истина*.

Такая перемена в распределении коннотации «высшее/не высшее» кажется нам вполне понятной и связанной с представлением о высшем в предыдущие эпохи и в настоящее время. В дорационалистическую эпоху высшее ассоциировалось с сильным государством, во главе которого находился Государь-Бог (5), одна из основных функций которого судить и карать (творить высший суд), в современную эпоху, представляющуюся как эклектическое смешение мистического и рационального, высшее ассоциируется как инвентарь абсолютов, статичных и неизменных, список непостижимых аксиом и законов, а отнюдь не как некое государство, возглавляемое царем-монархом-императором-Богом.

Но определение *правды* осталось прерогативой суда (свидетель как и подсудимый клянутся «говорить правду и только правду»), высшая цель которого все-таки в определении *истины*. Этот последний употребленный контекст подводит к описанию различий между понятиями *правды* и *истины* в современной русской ментальности, которые убедительно описаны также в одной из замечательных статей

Н. Д. Арутюновой «Истина: фон и коннотации» (6). Мы присоединяемся в изложенному в работе анализу, основные тезисы которого сводятся к следующему.

1. В русском языке понятие истины распределено между двумя словами — *истина* и *правда*.

2. Понятия истины и правды связаны с осознанием человеком двойственности бытия, с противопоставлением *mundus sensibilis* и *mundus intelligibilis* — постигаемое чувством и разумом.

3. Разделение истины и правды связано с принципиальным различием в природе соотносительных миров, один из которых принадлежит к реальному, другой — к идеальному плану.

4. Истине приписывается свойство вечности: временных истин не бывает.

5. Из признака вечности вытекает модальность необходимого существования. Истина неизменна, и это имплицирует ее тождественность самой себе.

6. Понятие истины связано с религиозным сознанием: истина совершенна и целостна. В рамках религиозного сознания истинное противопоставляется не ложному, а недолжному.

7. Об истине говорят в терминах религии и в терминах права. Религиозная истина достигается откровением, эпистемическая — открытием, судебная — раскрытием. Существует два представления об истине — религиозное и эпистемическое.

8. Истина, выраженная суждением, всегда может быть оспорена. В эпистемическом контексте понятие истины становится реляционным. Истина превращается в истинность. Она противопоставляется ложному.

9. Проекция божественного мира на жизнь и речевую деятельность людей называется словом *правда*. *Правда* — это отраженная истина, преломившаяся в бесконечном количестве граней жизни. Мы говорим *жизненная правда*, *правда жизни*, но не **жизненная истина*. Правда касается только одушевленного мира.

10. Истина едина, правда множественна и у каждого своя. К правде легко переходят характеристики человека (*босая правда*, *наша правда пахнет водкой* и пр.)

11. Конечность — свойство истины (истина в последней инстанции), но не правды.

12. Разные *правды* вступают в противоречие и может возникать война между ними. Истину проповедуют, за правду сражаются.

13. Правда ассоциирована со слабейшими, с обездоленными (можно сказать *правда народа*, но не **правда дворянства*). «За правду!» — девиз восставших, защитники устоев борются под другими лозунгами. Правда превращает «врагов против» во «врагов за». Истине служат жрецы религии и науки, правде — борцы и защитники угнетенных. Стихия истины — борения духа, стихия правды — социальная борьба.

14. Правда перетягивает на себя не только характеристики человека, *но* его жизни (солдатская правда, тягостная правда), но это возможно лишь в случае их негативных оценок.

15. Истина, сокровенна, правда — часто укрываема. Истина — тайна, хранимая миром, правда — секрет, хранимый человеком.

16. Правда подразумевает только конкретные высказывания, истина — только общие.

17. Правда нравственна, но не нравоучительна, истина может быть нравоучительной.

Мы хотели бы акцентировать значимость судебного контекста, судебной практики, как в истории формирования этих понятий, так и актуальной практике их употребления. Истина — это то, что говорит судья, объявляя приговор, а правда — это то, что говорят свидетели. Каждый из них располагает то, что ему известно, в разных системах координат. Судья соотносит доказанные факты с абстрактной системой оценки, а свидетели попросту излагают, пересказывают обстоятельства такими, какими они их запомнили. Обстоятельства становятся фактами, только когда они доказаны. Отличие факта от обстоятельства, от воспоминания о событии, даже при намерении говорить только правду, принципиальное. Установление фактов предполагает определенную процедуру: через овеществление (через истину в далевском смысле) — к факту, к локальной истине. Благодаря судебной практике, такой разной у разных народов, мы имеем в языка многие понятия, которые сегодня относятся к когнитивной сфере: причина, следствие, факт, истина, правда и др.

В русском языке слово *истина* имеет следующую сочетаемость:

найти, *открыть*, *достичь*, *постичь*, *познать*, *знать*, *подтверждать*, *понимать истину*;

свет истины, *истина озаряет*;

истина рождается в споре;

докопаться до истины, проникнуться истиной;

искания, поиски истины;

истина скрыта, находится где-либо, открывается кому-либо;

старая, прописная, избитая, азбучная банальная, пошлая, надоедливая, навязшая в зубах, плоская, бездарная и пр. *истина.*

Из приведенной сочетаемости отчетливо видны две вещественные коннотации понятия «*истина*»:

1. Клад (искать, откопать, найти, открыть и так далее) — отсюда образ открытия.

2. Книга, учебник, священное писание, учитель (старая, прописная, плоская) и пр.

Первая коннотация «клад» имеет богатый источник в индоевропейских мифологиях, связанный с мотивом сокрытости познания (Адам и Ева, царь Эдип и так далее узнавали то, что не должны были узнать, за что были наказаны). Мотив преследования человека за своевольное постижение истины связывается некоторыми исследователями с мотивом узурпации человеком неположенного ему в более широком контексте. Так, в своем «Сравнительном словаре мифилогической символики в индоевропейских языках» (ССМС) М. М. Маковский отмечает связь слов со значением «истина» со словами, имеющими фаллическое значение, то есть с древнейшим пластом верований, уравнивающих сексуальное и сакральное.

Мы будем подробнее анализировать этот образ позднее в главе, посвященной основным мыслительным категориям, а сейчас отметим только тот факт, что в образном плане понятие истины коннтотировано так же, как и многие слова из группы, описывающей когнитивное поле.

Вторая коннотация — книга, учебник — привязана к системе образования, тиражирования принятого набора установлений. Неизменность «практических истин» часто вызывает негативную оценку человека, повторение одного и того же связывается с образом пережевывания — действие монотонное и при чрезмерности неприятное: все навязшее в зубах — лишнее и надоевшее. «Избитая» в значении «изношенная» (ср. избитые каблуки), а также «плоская» истина подчеркивают присутствующую в языковом сознании идею старения, изнашиваемости истины со временем, что противоречит ее философской интерпретации. Негативно-оценочные прилагательные, сочетающиеся со словом «*истина*», открывают двойственное отношение человека к неизменяемому — привыкание, пресыщение, отвращение, но также

и спокойствие, уверенность. Некоторые признаки истины — «надоедливая, бездарная» — явно перенесены на нее из образа учителя — это он бездарен, надоедлив, назойлив, плосок и так далее.

«Свет истины» означает расположение ее над, на небе, приписывание ей божественной сущности.

Выражение «истина рождается в споре», очевидно, является заимствованием из европейского словообращения, в свою очередь почерпнувшего эту сентенцию у античных авторов.

Слово «*правда*» этимологически связано со словом *право* (Фасмер, Даль), с отправлением суда, с честностью и справедливостью. Даль указывает на специальное значение слова «*правда*», обозначавшее «пошлина за призыв свидетеля к допросу», а также определял его как «истину на деле, в правосудии, в справедливости». Для нас важна близость слова «*правда*» со словом *правый*, исконно, в противоположность понятию *левый*, обозначавшим «сильный (сравни — *правая рука*), правильный, прямой». Такие ассоциации имеют, как мы уже говорили, индоевропейские истоки, находя отклики в Ригведе, в древнегреческом предправе в виде противопоставления двух правд — двух Дике, отразившихся в древнегреческой трагедии.

Слово «*правда*» в русском языке имеет следующую сочетаемость:

правда жизни, *жизненная правда*;

у каждого своя правда;

сермяжная, *солдатская*, *крестьянская*, *рабочая* и пр. *правда*;

высшая, *истинная правда*;

правда пахнет потом, *водкой*, *раскаяньем* и пр.

голос правды, *слышать голос правды*;

сказать, *открыть правду*;

чинить суд, *издеваться над правдой*, *втаптывать правду в грязь*, *удушать правду* и пр.

искать правду, *жить со своей правдой*;

смотреть правде в глаза, *правда глаза колет*;

бороться за правду, *отстаивать*, *защищать правду*, *жертвовать собой или чем-либо во имя правды*;

правда торжествует, *побеждает*;

горькая, *тягостная*, *жестокая*, *трагическая*, *унылая*, *неутешительная* и пр.

свет правды, *солнце правды*, *луч правды*, *сияние правды*;

приукрашивать правду, *рядить правду в какие-либо одежды*;

чистая, *истинная правда*.

Из приведенной сочетаемости мы видим, что *правда* в русском языке мыслиться как:

1. Девушка из низов. Это понятие персонифицируется в женском образе, она у каждого (не у каждой) — своя, каждый живет со своей правдой, она наделена голосом, слаба и нуждается в защите, в борьбе за нее, может приукрашиваться и рядиться. В сочетаемости этого слова есть множество контекстов, развивающих образ несправедливо угнетаемой девушки из низов, за которую борются, заступаются.

2. Вторая очевидная коннотация — жидкость, имеющая горький вкус. В этом смысле *горькая правда* часто описывается в языке как лекарство, которое надо принять с благотворной целью. В этот же стереотип ложится «откушать правды, откушать фундаментальных истин». Прилагательное «*чистая*» ассоциирует *правду* с веществами, в которых обычно присутствуют примеси.

3. Светило, которое, как правило, светит угнетенным — с нюансом, отличающим это понятие от понятия «*истина*», которое сияет вечным божественным светом.

Теперь рассмотрим русское слово и понятие «*ложь*».

Традиционно в русской лексикографии ложь понимается как намеренное искажение действительности, как сказанная или написанная неправда, как реализация намерения ввести в заблуждение (СРЯ). Таким образом, ложь мыслится синонимично обману, сказанной неправде. Однако из описания значений слов *истина* и *правда* явственно вытекает различие их значений, и было бы логично предположить, что не только у слова *правда* есть антоним (*обман*, *ложь*), но и у *истины* есть антоним (*ложь*). Мы уже говорили о том, что описываемые антонимические пары восходят к древнейшим близнецовым мифам и в полной мере отражают особенности человеческого мышления познать мир через противопоставление. Если мы будем считать ложь исключительно антонимом правды и связывать ее лишь с особенностями неких речевых актов, то понятие истины останется без непременно предполагаемого антипода близнеца — лжи.

Истина в современной трактовке божественный атрибут, судебный вердикт, *ложь*, намеренное введение в заблуждение всего рода человеческого — атрибут дьявола. Мы часто говорим о ложной видимости вещей, заставляющей людей вести себя неправильно, таким образом, лгать может не только человек, но и весь бренный мир, о чем говорит в своем знаменитом высказывании Тютчев: «Мысль изреченная есть ложь». Из этого и других контекстов становится очевидно, что ложь не обязательно связана с намереньем обмануть, но может ха-

рактеризовать любое, даже непроизвольное проявление мира и человека. Отпавшие от Бога живут во лжи, говорят нам христиане, однако не только во лжи словесной, но и во лжи вселенской (Быт. 26).

В эпистемическом плане ложное связано с заблуждением, которое, возвращаясь к религиозной точке зрения, — от дьявола, от извечной несовершенности человека, коренящейся в его природе, а отнюдь не только в намерениях.

Действительно, слово *истина* не связано этимологически ни с каким глаголом, как и слово *правда* (*оправдывать* означает не «говорить правду», а «снимать с кого-либо обвинение»). *Правду* можно говорить, однако глагол *говорить* не приоткрывает нам особенностей этого понятия: говорить можно многое. У существительного *ложь* есть глагольный корреспондент — *лгать*. Интерпретации этимологии существительного *ложь*, связывающие его с глаголом *лежать*, в русской науке рознятся. Так, например, И. М. Степанова в своем докладе «Коли не ложь — так правда» (7) утверждала, что *ложь*, будучи именным образованием от глагола *лежать*, этимологический связана с идеей «лежать на поверхности», «скрывать под собой правду». Более традиционный взгляд на материнскую идею, связанную с понятием *лжи*, идет от значения этимона «лежать, быть больным, слабым». С нашей точки зрения, болезнь, слабость, поверженность, положение лежа фиксирует победу низшего над высшем, показывает присутствие в лжи компонента «дьявол», делая ее синонимом зла.

По-русски слово «ложь», употребляют так:

погрязнуть во лжи, *утонуть во лжи*, *захлебнуться во лжи*, *утонуть*, *стихия лжи*, *море лжи*;

уличить во лжи, *изобличить во лжи*, *поймать кого-то на лжи*, *наказать кого-то за ложь*;

что-то может содержать в себе элемент лжи; *что-либо может быть замешано на лжи*;

ложь может быть постыдной, *возмутительной*, *бесовской*, *наглой*, *гнусной*, *невинной*, *во спасение* и пр.

Сочетаемость слова *ложь* с некоторыми прилагательными указывает на этический аспект лжи, трактует ложь как нечто предосудительное, негативное, наказуемое. При этом существует представление о лжи во благо, оправдываемой и спасительной.

Неизбежное уличение во лжи отражается и в поговорке «все тайное станет явным», и во многовековой традиции наказывать ребенка за ложь. Это же подтверждается и соответствующей глагольной сочетаемостью — уличить во лжи, поймать на лжи и пр. Дифференциация лжи

на спасительную и преступную связано, очевидно, с природой мотива, которым руководствуется лгущий — если он лжет во благо себе, это дурно, если во благо другому, то его ложь может быть и оправдана.

На образном уровне ложь овеществляется как вода, причем как вода плохая, опасная. В славянской и многих других культурах и мифологиях содержится представление о живой и мертвой воде (8). Живая вода движется, она животворит, мертвая вода статична, она губит. Ассоциация лжи с болотом, затягивающим, засасывающим, в котором можно *погрязнуть*, на мутной водице которого можно нечто *замешать* — богатый образ, резюмирующий многие другие представления не только русского, но и шире — индоевропейских этносов.

Так, понятие правды, честности во многих культурах и языках связаны с идеей ясности. Когда объяснение, рассказ, речь понятны и русские, и французы, и немцы, и итальянцы, и англичане говорят — *ясно* (*ясно*, *claire*, *clear*, *ciaro* и так далее).

Туманность, мутность, непрозрачность как в воздухе (*напустить тумана*, *смутно понимаю*), так и в воде символизируют нечистоту повествования, присутствие в нем нечистого намерения, за которым стоит искушение или иное зло.

Активность болота-лжи лишний раз подчеркивает ту мысль, что ложь — не просто стоячая, зловонная, опасная вода, но затягивающая сила, не даром на болотах, в русской мифологии, водятся и черти, и леший, и кикимора.

По развитию образа, *ложь* — это также грязь, в ней можно *испачкаться*, ею можно *запятнать себя*. Грязь — это универсальный образ, связанные с черным, чернотой, мраком, злом.

Отсюда и различие между *неправдой* и *ложью*. Мы не можем сказать **гнусная*, *подлая*, *бесовская неправда*, *погрязнуть в неправде*, *наказать за неправду*. Но все эти понятия прекрасно сочетаются со словом «*ложь*».

Русское слово *обман*, трактуемое в современном языке как сознательное введение кого-либо в заблуждение, высказанная неправда, связывается со злым умыслом и злой волей человека. Подобная трактовка не вызывает у нас возражений с двумя уточнениями: обманывать может также и все персонифицируемое, например погода, примета, поскольку обман может быть непроизвольным, то есть не злонамеренным. Поэтому обманывать можно и себя самого. Самообман связан с иллюзией — словом, не имеющим отрицательной коннотации и скорее трактуемом в русском сознании как проявление мечтательности и личностной слабости.

Даль предлагает такие синонимы для слова *обман* (ТС): *хитрость, лукавство, двуличность*, то есть трактует *обман* как некую поведенческую тактику, негативно оцениваемую современной ему моралью. В приведенных им контекстах выявляется инструментальность *обмана*: *ловец обманом берет, обманом города берут, от обмана не уйдешь.*

В современном языке иструментальность обмана видна из его сочетаемости.

По-русски мы говорим:

добиться чего-либо обманом;

совершить, обнаружить, раскрыть, разоблачить обман;

пойти на обман; *решиться на обман*;

наказать за обман;

обман явный, бессовестный, наглый, подлый, коварный, сознательный, невольный и пр.

Прилагательные, сочетающиеся с этим словом, показывают как негативную оценку обмана с точки зрения существующей морали, так и явный перенос этой оценки с человека на совершаемое им действие. *Обман* — уже действие, причем не замыкающееся на словах, мы видим это из невозможности сочетания слова *обман* с глаголами речи. *Обман*, порожденный словами или поступками, — содеянное, противопоставляемое словесному как легкому, неуловимому, несерьезному (именно так трактуют слова в бытовом сознании, в отличие от ученых-лингвистов, разрабатывающих теорию речевых актов (9). *Обман* нельзя сделать, его можно только совершить, на него можно пойти — и тот и другой глагол подчеркивают важность предпринимаемого действия с точки зрения внутреннего арбитража человеческой совести. *Обман*, связанный с манипуляцией материальными ценностями, уголовно наказуем.

Ложь же в своем максимально широком значении — свойство бренного мира, выражается в видимости или в словах, и не преследуется по государственным законам, а только по человеческим.

Сравним полученные нами представления о *лжи* в русском менталитете с французскими представлениями, выраженными в антонимических парах *bien/mal, vérité/mensonge.*

Переводческая практика свидетельствует о том, что французское *vérité* (n. f.) очевидно соотносится с русской *правдой*, поскольку сочетается также, как русская правда, с глаголами речи, а в выражении *c'est vrais* — «это правда» — используется однокоренное прилагательное. По всей видимости, целостного отдельного понятия *истины*, как и всего сопровождающего ее комплекса идей, описанных нами

ранее, во французском языке нет. Для выражения библейского смысла французы используют словосочетание *Vérité absolue*, пишут его с большой буквы, сохраняя при этом существенные компоненты значения слова *vérité*.

У французского слова *verite* (n. f.) существует такой аллегорический корреспондент, описанный Чезаре Рипа:

«Правда — это очень красивая обнаженная женщина. В правой поднятой руке она держит сияющее солнце, в другой — книгу и пальмовую ветвь. Под правой ногой у нее земной шар.

Правда — обиталище духа, не расположенного искажать язык права, а расположенного соответствовать вещам, о которых она говорит и пишет. Она утверждает только то, что есть, и отрицает то, чего нет, не замутняя мысли. Нагота ее показывает присущую ей естественность. Солнце указывает на то, что правда — подруга света. В открытой книге — зафиксирована правда о вещах. Пальмовая ветвь символизирует силу, пальма не сгибается от ветра и веса, так и правду нельзя согнуть, хотя многие стараются это сделать. Также правда символизирует и ее победу. У правды столько сил, что она побеждает все людские мысли. Земной шар под ногами ее означает, что она выше мира.

Правда живет на небе среди богов».

Из приведенного описания мы видим, что *vérité* связана с речью и письмом, что она естественна и открыта, что она борется с людскими намерениями исказить ее, что она выше мирских помыслов, стремящихся исказить ее, и сильнее их. Она живет на небе, среди богов, однако не является прерогативой одного единственного бога, это высшее, но не абсолютно высшее начало.

Это описание показывает нам, что французская *vérité*, как и русская *правда*, была некогда небожительницей, а также что ее «первоначальная» нагота оставила след во многих языках и культурах.

Французское слово *la vérité* произошло от латинского *verita*, *veritatis*, означавшего «правда, реальность, законы права». Это старое заимствование, однако современная форма этого слова установилась лишь в эпоху Возрождения. С конца X века этим словом обозначали мнение, соответствующее реальному положению вещей, и противопоставляли erreur. Затем у слова развился более общий смысл: соответствие идеи объекту, рассказа факту, слова мысли. С конца XV века vérité употребляется с общим смыслом «реальность». С XVIII века к описанному смыслу добавляется еще один: искренний пересказ того, что человек видел, знает.

Слово *vérité* в современном языке означает правдивый пересказ реальности, или же мысль, соответствующую реальности. Таким образом, *vérité* — не сама реальность, пускай даже высшая, как это имеет место в русском языке, а человеческая функция, эквивалент правды.

Слово *vérité* так употребляется в современном французском языке:

chercher, prétendre à, posséder, révéler, découvrir, démêler, engager, discerner, rétablir, confesser, avouer, reconnaître, traduire, défendre, illustrer, propager la vérité;

voiler, farder, déguiser, cacher, saisir, aimer, craindre, avoir peur de, écouter, oublier la vérité;

donner une contorsion à la vérité, écorcher la vérité;

du choc des idées jaillit la vérité;

etre épris, pénétré de vérité;

la vérité apparaît, éclate, offense, blesse, se trouve; *dire ses quatre vérités*;

les vérités absolus supposent un;

etre absolu comme elles;

amour, besoin, souci de vérité;

parcelle de vérité;

une vérité imparfaite et privisoire;

une vérité grosse, utile, profonde, incontestable, flagrante, patente, sencible, palpable, nue, vieille, connue.

Слово *la vérité* входит в такой синонимический ряд: *lumière, verbe, lucidité, sincérité, exactitude, justesse, valeur, vrassemblance, certitude, conviction.*

Из приведенной сочетаемости мы видим, что *vérité* во французском языке имеет множество коннотаций. Среди них основные следующие:

1. *Vérité* как текст. Ее можно переводить, иллюстрировать, слушать, говорить.

2. *Vérité* как женщина и просто одушевленное существо. Ее можно приукрашивать (накладывать макияж), рядить, любить, заботиться о ней, оскорблять ее, бояться, прятать, она может быть толстой и полезной, разумной, осязаемой и пр.

3. *Vérité* как спрятанная или смешанная с инородным веществом субстанция: ее можно отделять, обнаруживать, у нее может быть частичка и пр.

4. *Vérité* как дерево: с нее можно сдирать кожу и скручивать.

5. *Vérité* как жидкость: она может брызгать, как струя воды, из столкновения идей, ею можно пропитаться.

Синонимический ряд, в который входит *vérité*, показывает нам, что она мыслиться через субъективные ментальные характеристики человека и связана прежде всего с его разумом и желанием говорить искренне.

Сочетаемость слова *vérité* показывает нам, что это понятие имеет положительную коннотацию, часто встречается со сниженными глаголами и прилагательными (*grosse*, *farder*), характеризует мирскую человеческую ипостась (*vérité imparfaite et provisoire*), связана с общением, социальной жизнью, но не борьбой, воспринимается человеком как внешний предмет или персонаж, с которым, впрочем, никак не идентифицируется. Отметим также, что описанный у Чезаре Рипа образ, по всей видимости, характеризует высший философско-теологический взгляд на *vérité*, отражающий лишь фрагменты бытовой образной конкретизации. Контексты, персонифицирующие *vérité* в качестве агрессивной силы, немногочисленны, французская *правда* может ранить и оскорблять, но дальнейшего развития «воинствующего» образа *vérité* не произошло. Осталась также сочетаемость этого слова с глаголами, идентифицирующими его со светилом (появляется, озаряет), но это также скорее рудименты некогда существовавшего образа, нежели целостный, осмысливаемый как живой образ в рамках современного языкового сознания носителей французского языка.

Представление понятия «*правды*» через субъективное отражение реальности в противовес объективному во французом языке выражено смазано. Русское выражение «у каждого своя правда» предпочтительно перевести как *Chacun a ses raisons* — «у каждого свои причины». Можно сказать и *A chacun sa vérité*, однако первый вариант перевода значительно частотнее и предпочтительнее.

Mensonge (n. m) — антоним *vérité*. У Чезаче Рипа находим следующий аллегорический образ этого понятия:

«Молодая уродливая женщина искусно разодетая, одежды на ней переливчатого цвета, она вся размалевана, так как стремится скрыть себя за ложной видимостью. Она хромонога, так как одна из ее ног — деревянная. В левой руке она несет вязанку горящего хвороста.

Она так разодета, потому что утверждает то, чего нет, создает пустую видимость. Переливчатость символизирует непостоянство лжи. Горящий хворост — быстрота ее жизни: быстро зажигается и быстро гаснет. У нее короткие обе ноги».

«Хромота» — признак, характеризующий несовершенное рассуждения или знания как во французском, так и в русском языке. Хромота сразу видна, хромота свидетельствует о ненадежности опоры, хромо-

та сопряжена с уродством, отсутствием целостности и является одной из портретных характеристик дьявола. Колченогий и другая нечесть, несовершенство, дефектность которой мы также часто ассоциируем с хромотой. Мы часто говорим: «твои знания хромают» или «он хромает по математике». Мотив хромоты в мифологии связан с образом кузнеца-Гефеста, а также с сатаной, которого часто воображали гостящим у живущих на отшибе кузнецов (МС).

Это перенос сдержит в себе, возможно, каузальный намек: ложь от дьявола, как и плохое знание, недостатки.

Слово *mensonge*, вероятно, было заимствовано из народной латыны (**mentionica*), в которую в свою очередь пришло из поздней латыни (*mentio* — «обман»). Это слово, зафиксированное в VI веке, кажется продолжением классического латинского *mentio* — *mention*, развившегося через смысл «лживое упоминание» — *mention mensongere*.

До XVII века это слово было женского рода, что объясняет тот факт, что у Чезаре Рипа *mensonge* — женщина. С XIII века слово обозначает утверждение противное правде, произведенное с целью обмана, чуть позже у него появляется и более общий смысл — акт лжи. В современном языке остались еще какие-то следы средневековой классификации лжи, в которой выделялись *mensonge par omission*, *mensonge effectif*, делающаяся при помощи утверждения, *mensonge joyeux* («ложь в шутку», теологический смысл), *mensonge officieux* («неофициальная ложь») и *le pieux mensonge* («ложь во спасение»), *mensonges pernicieux* («вредоносная ложь»). Эти выражения продолжают активно существовать в языке и поныне. По расширению значение слово это обозначало все иллюзорное, обманчивое (с XII века), продолжая принятое в античности смешение между ложью и воображением (10). Именно поэтому mensonge употреблялось для обозначения фикции в искусстве.

Отметим также, что смешение обмана и вымысла — первого, связанного с намерением обмануть, второго, не связанного с намерением корыстно обмануть, но, возможно, и даже просто развлечь — в силу своих античных истоков нашло свое отражение во многих европейских языках.

В современном французском языке выделяются четыре значения у слова *mensonge*:

1. Утверждение, по воле его автора противоречащее правде, произнесенное с целью обмана.

2. Акт лжи, совершение подделки, подлога, обмана.

3. Иллюзорность искусства.

4. То, что обманчиво, иллюзия.

Слово *mensonge* не богато сочетаемостью. По-французски говорят:

tissu de mensonge;
bourrer le cerveau de qn de mensonges;
prendre qn en mensonges;
vivre dans le mensonge;
esprit de mensonge;
père du mensonge;
mensonge gros, grossier;
mensonge nait, grandit, grossit.

Из приведенной сочетаемости мы видим, что *mensonge* имеет во французском языке ряд ассоциаций, которые не слишком разработаны и укреплены количественно, однако в том виде, в котором они существуют, они закреплены достаточно надежно. Ассоциирование лжи с тканью есть и в русском языке, а если учесть, что образ ткани — один из древнейших, то, очевидно, имеются аналогии и в других языках (11). Мы говорим, «*это шито белыми нитками*», подразумевая, что обман слишком хорошо виден.

Ассоциация обмана с пищей также представляется более или менее универсальной, и не только обмана, но всего понятийного гнезда (вымысел, иллюзии): ср. *соловья баснями не накормишь*; *он меня кормит завтраками*; *у меня твоя ложь вот где* (жест, обозначающий *сыт по горло*) и так далее.

Сочетаемость французского слова позволяет в нем увидеть и антоним русской *истины*, то есть высшего когнитивного начала. На него указывают словосочетания «*жить во лжи*», «*дух лжи*», «*отец лжи*» — все это контексты, представляющие ложь отнюдь не в качестве человеческого речевого акта, а в качестве проявления высшего зла.

В этой логике понятно одушевление *mensonge* — у нее есть отец — дьявол, она может рождаться, расти, толстеть. И в продолжение описанного аллегорического образа она может также и подхрамывать.

Отметим, что в данном случае мы столкнулись с ситуацией, когда данные словарей и данные, полученные из сочетаемости, противоречат друг другу: сочетаемость дает возможность увидеть высшую и абстрактную *mensonge*, аналогичную русской *лжи* — абсолюту. Мы считаем, что эта двойственность во французском языке является результатом сосуществования христианского мифологического и рационалистического мировоззрений: первое продолжает жить в образной системе, второе — в словарных дефинициях.

Сопоставительный анализ представлений французов и русских о правде и лжи

Мы рассмотрели следующие русские и французские слова, описывающиеся в терминах высшее, внешнее, влияющее, неконтролируемое, базовое, абсолютное, категориальное: *добро*, *зло*, *истина*, *правда*, *ложь*, *обман*/*bien*, *mal*, *vérité*, *mensonge*.

Это описание продемонстрировало следующее.

Истина, понимаемая в русском языке как высшее абсолютное знание, — объект интеллектуальной и целеустремленной деятельности человека. Отношения ее с человеком стоятся по модели «прятаться — искать». *Истина* в русском языке мыслится скорее неодушевленно, имеет коннотацию «*светило*». Контексты, где *истина* одушевляется — периферийны (*истина рождается*).

Правда в русской мировоззренческой модели — это искреннее высказывание, адекватно отражающее действительность, а также сумма абстрактных человеческих представлений о справедливости, которая, как правило, попирается. Она персонифицируется в женском образе низкого происхождения, слаба, нуждается в защите. За образом *правды* в русском языковом сознании закреплена идеи страдания, борьбы обиженных за восстановление своих прав (характерно именование российской газеты коммунистической партии именно этим словом — «*Правда*»).

Слово «*ложь*» имеет два значения, одно из которых не выделяется словарями. *Ложь* — это антоним истины и злонамеренный обман при помощи высказываний. Первое значение выводится из сочетаемости. Основные коннотации *лжи* — *водная стихия*, *жидкость*, *грязь*. *Ложь* в русском языковом сознании мыслится неодушевленно, то есть является чьей-то принадлежностью, чьим-то инструментом. В русском смысловом поле, описывающим идею лжи и обмана, присутствует образ *кривизны-левизны*, первоначально ассоциированный со *злом* (см. предыдущую главу), но представлен не прямо (как во французском языке, а лишь в некоторых выражениях и производных словах (*кривотолки*, *кривой аргумент*, *кривое зеркало, искажающее правду* (отсюда *королевство кривых зеркал как царство лжи*), *левое дело*, *левое предложение*, то есть то, что противоречит общепринятым нормам и должно быть скрыто).

Обман — характеристика злонамеренного поведения одного человека по отношению к другому, имеющему своей целью путем введения в заблуждение извлечь выгоду. Это понятие также мыслится

неодушевленно. Сочетаемость его связана с оценкой факта *обмана* с точки зрения действующей морали.

Французское *vérité* (n. f.) связывается в первую очередь с речевой деятельностью человека. У этого слова в современном языке множество коннотаций: текст, женщина, дерево, жидкость. Это понятие положительно коннотировано. Социальная окрашенность понятия, как мы наблюдаем это у русской *правды*, отсутствует. Понятие сочетается с представлением о пользе и благе.

Mensonge (n. m) антоним *vérité*. В связи с тем, что «силы тьмы» описаны во французском языке более активно, чем «силы света» (см. предыдущую главу о добре и зле), мы обнаруживаем у этого слова признаки, позволяющие его трактовать также и как антоним истины — более абстрактного и высшего начала. Повышенный рационализм французской культуры выразился в существующей в языке классификации *mensonge* в соответствии с теми целями, которые ставит перед собой человек. У этого слова обнаруживается также и специфический смысл, связывающий идею обмана с художественным вымыслом. На образном уровне *mensonge* ассоциируется с тканью и с одушевленным существом — порождением дьявола.

В результате сопоставления мы видим, что во французском обыденном сознании не обнаруживается понятие *истины*, а только *правды*. Понятие и образы *правды* существенно различаются в двух рассматриваемых языках. Русская *правда* имеет особый социальный смысл и связана с идеями угнетения и классовой борьбы, французская *правда* не связана с идеями социального «напряжения» и не обязательно горька. У этих понятий также существенно не совпадают и коннотативные поля. У русской *правды* нет коннотации «*текст*», «*дерево*», «*жидкость*». У французской *правды* нет коннотации «*девушка из низов*».

Французское понятие *mensonge* (n. m.) обнаруживает близость к русскому понятию *лжи*, у него имеются и первое, и второе значение русского слова, выявляющиеся преимущественно из сочетаемости. Русская *ложь* ассоциируется с водной стихией, водой, грязью, французская *ложь* — с тканью. И то и другое понятие восходят к идее дьявола, что поддерживается их употреблением в обоих языках. Таким образом, в оппозициях *истина*, *правда*, *ложь*/*vérité*, *mensonge* обнаруживается отчетливый перекос, связанный со специфичностью русского обыденного понятия истины.

Русская языковая картина в это области отчетливо демонстрирует разделение понятийного поля на верх и них, высшее и земное. Пред-

ставление о небесной жизни, где орудует не пантеон богов, а добро и зло, показывает связанность русского сознания в этой области с христианской, а не языческой трактовкой мира. Однако, как мы видели, языческие контексты — как славянские, так и общеевропейские — присутствуют в образной структуре этого понятия. Разделение области знания на высшее и низшее, на истину и правду, идея слепоты человека перед высшим знанием, — все это трактовки библейских образов, отражение ее посылов.

Эволюция образа правды, которая дала нам феномен ее значения в XX веке, — это одно из последствий влияния на массовое сознание социо-культурного смысла, который мы в главе второй назвали «коммунизмом». Конструирование значения и аллегорий, его сопровождающих, представляется прозрачным: правда в том, что народ угнетают, хотя «верхи» обманывают народ и унижают его, лживо убеждая его в том, что на самом деле они пекутся о его благе. Идея лживости власти, манипулятивности власти органично присутствует в русском сознании, располагая всю политическую конструкцию в системе координат «*правда*» и «*ложь*». Произведения Карла Маркса, В. И. Ленина, Л. И. Троцкого наполнены образами лживости власти и образами правды, которая и орудие в борьбе со старым порядком, и ее цель. Проведя наши исследования, мы можем предположить, что эта модель оказалась эффективной в рамках европейской смысловой и метафорической системы именно в силу связи лжи и зла, о которой мы говорили в этой главе. Единственный образный конфликт, который оказался присутствующим в этом образно-понятийно пространстве, — это именование революционеров, борющихся за правду, — левыми, то есть с точки зрения активного и актуального мифа — не-правыми. Многие знают объяснение этого факта, связанного с рассадкой членов парламента в соответствии со своими взглядами на заседании Национального собрания во Франции в 1789 году по правую и левую руку от председателя. Анализировать этот факт можно разнообразно, мы отметим лишь в этой связи, что ассоциирование с левизной все же негативно и очевидно, что именование Ф. М. Достоевским своего романа о левых революционерах «Бесы» не случайно с точки зрения имеющихся в языке и мышлении стереотипических подсказок.

Будучи по сути остатками старых мифов, старых мировоззренческих оппозиций, и русские, и французские понятия, описывающие бинарную оппозицию *правда/ложь*, сохранили многое от древней символики. Образы светила, солнца, плохой воды, грязи, ткани, нити, — все это универсальные метафоры, объединяющие индоевропейское

образно-когнитивное поле в единый глобальный мировоззренческий фрагмент. Например, образ плетения интриг как паутины охватывает все поле так сказать речевого и событийного коварства: *рассуждение, фраза, текст — плетутся*, состоят из нитей, в которых можно запутаться (путы) или запутать. *Хитросплетение* — это логика, образы, которые трудно распутать, а запутаться легко. В этом метафорическом образе мы усматриваем ассоциирование речевого с женским (*плести, заплетать волос, волос длинный, а ум короткий*) и через это часто с ложным, видимым, кажущимся (инвариативно женская красота — соблазн, идущий от дьявола, искушение (12)). Ассоциация речевого с женским кажется особенно мотивированной в свете последних открытий, свидетельствующих о большей развитости речевых зон мозга у женщин, что связано с ее функцией воспитывать детей, да и с просто обыденным представлением о болтливости женщин, о пустословии, которым они часто грешат, и часто небескорыстно. Метафора войны двух начал, света и тьмы, правды и лжи и так далее, также представлена в сочетаемости этих понятий в двух языках, также архаична. Война абстрактных, высших сил предшествует сотворению мира и разделению всего сущего на два противоположных пола, все сущее — часто в мифологических системах воспринимается как результат глобальных противостояний. Из сказанного здесь мы можем сделать вывод, что и русские, и французские понятия восходят к общим мифологическим прототипическим представлениям, связанным с исходным дуалистическим противопоставлением, частью которого является противопоставление, в том числе и мужского и женского. Очевидно, что эти древнейшие мифы продолжают свою жизнь в современном сознании, отбросив в толще времени все то, что плохо согласовывалось с их логикой, в частности ассоциирование истины с наличными деньгами.

В обобщенном виде сопоставление представлений французов и русских об истине и лжи можно представить так:

Представление о истине, правде:

Ключевой параметр	Русский менталитет	Французский менталитет
Источник	1. Правый, право 2. Наличные деньги	1. Реальность 2. Закон
Актуальные взаимосвязи	1. Недоступность 2. Борьба	Ответственность
Образ	Девушка из низов	Воинствующая красавица

Членение ситуации	Два понятия, правда высшая и человеческая, разделение на верх и низ	Одно понятие
Человек	Активен: истину ищет, за правду борется	Активен: делает действия с самой правдой (искажает, приукрашивает)
Влияние	Коммунизм, христианство	Античность

Представление французов и русских о лжи:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Источник	Лежать	Лгать
Актуальные взаимосвязи	Клеветать	Фантазировать, спать
Образ	Болото	Ткань
Членение ситуации	1. Ложь 2. Обман	1. Mensonge 2. Songe
Человек	Жертва (и в случае, если лжет и если является объектом лжи)	Пассивен
Влияние	Индоевропейская мифологическая система	Античность (историческое разделение типов лжи в зависимости от целей)

Библиография

1. *Поппер К.* Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002; а также *Стросон П.* Значение и истина // Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1998. С. 213—230.
2. Словарь логических терминов. М., 1998.
3. *Арутюнова Н. Д.* Истина и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 305.
4. Цит. по Голубиная книга, Славянская космогония. М., 2008.
5. *Одесский М. П.* Поэтика власти на Древней Руси // Древняя Русь, № 1. 2000.

6. *Арутюнова Н. Д.* Истина: фон и коннотации // Логический анализ естественного языка: культурные концепты. М., 1991. С. 21—31.
7. *Степанова И. М.* Доклад «Коли не ложь — так правда». Мат-лы науч. конф. Филология в системе современного образования 22—23 июня 2004 года. Вып. 7. М.: УРАО, 2004. С. 275—282.
8. *Брокгауз и Эфрон.* СПб., 1892. Т. 12. С. 749.
9. *Демьянков В. З.* Теория речевых актов в контексте современной лингвистической литературы (обзор направлений) // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986. С. 223—235.
10. *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 00
12. Мифы народов мира. М., 1991—1992. Т. 1. С. 98, а также *Любкер Ф.* Реальный словарь классических древностей. М., 2001. Т. 1. С. 143—144.
12. *Шейман М. М.* Вера в дьявола в истории религий. М., 1977. С. 354.

Глава восьмая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ О ДУШЕ, УМЕ И СОВЕСТИ

Общие представления об исследуемых понятиях

Линейность человеческого мышления, о которой замечательно писал Анри Бергсон (1), проявляющаяся в частности в стремлении во всяком явлении усмотреть причины и следствия, без сомнения, лежит в основе представлений о наивной анатомии человека.

Обнаружение причин фактов (событий) и процессов всерьез занимало человечество на протяжении всей его истории, именно этой его аналитической склонности мы и обязаны возникновением наук и других объяснительных систем, всегда прежде всего строящих объяснительные модели и ищущих ответ на пресловутый вопрос «почему?». Однако не одна только наука была призвана растолковывать — откуда что взялось, но также, точнее, в первую очередь, миф (религии, верования), опередивший науки.

Интерес человека к самому себе (вспомним знаменитое «познай самого себя и ты познаешь весь мир») сопровождает человека на протяжении всей его истории и столь же интенсивен, как и его интерес к окружающему миру. Именно попыткам ответить на вопросы «почему и откуда появляются мысли?», «почему и откуда появляются чувства?», «почему и откуда появляется настроение?» мы и обязаны возникновением наивной анатомии, созданной при помощи метода аналогии (слезы из глаз, силы от мышц, слова изо рта и пр.) в рамках наивной картины мира.

Безусловно, центральными в наивной анатомии человека для европейской цивилизации являются понятия ума, души и совести как источников рационального, эмоционального и социально-этического.

Поскольку нередко, в частности, во французской картине мира, эти понятия не только разъединяются, противопоставляются, но и во многом пересекаются, мы их объединили в одну главу.

Три вышеназванных понятия мыслятся в наивной анатомии как три воображаемых органа (по мысли Е. В. Урысон (2), таких органов всего пять — душа (сердце), ум (разум, рассудок), совесть, память, воображение (фантазия); мы выбрали три потому, что сочли именно их основополагающими для осмысления минимально значимого наивно-анатомического атласа человека).

Органы наивной анатомии мыслятся как реальные органы. Мы чувствуем их в себе, хотя они скрыты от наших глаз. Человек не может усилием воли (в общем случае, конечно) влиять на работу своих органов, они действуют автономно и не подчиняются ему. И что самое важное — человек жизненно зависит от их работы: болезнь органов, расстройство их функций часто может стоить человеку жизни, поэтому человек, лишенный возможности видеть и влиять, испытывает страх перед таинственностью их работы. Все это в полной мере относится и к воображаемым органам: болезни бывают душевные, умственные и нравственные, такие больные изолируются в больницах или тюрьмах (3). Здесь представлено доказательство: не только мы, но и общество признает тождество наивного и реального, в зависимости от эпохи и географии, дематериализуя реальную анатомию или материализуя мнимую.

Описываемые и сопоставляемые в этой главе понятия — промежуточные по отношению к тем, что были представлены в предыдущих главах, и к тем, что будут нами представлены в последующих главах. Каждое из изучаемых нами понятий в современной трактовке имеет и свою высшую, абсолютную ипостась, являясь свойством и функцией высшего существа (мировая душа, мировой разум, совесть — Бог) и свою реализацию в человеческом существе: душа, совесть, разум — воображаемые органы с нематериальными функциями.

Выделение именно этих трех понятий мотивировано также и возможностью соотнесения их с новейшим мифом — фрейдизмом, выделявшим в структуре личности, как это известно, три уровня, представляющихся аналогичными, — уровень «сверх-я», уровень «я» и уровень «оно». Мы не будем останавливаться на разъяснении этих по-прежнему остающихся в поле зрения социальной моды понятий, а укажем лишь на гипотетическую возможность соотнести «супер я» (высший судья) — с совестью, «я» — с разумом, «оно» — с душой, концентрирующей в себе все эмоциональные начала (4). В этом соот-

несении особого комментария требует явно «натянутое» соотнесение души, в современном понимании возвышающей человека, и «оно», ориентирующего человека вниз, к его гендеру. Душа связывается с духовным, неплотским началом, в то время как «оно» апеллирует именно к его плотской, тварной сущности. В этом смысле душа и «оно» могут быть с полным основанием противопоставлены друг другу. Однако и в «старой» мифолого-этической концепции, оперирующей душой как одной из центральных категорий наивной анатомии, и в «новой», анти-этической, фрейдовской, признающей «оно» сгустком темных первоначальных желаний и также одной из трех составляющих психической личности, именно эти «части психики» соотносятся с чистыми эмоциями (с эмоциями, не связанными с оценкой, такими как стыд, гордость, смущение и пр.) и рассматриваются в качестве органов эмоциональной жизни, при всем различии самой трактовки сути эмоций. Именно этим соображением и вызвана наша ассоциация этих двух столь различных концепций.

Перечисление различных, иногда даже взаимно противонаправленных теорий доказывает принципиальную правильность совершенного нами выбора.

Попытаемся в общем виде охарактеризовать каждое из выбранных нами понятий.

Душа — это религиозно-мифологическое представление, возникшее на основе олицетворения жизненных процессов человеческого организма. Понятие души как бессмертной нематериальной части человеческого существа сложилось у европейских народов под влиянием христианства (5). У неевропейских народов отсутствует представление, эквивалентное этому понятию, они олицетворяют кровь, части тела, органы, чувства (МНМ). Э. Тайлор первый из этнографов исследовал идею души в первобытной культуру и выдвинул анимистическую теорию развития религии из наблюдения явлений сна, болезни, обмороков, смерти и пр. (6). Эти наблюдения привели к возникновению идеи о двойнике, сидящем в теле человека и способном покидать его временно или окончательно. Высказывались и иные точки зрения, отрывавшие представления о душе от первобытного уровня развития человечества и связывающие его с более поздними временами (7). В уже цитировавшемся ССМС мы находим замечательные открытия, связанные с трактовкой понятия души, суть которых сводится к следующим утверждениям.

1. По представлениям древних вместилищем души была птица, которая сама нередко выступала как символ души.

2. Душа могла перемещаться в дерево и в воду.

3. Значение «дух, душа» соотносится со значением «слово» (символ творящего божества).

4. Слова со значением «дух, душа» могут иметь и фаллическое значение.

5. Слова со значением «дух, душа» могут соотноситься со значением «темный», «мокрый».

6. Душа нередко приравнивается ко Вселенной, а тем самым к Числу, которое олицетворяло Вселенную.

7. По поверьям язычников, душа после смерти могла перевоплощаться в насекомых. Значение «насекомое» может также соотноситься со значениями «колдовство» и «чудо».

Античные и славянские мифологические системы определили специфичность трактовки этого понятия в изучаемых нами языках, являясь частными проявлениями описанных М. М. Маковским инвариантов.

Греки считали, что душа человека отлетает через его рот в тот момент, когда наступает смерть. Они изображали это символически в виде бабочки, вылетающей из личинки. Бабочки и личинка — часто используемые символы для аллегорического представления метаморфоз человеческой души (МС). Позже греки использовали крылатую фигуру Психеи (греческое слово, обозначающее «душа»), которую Апулей персонифицировал в своих «Метаморфозах», — мотив, прослеживающийся в раннехристианских религиозных памятниках. Аналогичным образом происходило и наделение человека при его рождении живой душой, принимавшей облик маленькой крылатой фигурки. В античном искусстве этот акт совершала Минерва после того, как Прометей сотворил человека (МНМ). Христианское искусство подобным же образом изображало одушевление Адама Богом (СССИ). Византийское искусство представляло душу в виде обнаженного младенца без крыльев — образ, который утвердился и на Западе. На картинах, изображающих смерть христианского мученика, мы видим душу, отлетающую с губ или поднимающуюся в небо при помощи ангелов (СССИ). Такие аллегорические образы являются универсальными для всего христианского мира. Специфические романские и славянские мифологические и аллегорические представления нами будут описаны дальше, в связи с описанием конкретных понятий соответствующих языков.

Рассудок и *разум* — понятия, хорошо разработанные в европейской цивилизации, — отражают два уровня мыслительной деятель-

ности. До нового времени оба эти понятия трактовались как две способности души, символизировавшей собой все нематериальное в человеке. Рассудок понимался как способность рассуждения, рассудком человек познает все относительное, земное и конечное, разум же предназначен для целеполагания (8), он открывает абсолютное, божественное, бесконечное. Наиболее распространенное и классическое представление о разуме и рассудке выражено в высказывании Иммануила Канта: «Всякое наше знание начинается с чувств, затем переходит к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого в нас нет ничего для обработки материала созерцания и подведения его под высшее единство мышления» (9). Мифологическую разработку этого понятия (обобщенно — «голова») мы находим в уже цитировавшемся словаре М. М. Маковского: «В антропоморфной модели вселенной, — пишет он, — голова считалась центром деторождения, в связи с чем слова со значением "разум, понимание, ум" соотносятся со словами, имеющими значение "родить, половые органы". Интересна следующая цепочка семасиологических связей: голова — солнце — небо — вода — огонь — земля — рука — женщина. Понятие головы связано также с понятием вечности, которое, в свою очередь, соотносится с понятиями жизненной силы и молодости. С другой стороны, понятие головы связано с понятием Числа (символ Вселенной), усиленное следующей аналогией: у Вселенной семь Бездн, и голова человеческая имеет семь отверстий (ССМС).

Понятие *совести* — одно из центральных понятий именно христианской морали. В рамках христианской доктрины *совесть* — это врожденный способ познания божественной воли. Воля Божья, как учат нас отцы церкви, может стать известной человеку двумя путями: внутренним, естественным способом, через внутреннее врожденное осознание воли Божьей, состоящей в основных неписаных нравственных законах (они, законы эти, записаны разве что в сердцах человеческих), на основании которых и составляются законы писаные, призванные служить общественной жизни и воспитывать в каждом нравственное начало. Другой способ доведения Божественной воли до человека — Откровения и Заповеди, воплощенные в Христе, этот способ охарактеризован как внешний, исторический. Совесть человеческая основана на трех его психических силах: познании, чувствах и воле. Совесть, подобно воле, может заставлять человека делать что-то или запрещать. Совесть в нравственно-практической деятельности человека играет ту же роль, что и логика — в интеллектуальной сфере, и рифма, гармония — в сфере искусства. Совесть — врожденное,

а не навязанное богоподобие человека и законов. Совесть связывается также с постоянным присмотром Бога за тем, что творят люди: Бог положил око свое на сердца людей, иначе говоря, Бог положил сам себя на сердца людей, поскольку глаз, как и рука, — самые ранние символы Бога-Отца, всевидящего и карающего. В христианском вероучении подчеркивается, что для того, чтобы внять голосу совести, для того, чтобы услышать ее решение, нет надобности совершать умозаключения, совесть непосредственно сообщает человеку свою оценку его действий или замыслов. «Как только человек замысливает дурное, тут же является на свой пост совесть, угрожая ему, а после совершения дурного поступка карает и мучит» (ППБЭС). Совесть совершает два действия: законодательное и карающее. Первое действие определяет масштаб, меру измерения действий, второе связано с результатом этого измерения.

Мы кратко рассмотрели общие индоевропейские философские и мифологические инвариативные модели представления *души*, *ума* (*разума*, *рассудка*) и *совести*, явным образом локализирующие все три понятия в верхней части человеческого тела (*душа в груди*, *ум в голове*, *совесть в груди в голове*). Обратимся теперь к описанию соответствующих понятий наивной анатомии в русском и французском языках.

Русские понятия *души*, *ума* (*разума*, *рассудка*) и *совести*

Современные представления о *душе*, как и о других концептуально-экзистенциальных понятиях, достаточно эклектичны, то есть имеют черты как языческих, так и христианских мифологических систем. В славянской мифологии *душа* понимается как некоторый двойник человека, сопровождающий его на протяжении его жизни. Во время сна или в момент смерти *душа* покидает тело человека, представляясь либо ветерком, паром, либо бабочкой, мухой, птицей (10). Иногда душа представлялась в виде маленького человечка с прозрачным телом или ребенка с крылышками (СССИ). По одним представлениям, начало свое *душа* берет от матери при рождении человека, по другим, исходит от Бога. *Душа* живет вместе с человеком и находится либо в голове, либо в ямке под шеей, либо в груди, либо в животе, либо в сердце. *Душа* растет, как и человек, чувствует тепло, холод, боль, радость, но питается только паром от пищи. Когда человек спит, *душа* отправляется в странствия, и отсюда рождаются сновидения (ССМ).

Как мы видим, в этой части славянских представлений *душа* мыслится иначе, чем у древних греков и римлян. Она не связывается с античным ассоциированием *души* с дыханием, с духом, который как

концепт появляется лишь в христианскую эпоху. К тому, что уже было сказано о христианской душе, мы можем добавить лишь представление о том, что у колдунов и оборотней (то есть о людях, совмещавших в себе черты реального человека и нечистой силы), имеются две или несколько душ, но христианской души у них нет, поскольку она продается ими дьяволу, вдыхающему в них вместо души нечистый дух (11). Душа, по христианским же верованиям, покидает тело при смерти с последним выдохом (СМ). В первой половине XVIII века в «Рукописном лексиконе» мы находим слово «*дух*» еще в значении «запах», «дыхание» (МНМ), перешедшем в общеязыковое употребление в современном значении, видимо, несколько позже. Владимир Даль определяет *душу* как бессмертное духовное существо, наделенное разумом и волей, а также как человека без плоти, бестелесное жизненное существо, воображаемое отдельно от тела и духа (ТС). *Душа*, по мнению Даля, — это также и совесть и внутренние чувства. Даль, в соответствии с христианской традицией, устанавливает иерархические отношения между духом и душой, полагая последнюю низшим воплощением духа, являющегося принадлежностью высшего начала Бога-Отца (ППБЭС).

Любопытен тот факт, что многие из приведенных Далем контексты, в которых душа представлялась именно как некий внутренний орган, устарели. Так, сейчас, например, мы не скажем: *человек с сильной* (*слабой*) *душой* — для нас сила и слабость скорее характеристика воли или характера; *взять что-то на душу* — мы берем на душу исключительно грех, или же берем нечто на совесть; *положить за кого-либо душу* — ручаясь за человека, мы говорим «*голову даю на отсечение*»; что-то «*лежит на душе*» — мы говорим «*что-то лежит на моей совести*»; *сказать что-то по совести* — мы говорим «*сказать по правде*». Из современного языка также ушли значения, отождествляющие душу с желудком, мы почти не говорим больше: *в душе мутит*, *с души воротит*, *с души тянет*, *душа не принимает чего-то*. Мы не говорим также: *душа пузыри пускает* (отрыжка), *душа с Богом беседует*, *свищи душа через нос*. Единственный контекст, оставшийся от этого значения слова «*душа*», — это, пожалуй, «*есть сколько душе угодно*», однако в современном языке вместо глагола «*есть*» может появиться также любой другой глагол («*пой, сколько душе угодно*, *смотри, сколько душе угодно*» и пр.), что свидетельствует о том, что *душа* мыслится не как желудок, а как сосредоточие некоторых (возможно, всех) человеческих желаний. Такое развитие значения кажется нам вполне закономерным, так как желания часто осмысляются в русском языке

именно через понятие голода (удовлетворить желание, жажда познания, информационный голод, эмоциональный голод и пр.).

В уже цитировавшемся НОСС слова «*душа, сердце*» понимаются так: «Душа, сердце — то, что представляется органом чувств, а также предчувствий, находящимся где-то в груди человека». Приведем далее сопоставительный анализ этих понятий, представленный автором этой словарной статьи Е. В. Урысон. По ее мнению, эти синонимы различаются функцией представляемого органа: *душа* — орган внутренней жизни человека вообще, *сердце* — чувств как таковых. *Душа*, по мнению автора статьи, орган внутренней жизни, то есть всего того, что не связано непосредственно ни с физиологией, ни с деятельностью интеллекта. Однако сама же Е. В. Урысон дальше приводит контексты, убеждающие нас в обратном: душа, как и ум человека, наделена интеллектуальной функцией, не ею, но в ней человек *может совершать большинство мыслительных действий*: «в глубине души он считал, в душе он понимал, подозревал, сомневался, был уверен, рассчитывал, знал» и пр. Однако разница мышления интеллектуального и «душевного», с нашей точки зрения, в том, что «мышление душевное» — это, скорее, мышление интуитивное, не связанное с выстраиванием причинно-следственных цепочек. Интуитивное мышление, вдобавок, — мышление подсознательное, то есть результаты его могут не в полной мере осознаваться человеком. По-русски мы можем сказать: «*в глубине души он знал, что провал неминуем, но не хотел верить в это, не в полной мере отдавал себе в этом отчет*».

По мнению автора словарной статьи, *душа* занимает уникальное место в человеке, в системе его «составных частей». Она отождествляется с личностью человека, с его сущностью. *Душа* — это самое ценное в человеке, и с точки зрения его устройства, и с точки зрения этики. *Душа* — это то, что есть у живого человека, и то, чего нет у мертвого, таким образом, *душа* в каком-то смысле становится синонимом *жизни*. Именно поэтому, а также в силу этической ее ценности, душа становится предметом особой заботы человека, старающегося ее не замарать, уберечь, спасти.

С религиозной точки зрения, *душа* связывает человека с высшим духовным началом, это тот орган, при помощи которого человек ощущает мистический, потусторонний мир.

Душа и *сердце* человека представляются местом протекания неких процессов, оба органа представляются также как вместилища чувств. Сильные, неподвластные чувства часто сами приходят в душу человека.

Оба синонима сочетаются с прилагательными общей этической оценки, а также с конкретными прилагательными, характеризующими данный орган с точки зрения преобладающих в человеке чувств.

Оба синонима входят в сочетания, представляющие *душу* и *сердце* как материальные органы, которые описывают:

1. эмоциональное состояние человека;
2. эмоциональное воздействие на человека как физическое воздействие на данный орган;
3. изменение личности как изменение данного органа;
4. раскрытие подлинных чувств и желаний человека как раскрытие вместилища, в норме скрытого от посторонних глаз (НОСС).

Обратимся к сочетаемости этого слова, для того чтобы лучше увидеть не только смысловую, но также и образную его структуру. Мы говорим:

красота, *чистота*, *благородство души*;
что-то закралось в душу;
в душе родилось, *пробудилось*, *росло что-то*;
в душе творится, *совершается*, *происходит что-то*;
душа ликует, *радуется*, *протестует*, *ожесточается*;
душа не на месте;
что-то по душе или *не по душе кому-то*;
затаить что-то в душе;
лезть в душу, *плевать в душу*;
в глубине души;
свет в душе;
чистая, *невинная*, *благородная*, *мелкая*, *щедрая*, *добрая*, *кроткая*, *нежная*, *чуткая душа*;
запачкать душу;
душа полна любви, *радости*, *душа переполняется чем-либо*;
на душе легко, *тяжело*;
душа пуста;
трогать, *пронзать*, *терзать душу*, *разрывать*, *всколыхнуть душу*;
душа грубеет, *черствеет*;
излить душу;
открыть, *обнажить душу*;
душа болит;
надрывать душу, *лить бальзам на душу*, *лечить душу* (СССРЯ, РМР, ССРЯ, СРС, СРЯ).

Из приведенной сочетаемости явственно видно, что душа в русском языке мыслится в пределах нескольких четко разработанных коннотативных образов.

Основные из них такие.

1. Женский детородный орган. *Душа* ассоциируется с неким хранилищем жидкости, сосудом, колодцем: *глубина души*, *душа полна*, *переполняется*, *душа пуста*, *мелкая душа*, *излить душу*, *наплевать в душу* (ср. *не плюй в колодец*). Связь *души* с водной стихией, о которой мы уже много писали в нашем исследовании, позволяет усмотреть в русской душе хаотическое, докосмическое начало, связанное с женской, детородной функцией. Женское активно выражается в образе русской души: нежная, кроткая, чистая, непорочная, трепетная — женские признаки, девственные признаки, позволяющие также понять источники метафоры «запачкать душу». С этим же, возможно, связаны также и выражения «лезть кому-то в душу», «надрывать душу», содержащие крайне негативную оценку таких действий, именно в силу того, что душа мыслится как интимный женский орган (слово «душегуб» применимо только к лицу мужского пола). Этот факт доказывается также и тем, что душа связана и с идеей зарождения и рождения: *в душе зародилось*, *родилось*, *росло*, а также рассматривается как вместилище: *душа полна*, *пуста*, *этому нет места в душе* (вспомним: «если черти в душе гнездились, значит ангелы жили в ней» (Есенин)) и пр. Сюда же могут быть отнесены выражения «открыть, обнажить душу». Душа как «нейтральный» внутренний орган, склонный к болезням, болезненности, описывается сочетаемостью «лечить душу», «лить бальзам на душу».

Отчасти этот же образ развивает и образ души, связанный с местом, где совершаются и протекают другие различные процессы: *закралось в душу*, *что-то совершается*, *происходит в душе* и пр., а также восприятие души как некой внутренней скрытой оболочки, которую можно рвать, терзать, пронзать и трогать, вследствие чего душа страдает, болит.

2. Хлеб, пар. Такая коннотация *души* четко обусловлена славянским мифом и дает продуктивный образ: *душа черствеет*, *грубеет* (ср. *сухой*, *черствый человек* — человек, у которого нет души, *черствый хлеб* — хлеб, из которого ушла влага): вспомним о том, что по славянским верованиям душа питалась только паром от пищи, а на поминках часто на стол клали свежевыпеченный хлеб, чтобы душа могла полакомиться его испарениями (СМ).

3. Эмоциональная девушка, женщина. Эту коннотация возможно следует связывать с коннотацией 1 через расширение значения: *душа радуется*, *ликует*, *поет*, *томится*, *рыдает* и пр., однако сам этот образ никак не конкретизируется и описывается исключительно через эмоциональные человеческие проявления.

Из приведенного описания также хорошо видно, что *душа* — начало пассивное и часто страдательное (развитие коннотации 1), она не может самостоятельно совершать действия и не может быть использована человеком для совершения действий. В свете этого замечания, становится хорошо видна функция духа по отношению к душе — начала высшего, независимого, мужского, активного, оплодотворяющего. Однако мы не будем здесь рассматривать это понятие, так как оно, с нашей точки зрения, никоим образом не может быть отнесено к воображаемым внутренним органам человека и не может описываться с точки зрения наивной анатомии. В заключение добавим лишь, что душа мыслится русскими как некий национально специфический орган: выражение «*русская душа*» — понятие целостное и разработанное в русской культуре, в то время как о французской или китайской душе мы никогда не говорим, с уверенностью используя в этом значении понятие «*национальный характер*».

Мы уже упоминали о том, что *совесть* первоначально — «соведение, знание, разделяемое многими», следовательно, знание, которое лежит в основе коллективной оценки и коллективных действий. Это слово зафиксировано с XI века со значением «разумение», «понимание», «знание», «согласие», «указание», «чистота» (ЭСРЯ). Слово это — калька с греческого, в отличие от другой кальки, французской *conscience*, — сознание, со-знание — с латинского.

Различное происхождение этих двух слов, русского от греческого и французского из латыни, — во многом объясняет существеннейшее расхождение их значений и употребления. Понятие *совести* центральное в современном славянском мире и мифе, и явно периферийное в романских языках, использующих для обозначения и совести, и сознания одно и тоже слово, пришедшее из латыни (*conscience*). В романские языки *conscience* пришло не из религиозных текстов, как в славянские, а из научных, где оно активно употребляется и по сей день. В обыденной речи слово «*сознание*» также используется, хотя и не слишком часто, но его значение никак не связано с христианскими догмами и идеями внутреннего арбитража и наказания за провинность.

Вл. Даль определяет русское слово «*совесть*» как нравственное сознание, тем самым невольно подчеркивая больший объем понятия сознания по отношению к совести: *нравственное чутье* или *чувство в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла, невольная любовь к*

истине, добру, прирожденная правда в различной степени развития (ТС). Контексты, которые приводит Вл. Даль, помогают нам увидеть некоторые основополагающие особенности ее образного воплощения, существенно развитые в современном языке: *робка совесть, пока ее не заглушишь*; *от совести* (*от Бога*) *не утаишь*; *угрызения совести: беззуба, а с костьми сгложет*; *совесть спать не дает*; *в ком стыд, в том и совесть* (ТС).

В современной русистике о совести писали немало. Наиболее интересное, с нашей точки зрения, описание совести мы находим у Ю. Д. Апресяна в его статье «Образ человека по данным языка» (12), воспроизведенное затем в его двухтомном собрании сочинений. Ю. Д. Апресян противопоставляет *волю* и *совесть*, считая, что первое — приведение в действие, второе — торможение. Мы не вполне разделяем такую оппозицию, полагая, что совесть также может служить стимулом к действию, равно как и воля, может выражаться в целенаправленном торможении, в стимулировании недействия (например, в таких контекстах: *имей совесть, верни ему деньги*; но: *напряги волю и не пей*).

Ю. Д. Апресян справедливо настаивает на том, что *совесть* — некое существо внутри человека, выполняющее роль строгого внутреннего судьи. Этот внутренний судья всегда нацелен на добро, обладает безошибочным чувством высшей справедливости и императивным началом. Сочетаемость русского слова «*совесть*» настолько полно описывает образ, соответствующий этому понятию, что можно на основе этих сочетаний выстроить целый рассказ:

«Если человек слышит голос совести, прислушивается к нему и поступает по совести, делает так, как подсказывает ему совесть, то в награду он получает чистую спокойную совесть. Если он заглушает ее в себе, поступает против нее, тогда совесть мучит его, не дает ему покоя, терзает, гложет. Неправильный поступок лежит тяжелым грузом на его совести, он испытывает угрызения совести. Если человек пытается заглушить в себе совесть, то она может проснуться, пробудиться и заговорить в нем».

Учитывая приведенные контексты, о *совести* по-русски мы говорим так:

слышать, слушать голос своей совести, прислушиваться к своей совести;

совесть говорит, подсказывает, советует, велит;

совесть терзает, мучит, гложет, грызет, снедает;

совесть просыпается, пробуждается, шевелится;

чистая, спокойная совесть;
капля совести, остатки совести;
отвечать перед своей совестью, советоваться со своей совестью;
заглушать в себе голос совести;
иметь, забыть, потерять совесть (СССРЯ, РМР, ССРЯ, СРС, СРЯ).

Из приведенной сочетаемости мы видим, что *совесть* представляется в русской современной мифологии как:

1. Судья. Этот судья не только судит, но и советует. Мы видим, что у этого образа акцентирован рот: совесть не только говорит, но и гложет, грызет и т. д. Глаз, о котором мы говорили в начале главы, в современном сознании совершенно исчез, но связь рта и глаза отмечается многими исследователями древней символики, которые утверждают также, что символы звучания, свечения и горения обычно связываются.

2. Червь. Символике рта, как и символике огня, присущи две стороны: созидательная (как в речи) и разрушительная (поглощающая). Отмечается также, что рот является точкой, где сходятся внутренний и внешний мир. Помимо этого, рот дает доступ во внутренний мир, а пасть дракона — в подземный (СС). Мы видим, что символика, связанная со ртом, инвариативно указывает на некоторые отличительные черты совести: одушевленность, связь с энергией огня (и энергия огня, и энергия речи — мана — суть психическая энергия), судейские и карательные функции, также связанные со словом и огнем, а также локализация совести внутри человека, возможно в его душе (13) (внутренний мир). Особые способы наказания, которые приписываются совести, — *грызть, глодать, снедать* — характерны для загробных пыток (вспомним у Даля: *беззуба, а с костьми сгложет* — явный намек на червей), это, по нашему убеждению, сугубо христианский мотив: *погубишь душу, не обретешь бессмертия, сожрут тебя в бренной земле мерзкие черви* (14). Такой червь живет по русским представлениям и в человеческой душе — это и есть карающая совесть. Отчасти сюда же может быть отнесен ряд «совесть просыпается, шевелится».

3. Жидкость. Очевидны также рудименты и двух других образов — совести-жидкости (*капля совести, остатки совести*) и совести-предмета (*иметь, потерять совесть*). Первая коннотация связывается нами с особыми отношениями *совести* и *души*: многие контексты убеждают нас в том, что совесть локализуется, также как и душа, в груди человека, и, возможно, совесть, часто проявляясь эмоционально,

мыслится как часть души, образ которой мы уже описали. Коннотация «предмет» может приравнивать совесть к своду законов (законодательная функция совести): потерял совесть — значит, потерял нравственные ориентиры, кодекс поведения, правила, продиктованные совестью.

Русское понятие *ума* — особенное. Слово это выделяется из синонимического ряда, в котором оно находится (разум, рассудок, интеллект) сразу тремя признаками — максимальным объемом понятия, самым частотным употреблением и своим происхождением: *ум* — единственное из всего ряда слово, идущее из греческого языка и прошедшее через церковнославянский язык. Возможно, именно поэтому понятие *ума* — специфически славянское, перевод его на романские языки затруднен и требует от переводчика всякий раз особых усилий и осознанных потерь принципиально важных оттенков смысла.

Очевидно, что первоначально и затем в течение долгого времени *ум*, понимаемый теперь исключительно как способность мыслить, как воображаемый орган, где протекают только лишь интеллектуальные процессы, связанные с процедурами анализа и синтеза, трактовался совершенно иначе. В древнерусском и старославянском языках слово «*ум*», зафиксированное с XI века, означало и ум, и душу, и мысль, и понимание (ИЭССРЯ). Аналогично трактует понятие *ума* и Вл. Даль. *Ум*, по его мнению, это одна половина человеческого духа, а другая — нравственность, любовь, страсти (ГС). «Ум, — пишет он, — прикладная, обиходная часть способности мыслить, низшая степень, а высшая, отвлеченная — разум». Определения, приводимые Вл. Далем, на первый взгляд представляются достаточно противоречивыми, особенно если мы вспомним его определения *души* и *духа*, приводимые нами несколько раньше. Однако контексты, цитируемые им, несколько проясняют дело и позволяют увидеть, что *ум* понимается в его словаре как земная и приземленная человеческая способность, отмеченная несовершенством всего исключительно человеческого. Контексты эти таковы: *с ума спятил, да на разум набрел*; *умный, да не разумный*; *жить чужим умом*, *дать ума* (*побить*); *ум без разума — беда*; *не видал я такого ума как твой*, *либо у́же*, *либо шире*.

Мы можем с уверенностью сказать, что этот аспект понятия ума практически исчез в современном русском сознании, развитие получили совершенно иные его стороны, также отмеченные у Вл. Даля в таких контекстах: *умище объемистый*, *широкий*, *глубокий*; *ум — царь в голове*; *умом крепок* и пр., осмысливающих ум как некий инструмент, помогающий человеку и определяющий через владение этим инструментом его силу или слабость.

В соответствии с проведенным нами опросом «*ум*» в современном сознании ассоциируется в первую очередь со способностью человека принимать неординарное решение, то есть порождать новое знание. В целом представление об уме в современной русской картине мира и человека сложное и в полной мере отражается богатейшей сочетаемостью этого слова.

По-русски мы говорим:

огромный, широкий, глубокий, тонкий, гибкий, изощренный, ясный, нежный, высокий, быстрый, живой, редкий ум;

иметь ум;

занять ума, набраться ума, (не) хватает ума;

умом понять, дойти, охватить;

напрячь ум, держать в уме, приложить ум, раскинуть умом;

быть на уме, прийти на ум;

лишиться ума, сойти, спятить с ума, свести с ума;

склад ума; *палата ума*;

считать, держать в уме;

жить своим, чужим умом, воспользоваться чьим-то умом;

выжить из ума;

ума хватило делать или не делать что-то;

вносить сумятицу в умы, бороться за умы, овладевать умами;

пришло, взбрело на ум;

понять, что у кого на уме;

умом крепок;

довести что-либо до ума (СССРЯ, РМР, ССРЯ, СРС, СРЯ).

Из приведенной сочетаемости мы видим, что ум в первую очередь мыслится неодушевленным, в отличие от души и совести. *Ум* очевидным образом имеет несколько четко выделяемых вещественных коннотаций.

1. Лопата-ключ. *Ум как инструмент или как ресурс*: его можно иметь, его можно занять, им можно понимать, с его помощью можно принимать решение, его может хватить или не хватить. Качества этого инструмента описывает его сочетаемость с прилагательными. Ум как инструмент тем лучше, чем он изощреннее, тоньше, гибче. С другой стороны, ум тем лучше, чем он больше и шире. Узость ума — огромный его недостаток. Подобные характеристики ума связаны с тем, какие действия предполагается им совершать. Одно из таких предполагаемых действий — *копание* — чем шире ум, чем глубже он проникает в почву, тем лучше (характерный контекст — *копать глубже* значит разбираться, постигать). Другое действие, совершае-

мое при помощи ума-инструмента — *извлечение сути* — хрупкой и уязвимой, и в этом смысле чем тоньше, гибче и изощренней ум, тем он ценнее как инструмент. Когда извлекаемая суть большого размера, важно охватить ее умом, ум должен суметь вместить в себя ее, также и поэтому он должен быть большим. Описанные процедуры, совершаемые при помощи ума, связаны в первую очередь с особенностями понятий «*знание*» и «*решение*», о которых подробнее мы будем говорить в следующих главах. Здесь скажем лишь, что знание, как и решение, которое человек добывает (откапывает, открывает) при помощи ума, а не откровения (добывает как руду), скрыто, зарыто, складировано и часто перемешано со знанием ложным. Знание необходимо извлекать и именно для этого человек наделен таким инструментом, как ум. Связь *ума* с идеей практического действия отчетливо видна по его дериватам «*умение*» и «*уметь*». У других членов синонимического ряда не обнаруживается глагольных дериватов, связанных с практическим, а не ментальным действием.

2. *Ум как твердь, как основа, на которой стоит человек*: сойти, спятить с ума, свести кого-либо с ума означает лишить его почвы под ногами, ориентиров, способности анализировать и принимать решение.

3. *Ум как вместилище*: держать в уме, считать в уме, ума палата. Делать что-либо в уме — значит совершать некое действие втайне от других. Здесь мы обнаруживаем ту же оппозицию, что и в «*думать/говорить*», подчеркивающую замкнутость, закрытость внутреннего мира человека. С нашей точки зрения, сюда же могут быть отнесены выражения «*пришло на ум*», «*взбрело на ум*», «*знать, не знать, что у кого на уме*», где предлог «на» может быть заменен на предлог «в» без всякой потери смысла.

Первая, основная коннотация понятия «*ум*», показывает нам направленность его вниз, в житейский пласт, к знаниям, выработанным и накопленным человеком, а также природой, скрывшей, закрывшей свои секреты и требующей от человека открытия этих тайн и законов ключом, которым человеку служит его ум. Закрытость знания, как мы уже говорили ранее, табуированность его — один из распространенных мифологических мотивов. Знания, истина добываются, с точки зрения мифологических, а не рационалистических систем, не умом, а откровением, интуицией. Именно поэтому в рамках религиозно-мифологического сознания ум несовершенен, а в рамках современного индивидуалистическо-рационалистического сознания — основной инструмент в руках человека, покоряющего природу и открывающего ее законы. Современная атеистическая идеология полна оптимизма, с

ее точки зрения человек благодаря своему уму непременно докопается до истины.

Синонимы слова ум — *разум*, *рассудок*, *интеллект* (ССРЯ) — латинского происхождения (как и сознание) (ИЭССРЯ) — не слишком употребительны, так как все же восходят к чуждой для обыденного сознания европейской традиции. По мнению Е. В. Урысон (НОСС), эти синонимы различаются по следующим смысловым признакам:

1) возможность обозначать орган мышления (*ум* — это и способность, и орган; *интеллект* — только способность);

2) различные понятийные акценты: в слове *ум* — акцент на получении знания, и, с нашей точки зрения, на выработке качественно нового знания, в слове *разум* — на результате этого процесса;

3) возможность служить характеристикой конкретного человека (*ум*) или человека как вида (*разум*);

4) тип и ценность знания (разум ассоциируется с высшим знанием, рассудок с житейским) и пр. «Синонимы разум и рассудок, — пишет Е. В. Урысон, — акцентируют результат процесса познания, то есть уже достигнутое знание, достигнутое понимание. Поэтому разум и рассудок нельзя характеризовать с точки зрения скорости и способов получения информации. По этой же причине разум и рассудок, в отличие от ума, ассоциируются не с новым, а с хорошо известным знанием. В связи с этим разум и рассудок в меньшей мере могут служить характеристикой конкретного человека» (НОСС).

Синонимы *разум* и *рассудок* ассоциируются с разными типами знания, с разными ценностями. *Разум* ассоциируется с высшими этическими понятиями, такими как *добро* и *зло*. *Рассудок* скорее предполагает обыденное, житейское знание и мысли. Слово *интеллект* сближается со словом *ум*, однако с ним связаны два других круга употреблений. Это, во-первых, контексты, где слово «*интеллект*» употребляется почти терминологически, а во-вторых, это контексты, где речь идет о хорошо развитой способности человека мыслить творчески, получать принципиально новые, обычно научные знания (НОСС).

Из сказанного вполне понятны особенности функционирования этих понятий в русском языке. Слово «*рассудок*» малоупотребительно, мы не может привести никаких естественных (то есть не письменно-книжных примеров его употребления за исключением «*холодный рассудок*», «*холодный, рассудочный человек*», трактующих деятельность рассудка как противоположность эмоциональной жизни, ассоциируемой с теплом). Слово *разум*, отражающее высшее понятие, имеет некоторые общие со словом «*истина*» коннотации (*свет разума*, *сила*

разума), однако в этом употреблении это слово не является характеристикой «обычного» человека, а только высшего существа (или человека, возводимого в ранг такового). Любопытно, что в известной цитате из «Интернационала» «кипит наш разум возмущенный и в смертный бой идти готов» *разум* получил нехарактерную коннотацию «жидкость» с указанием на изменение ее температуры, что заставляет (через коннотацию) понимать *разум* в данном контексте как вместилище чувств, как средоточие эмоционального, а не рационального начала (ср. «*кипеть от негодования*», «*выплеснуть злобу*», «*переполняться любовью, счастьем*» и пр.).

Интѐллект — слово, заимствованное в атеистическую эпоху, и представляет идею силы человека как биологического организма: *сила, мощь интеллекта, развивать, тренировать интеллект, упражнения для развития интеллекта, коэффициент интеллекта, напрячь интеллект* и пр. Из приведенной сочетаемости мы видим, что интеллект в русском сознании ассоциируется с мышцей, с телом, но никак не с древними представлениями о единстве духовного и интеллектуального начала в человеке. Мы можем с полной уверенностью сказать, что мифологический портрет интеллекта — порождение нового сознания, родившегося в новое время и в большей степени ориентированного на создание новых образов, чем на следование старым, во всяком случае тогда, когда это поддается сознательному контролю.

Французские понятия *âme*, *conscience*, *esprit* (*raison*, *intelligence*)

Французское слово *âme* (n. f) произошло от латинского *anima*. Латинское слово обозначает «дыхание, воздух» и восходит к индоевропейскому корню (санскрит *aniti* — «дуэт») (DE). Латинское слово заимствовано в свою очередь из греческого *amenos* «воздух». В латыни очень быстро был выделен мужской высший символ *animus* (дух), противопоставляемый *corpus* (тело), и женское начало — *anima*, которое переводило греческое *psukhe* (*psyche*), закладывающее основные принципы жизни (душа находится в основании и формирует высшую жизнь, ту, которую характеризует *animal*), отсюда значение — «души умерших». Впоследствии *animus* отступил на задний план, будучи вытесненный *spiritus*, только *anima*, но не *animus* перешло в церковную латынь и в романские языки (DHLF). Здесь интересна параллель с русской образной трактовкой души, ассоциирующей ее с женским детородным органом: из этимологической истории французского понятия мы видим, что речь здесь идет об индоевропейском прообразе, давшем «всходы» в русской ментальности.

Французский язык заимствовал латинские смыслы, развил их в науках (в научном языке это слово перестает активно употребляться с XIX века, с того момента, когда религиозное сознание существенно отступает перед атеистическим) и в философии, добавив к его значениям еще дополнительные — такие как «моральное сознание» (с XVI века мы находим его в выражении *force de l'âme*) и другие (NDEF).

В старофранцузском языке это слово употребляется с латинскими смыслами «нематериальная и вечная часть человека, противопоставляемая телу», а также «основа жизни» (DAF). Схоластические различения «*души рациональной*» и «*души чувственной*» существенно расширяют понятийный объем слова. Напомним, что противопоставление двух этих субстанций пришло из платонизма, от Платона, из его диалога «Тимей» (15). Идея существования души без своей «тюрьмы» — тела — высказывалась и развивалась Августином Блаженным, Скоттом Эриугеной, Шартрской школой в XII веке, ее развивали мистики XIV—XV веков — Иоганн Эккерт, Николай Кузанский и др.

В христианской литературе разрабатывается и аристотелевская концепция о трех душах — рациональной, чувственной и вегетативной (16), безусловно, определившая специфику европейского представления о принципиальном единстве чувственного и рационального, воплотившегося, например, в таком понятии, как *esprit*, также в свою очередь этимологически связанного с образом и идеей дыхания, духа (об этом см. далее).

В современном французском языке широко распространены дополнительные значения, появившиеся в различные эпохи через расширение первоначального смысла: *âme — человек, душа общества; центральная часть чего-либо* и пр. Эти значения нами рассматриваться не будут. Добавим лишь, что с точки зрения «наивной анатомии» представляется существенным тот факт, что французское сознание наделило «душой» предметы, имеющие хорошо очерченную внутреннюю часть, на которую ложится особая нагрузка при функционировании вещи. Это проливает дополнительный свет на понятие души во французском языке.

Как мы уже вскользь отметили, понятие души непосредственно связывалось в греческой мифологии с греческим божеством — Психеей, историю которой мы считаем вполне уместным напомнить здесь.

Психея в греческой мифологии — олицетворение души, дыхания. Психея отождествлялась с тем или иным живым существом, с отдельными функциями живого организма и с его частями. Дыхание

человека образно ассоциировалось с дуновением, ветром, вихрем, крылатостью (МС). Психея представлялась на памятниках изобразительного искусства как бабочка, вылетающая из погребального костра и отправляющаяся в Аид. Психея представлялась и как летающая птица. Души умерших в Аиде изображаются летающими, они слетаются на кровь, порхают в виде теней и сновидений.

Психея представлялась также и в виде орла, устремляющего в высь свой полет (СССИ). Объединив различные мифы о Психее, Апулей создал поэтическую сказку о странствиях человеческой души, желающей найти свою любовь. История Амура и Психеи (Психея нарушает запрет никогда не видеть своего возлюбленного, теряет его и проходит через множество испытаний, прежде чем вновь обрести его) — один из очень распространенных мотивов в западноевропейском искусстве, но не только: сказка Аксакова об аленьком цветочке разрабатывает тот же сюжет. Важно отметить, что греческие истоки и шире — индоевропейские истории — важны в данном случае для обеих культур, которые мы здесь пытаемся сопоставить — французской и русской.

Средневековое романское аллегорическое представление о душе таково:

«Душа — грациознейшая девушка, лицо ее покрыто тончайшей и прозрачной вуалью, одежда ее светлая и сияющая, за плечами у нее крылья, а на макушке горит звезда. Несмотря на то, что теологи утверждают, что душа — сущность бестелесная, однако лучше всего именно так ее изображать, ведь человек наделен зрением и осязанием, и именно через них он может лучше ее понять.

Душа наделена грацией, красотой и совершенством, поскольку Бог создал ее по своему подобию. Лицо ее закрыто вуалью, поскольку, как говорит Августин в своей книге, она невидима для человека, поэтому скрыто и тело ее, ведь распознать душу можно только через ее деяния. Светлая и искрящаяся одежда подчеркивает чистоту и совершенство ее сути. Звезда на голове символизирует ее бессмертие, ведь так символизировали бессмертие еще в Древнем Египте. Крылья символизируют ловкость, подвижность, воздушность, а также две силы — интеллект и волю». (Cd).

Сопоставляя две мифологические картины — античную и средневековую романскую, мы видим, что последняя эклектична: соединяет в себе античный женский образ, христианские мотивы и древнеегипетскую символику. Трактовка природы этой эклектики отдельная задача, а мы обратимся к значению французского слова.

В современном французском языке присутствуют все значения слова *âme*, о которых мы говорили ранее:

1. основа духовной сущности человека;
2. одна из двух составляющих человека;
3. основа нравственной жизни, нравственного сознания;
4. основа чувственной жизни человека;
5. человеческое существо, человек;
6. коллективное сознание;
7. основная, центрально расположенная часть вещи (R1).

В современном языке слово *âme* имеет следующую сочетаемость:

toucher, émouvoir, remuer, attendrir, navrer, illuminer, solliciter, serrer, bouleverser, briser, ulcérer l'âme, déchirer, arracher, façonner l'âme, faire âme neuve, faire vibrer l'âme, fendre l'âme;

vouer, épancher, livrer, découvrir son âme, voir son âme à nu, se fouiller l'âme, mettre de l'âme dans qch, mettre l'âme à l'envers, mouler son âme sur, recommander son âme à Dieu, redresser l'âme, rentrer en son âme, tremper l'âme;

etre anéanti jusqu'à l'âme de son âme;

ame double, généreuse, dure, sehe, candide, fidèle, pure, saine;

conducteur, médecin, pétrisseur d'ame;

fond de l'âme;

aller à l'âme;

avoir de l'âme;

avoir l'âme chevillée au corps;

avoir l'âme sur les lèvres;

qui garde sa bouche, garde son âme;

les yeux sont le miroir de l'âme

(TLF, R1, DMI, DS, NDS, DGLF, GLLF, ФРФС).

Отметим, что очень близким по своему значению и употреблению является, как и в русском языке, слово *cœur*, однако мы не будем здесь его рассматривать по следующим соображениям:

1) в нашем исследовании мы рассматриваем этап вторичной конкретизации абстрактных понятий, а не этап абстрагирования конкретных понятий.

2) синонимичность этих слов не исключает возможности рассмотрения их по отдельности без ущерба для качества анализа.

3) именно душа является органом наивной анатомии человека, в то время как сердце — элемент его реальной анатомии.

4) сопоставление этих понятий следовало бы выделить в отдельный подраздел с дополнительным аспектом исследования (реальное-

идеальное и идеальное-реальное). Мы надеемся коснуться этой темы в наших дальнейших исследованиях.

Из приведенной сочетаемости видно, что французская *âme* мыслиться как:

1. Деревяшка, с которой человек совершает ряд физических действий. Французскую *душу* можно: *пошевелить*, *осветить*, *сжать*, *перевернуть*, *разбить*, *расколоть*, *заставить вибрировать*. Ее можно также *вырвать у кого-то*. Несколько «оживляют душу», делают ее равной человеческому органу употребления «*смягчить душу*», «*изъязвить душу*».

2. Ткань. Французская *душа* явным образом ассоциируется с тканью и одеждой: ее можно *отделывать*, *разрывать*, *сделать себе новую душу*, *надеть наперекосяк*, можно вновь *вернуться в свою душу* (*как в оболочку*). Интересен с этой точки зрения контекст *voir son âme à nu*.

3. Металл. С *душой* совершаются действия подобные тем, что совершаются с металлом: *ее отливают по заданной форме*, *закаляют*, и нам кажется, что именно в этом качестве ее приделывают к телу, делая человека стойким и живучим.

4. Отверстие внутри тела: у нее есть глубина, она может ассоциироваться с пещерой. Однако часто русское «*в глубине души*» будет переводиться как *dans mon for intérieur*. Также часто для обозначения «*глубины*» используется слово *cœur*. Контексты, в которых *душа* является местом рождения чувств, по нашим наблюдениям, являются сугубо поэтическими, а не общеязыковыми.

5. Хлеб. Во французской ментальности *душа*, также как и в русском языке, ассоциируется с хлебом, *она может быть сухой* и *ее может месить* «меситель душ».

6. Немногочисленные контексты позволяют нам отождествить ее с внутренним органом — *ее можно лечить*, *у нее может быть врач*.

Ключевыми в понятийном смысле из приведенных коннотаций являются коннотации «*ткань*, *одежда*» и «*металл*». Рассмотрим их. Можно провести аналогию между описанием, приведенным выше из Манжеара, где *душа была одета в переливчатые одежды*, и существующей коннотацией «*ткань*, *одежда*». Разноцветная или переливчатая ткань, по свидетельству Словаря символов (СС), является символом Целого. Сама по себе символика ткани очень разработана в различных мифологиях. Словосочетание «*ткань жизни*» служит красноречивым выражением символики ткани, не только связанной с идеями соединения и роста посредством смешивания двух элементов (основы и челнока — пассивного и активного) и не просто эквивалентной творению,

она скорее обозначает мистическое восприятие мира феноменов как своего рода покрывала, скрывающего от взоров истинное и глубинное. По замечанию древнегреческого философа Порфирия, «древние называли небеса покрывалом, поскольку в некотором смысле они есть одеяние богов». Так же и *душа* есть одеяние человека.

Символика ткачества поддерживается символикой Близнецов, обозначающих двойственный состав всего сущего: одна часть смертная, а вторая бессмертная (CC).

Соотнесенность *души* с металлом — символом прочности и защиты, представление *души* как защиты, которую создает себе человек, а не как слабого, уязвимого места — безусловно, новый романский смысл. Контексты *façonner*, *mouler son âme*, *faire âme neuve*, *redresser l'âme* возможно символизируют идею управления своими чувствами, столь подробно развитой в Спарте.

Необычайная распространенность метафоры ткани и одежды во французской культуре (см. далее коннотацию 2-го понятия *conscience*), закрепленной за многими ключевыми мировоззренческими понятиями, возможно, объясняет французский эстетизм, сделавший эту страну столицей моды, стиля, воплощением идеи хорошего вкуса.

Французское слово и понятие *conscience*, обозначающее одновременно и совесть, и сознание (что само по себе значимо), было заимствовано в XII веке из латыни (DE). Conscientia в свою очередь образовано от con и scire, то есть «знать вместе». *Conscientia* — знание, разделенное со всеми, по своему значению колебалось между «*доверием*» и «*соучастием, сговором*». Слово часто употреблялось для обозначения ясного знания, родившегося внутри человека, и, таким образом, развило другое значение — «интимное чувство», моральное знание, то есть интуитивное представление о том, что хорошо и что плохо. Слово было заимствовано в романские языки именно с этим значением («интуитивное знание добра и зла»), единственно известным до XVII века. В процессе употребления слова значение это ослаблялось, оставшись в выражениях *bonne conscience*, *en son âme et consciene etc.* Некоторые классические употребления сохраняют следы древней локализации *conscience* в желудке и груди, поскольку при раскаянии бьют себя в грудь. Отсюда выражения *mettre la main à la conscience*, а также *se mettre un verre de vin sur la conscience* (DHLF). Отметим, что с точки зрения русского языка французская *совесть* здесь выступает синонимично русской *душе*, которая, как мы говорили, употребляется в идиоме «*принять стаканчик на душу*». Понятие *conscience* употребляли в религиозных и профессиональных контек-

стах. В профессиональную сферу оно попало из типографского дела, процветавшего при монастырях. В этом есть своя логика: книжное дело — дело скрупулезное, и небрежное к нему отношение (первопечатные книги — преимущественно Библия и произведения Отцов Церкви) должно было вызывать муки совести — *des scrupules*. Именно этим фактом мы бы и рискнули объяснить отдельное слово во французском языке, обозначающее муки совести, связанное первоначально с идеей тщательного выполнения работы.

Чезаре Рипо предлагает нам следующее аллегорическое описание *conscience*:

«Женщина держит в руках сердце и рассматривает его, вокруг сердца — золотая лента с греческой надписью "моя собственная совесть (сознание)", одной ногой она стоит на цветущем лугу, другой — на тернистом поле.

Совесть — это знание, который имеет каждый человек о совершаемом или замышляемом поступке, скрытом от других людей. Именно поэтому совесть рассматривает свое собственное сердце, в котором каждый держит тайны, которые только он один знает и может раскрыть. Совесть стоит босая в вышеописанном месте, символизирующем хорошую/плохую жизнь, через нее каждый идет со своими благими и грешными делами, она чувствует, как острые шипы греха, так и сладкий аромат добродетели» (I).

В приведенном описании четко просматривается влияние христианской идеологии, часто использующей античный аллегорический ряд. Для нас важно, что совесть рассматривается через знание и связана с раскрытием тайн, иначе говоря, чем-то напоминает судебный процесс — процесс, который человек ведет сам над собой.

В современном языке у слова *conscience* выделяются следующие значения:

1. сознание;
2. (*conscience morale*) совесть.

Второе значение этого слова определяется так: «Способность иметь морально-ценностные оценки своих действий. В таком качестве *conscience* может иметь два состояния: *bonne conscience* — состояние того, кому не в чем себя упрекнуть, и *mauvaise conscience* — болезненное чувство, возникающее от осознания собственного дурного поступка» (R1). Особенно выделяется также понятие *conscience professionnelle*, о котором уже шла речь ранее. Слово *conscience* со значением «совесть» имеет в современном французском языке следующую сочетаемость:

une conscience droite, nette, intègre, pure, tourmentée, ulcérée, élastique, large, légère, timorée;

capitulation de conscience; *cas de conscience, débât de conscience*; *examen de conscience*;

objection de conscience, prise de conscience, scrupules de conscience, le tribunal de conscience;

directeur de conscience;

la voix de la conscience;

parler, agir selon, suivant sa conscience.

par acquit de conscience;

avoir la conscience en paix, en repos;

capituler, pactiser, transiger avec sa conscience;

libérer, soulager sa conscience (*par des aveux, des remords, le repentir*), *bourreler*;

il a une faute, un poids sur la conscience;

dans sa conscience;

la main sur la conscience;

je vous le dis en mon âme et conscience (*sermon*);

avoir, se donner bonne conscience;

une conscience douloureuse;

décharger sa conscience, acquiter sa conscience;

au for de sa conscience;

conduire la conscience de qn;

descendre dans sa conscience;

etre en règle avec sa conscience;

se mettre qch sur la conscience;

troubler sa conscience, alarmer sa conscience;

détruire, détériorer sa conscience;

la conscience endurcie;

voix, cri de la conscience;

interroger sa conscience;

la conscience résiste, capitule (TLF, R1, DMI, DS, NDS, DGLF, GLLF, ФРФС).

Из приведенной сочетаемости мы видим, что совесть представляется четко оформленной на образном уровне и имеет ряд следующих коннотаций.

1. Слабый враг. Совесть во французском употреблении этого слова выступает как существо, враждебное человеку, с которым он вступает в активные отношения, часто напоминающие войну или сделку. Человек пытается сломить ее либо силой, либо дипломатическим умением.

В этой войне совесть представлена как слабое, уступающее человеку начало. Так или иначе, идея войны и образ совести в этой войне выражены в следующих сочетаниях: *une conscience timorée*, *capitulation de conscience*, *pactiser*, *transiger avec sa conscience*, *alarmer la conscience de qn*. Часто совесть сама по себе является носителем внутренних противоречий, внутренней войны: *débâts de conscience*, *conscience en paix*, *en repos*. Мирное выяснение отношений с совестью возможно по аналогии с социальными способами улаживания конфликтов: *acquiter sa conscience*, *être en règle avec sa conscience*, *négocier avec sa conscience*. Из этих примеров мы видим, что французская совесть — существо не только слабое и манипулируемое, но и готовое идти на компромиссы и уступать. Эта же идея совести отражена в сочетаниях, подчеркивающих активную, руководящую роль человека по отношению к своей или чужой совести: *directeur de conscience*, *conduire la conscience de qn*, *examen de conscience*, *interroger sa conscience*;

2. Орудие. Во французском языке *совесть* также и овеществляется, причем в предмете-совести с той же выразительностью подчеркивается идея возможности приспособить совесть к своим нуждам. Совесть в этой ипостаси может быть прямой и целостной, но человек оказывается способным разрушить ее или испортить, то есть воздействовать на нее негативно. Он также в состоянии обеспечить себе хорошую совесть (*se donner bonne conscience*).

3. Ткань. Ассоциирование совести с тканью подчеркивает их функционирование в рамках единой философско-мифологической системы. *Совесть-ткань* растяжима, широка, то есть может многое в себя вместить, она может быть чистой и «сморщенной», в складках, то есть ее гладкость и чистота в этом случае нарушается.

4. Весы. С *совестью* во французском языке также ассоциируется идея внутреннего равновесия (весы), которое нарушается, когда на совесть ложится груз, тяжесть.

5. Подвал. С *совестью* также ассоциируется некое углубление, своего рода подвал внутри человека, куда он может спуститься и там услышать голос, крик совести, именно там он может разговаривать с ней. Именно внутри человека, подобно органу, находится болезненная, уязвленная совесть, совесть, потерявшая покой, совесть затвердевшая, то есть утратившая признаки жизни. Важно отметить, что французская совесть, по нашим данным, не может мучить человека, не может выступать активно по отношению к нему, а только может быть мучима, страдать в результате его действий.

Иначе говоря, мы видим, что французское сознание «решило» проблему совести, нашло способы адаптировать это в чем-то неудобное изобретение христианской морали.

Подобное положение дел всецело вписывается в картину, о которой мы говорили ранее: активность, социализированность, прагматичность в некоторой степени взяли верх над христианской идеей ответственности человека перед Богом за свои деяния, в большей степени оказалась органичной идея социальной ответственности за свое благополучие, ответственности за свои действия с точки зрения их практической целесообразности, а не с точки зрения блага абстрактного. Очевидно, что античные системные мировоззренческие установки в том, что касается понятия совести, оказались сильнее христианских, человек нашел выход из ситуации, в которую его поставила христианская идеология, что в конечном счете не помешало ему разделять христианство на уровне ритуала и социально адекватного поведения. Своего рода конформизм, свойственный и французской совести, объясняет эффективность этой мировоззренческой системы, умеющей примирить непримиримое и остаться в выигрыше, во всяком случае, в той сфере, которая касается результативности действий.

Говоря о французском представлении об уме, мы решили все же поставить в центр этой группы французское понятие *esprit*, несмотря на то, что оно обозначает одновременно рациональное и духовное начала в человеке. Это понятие удачно совместило и античные, и христианские образные и философские установки. Развитие значения этого понятия демонстрирует ряд значимых тенденций в концептуализации взаимоотношений эмоционального и рационального во французском языке и менталитете.

Французское *esprit* (n. m.) пришло в старофранцузский язык из латыни — *spiritus*, *spiritum* — в конце X века (DE). Современная орфография этого слова установилась лишь с XVI века. В классической латыни spiritus означало «дыхание, воздух», откуда позже появились значения «эманация, запах», а также «вдохновение».

Как и греческое *pneuma*, *spiritus* обозначает также «божественное дыхание, дух», «божественную нематериальную сущность», откуда душа и личность (*personne*), в христианской латыни *spitirus* приобретает значение «менталитет (склад ума)», «намерение», «принципы моральной жизни», «ум» (*intelligence*), нематериальное существо (дух, ангел, демон, призрак, Святой Дух) и, по метонимии — «человек, у которого хороший или плохой *esprit*» (мы оставляем в толковании французское слово, поскольку русский язык и русское языковое со-

знание не позволяют нам с точностью определить, о чем именно — об уме или душе — идет речь. Русский менталитет противопоставляет ум и душу. Для французского менталитета такой оппозиции либо вовсе не существует, либо она присутствует в неяркой форме) (NDEF). Латинский *spiritus* произошел от глагола *spirere* — «дуть», «дышать», «источать запах» и в переносном смысле — «быть вдохновленным», такой глагол существует только в латинском языке.

Esprit зафиксировано в конце X века со множеством значений: «суть нетелесной жизни человека, душа», «основа телесной жизни», «душа покойного, признак». В XII веке у слова вновь появляется латинские значения «дыхание, ветер, воздух», которые затем исчезли, а также в церковном словаре «дыхание, посланное Богом», и более широко — «основа психической жизни, сознание (*coscience*) или совесть». Также в XII веке *esprit* начинает обозначать и основу интеллектуальной жизни человека, ум, противопоставленный объекту мысли. Из этого значения происходят выражения *ouvrage d'esprit* — произведение литературы (уст.), и с пейоративным оттенком — *vue de l'esprit*, то есть *видение, опирающееся не на реальность, а на воображение*. Отсюда также произошли и выражения *présence d'esprit, avoir de l'esprit comme quatre, jusqu'au bout des doigts etc* (DHLF).

Со времен старофранцузского языка это слово обозначает также нематериальных существ (ангелов, призраков и пр.). По аналогии это слово употреблялось для обозначения тщедушной внешности худобы, это значение устарело и полностью вышло из употребления (DAF). Также по метонимии *esprit* употреблялось для обозначения человека, владеющего им: *un esprit pénétrant, médiocre* и пр. В XV веке слово esprit приобретает также следующие значения «настроение, характер», связанные с его предшествующими употреблениями. В XVI веке это слово употребляется для обозначения «легкости, точности, тонкости ума, остроумия», а также интеллектуального дара. В XVI же веке этим словом обозначают глубинный смысл текста (DHLF). По расширению этого значения, этим словом называется также особая выборка текстов определенного автора, дающая возможность понять суть его мыслей. К этому уже и так крайне сложному значению слова *esprit* добавляются еще значения «алхимическое», «эманация» (DAF), впоследствии неожиданно отозвавшаяся в слове *спирт* а также в фонетике — для обозначения определенных звуков, требующих придыхания.

Мы уделили такое внимание истории и эволюции значения этого слова потому, что они позволили явственно увидеть колебание значения между рациональным и эмоциональным полюсами. Это коле-

бание привело к тому, что в этом слове, часто создающем проблемы для перевода на русский язык, где это противопоставление выражено очень четко, совмещено и первое, и второе, но что для нас особенно важно, рациональное в современном употреблении *esprit* все же преобладает над эмоциональным. Именно такой исход эволюции значения представляется нам симптоматичным: в русском языке из «*воздуха, дуновения, души*» получилась *душа*, во французском — наряду с *душой* также и *ум*, и *совесть*. Объяснение тому в рассуждении, которое мы приводили, когда говорили о душе.

Из сказанного мы могли бы сделать вывод, что рациональное начало на подсознательном уровне развито во французском менталитете значительно сильнее, чем в русском, оно является суммирующим, аккумулируя вокруг себя все смыслы, в которых есть его составляющая.

В современном французском языке у этого слова выделяются следующие значения (значения даются в порядке, представленном в словарях).

1. Библейское. Божественный дух.

2. Эманация тела, легкая и субтильная сущность, эманации, которые рассматривались как основа жизни и чувств.

3. Нематериальное существо.

4. Мыслящее начало, основа мышления, основа психической жизни, как чувственной, так и интеллектуальной, или только интеллектуальной, противопоставленной чувственному началу в человеке.

5. Умственные способности, интеллектуальные склонности.

6. Мысль, идея, которая определяет, направляет действие (R1).

В современном французском языке слово *esprit* имеет следующую сочетаемость:

developper son esprit;

occuper, *hanter*, *ouvrir*, *bouleverser*, *apaiser*, *éclairer*, *agiter*, *troubler*, *farcir*, *paralyser*, *frapper*, *impressionner*, *calmer*, *perdre*, *dépraver*, *obscurcir l'esprit*, *cultiver son esprit*, *ranimer ses esprits*;

bander son esprit, *se brouiller l'esprit*, *se creuser l'esprit*, *déployer son esprit*, *rouiller l'esprit*, *se torturer l'esprit*, *se travailler l'esprit*;

enlever, *ôter qch de son esprit*, *éparpiller son esprit*, *faire des honneurs à son esprit*, *faire réparation à l'esprit de qn*, *graver qch dans son esprit*, *manier les esprits*, *noircir l'esprit*;

promener son esprit sur;

l'esprit est prompt, la chair est faible;

vue de l'esprit, création de l'esprit;

l'effroi s'empara de son esprit;

conserver l'esprit libre;
disposition, l'état d'esprit;
avoir l'esprit ailleurs, absent;
avoir l'esprit bande, bouché, bien fait;
avoir l'esprit en dedans, dérangé, enfoncé dans la matiére, à l'envers, dans sa poche, au talon;
avoir l'esprit tendu à qch;
avoir l'esprit aventurier, belliqueux, changeant, retors;
petit esprit, esprit étroit, tordu, tourné á qch, large;
avoir bon, mauvais esprit;
acuité, agilité, clarté, rapidité, vivacité d'esprit;
esprit lucide, profond, subtil, large, épineux, pointu, mal fait, mal tourné, observateur, logique, borne, lent;
lenteur, paresse, pesanteur d'esprit;
esprit vif, lent, acerbe, voilé, curieux, vil, mauvais, veule, infame, juste, libre, lourd, bon, faible, simple;
esprit pratique, terre à terre, positif;
esprit creux, éclairé, élevé, faux, fêlé, flottant, fort;
idée, pensée, réflexion vient à l'esprit, traverse l'esprit;
rouler des idées dans son esprit;
ecart, fond d'esprit;
dire, faire qch du haut de son esprit;
avoir de l'esprit en argent comptant;
esprit des affaires, du commerce, d'observation, d'à-propos, de l'escalier;
esprit de révolte, de justice, de charité, de sacrifice;
esprit d'équipe, de famille;
esprit d'une constitution;
dons d'esprit (TLF, R1, DMI, DS, NDS, DGLF, GLLF, ФРФС).

Из приведенной сочетаемости могут быть выделены следующие вещественно-образные коннотации французского слова *esprit*.

1. Металлический инструмент. В этой своей ипостаси французский *душа-ум* может заржаветь, его можно совершенствовать, чинить, внутри него может находиться ротор, кусачки, он может быть игольчатым, шершавым, хрупким, искривленным, им можно манипулировать, его можно раскрыть, потерять, держать в кармане, он может быть тяжелым, расколотым, простым (то есть примитивным) и пр.

2. Ребенок. Это существо крайне эмоциональное и является объектом человеческой деятельности: его можно успокаивать, беспокоить, впечатлять, развращать, прогуливать, пугать, воспитывать, ставить

в стеснительное положение, это существо может быть проворным, ленивым, подлым, любопытным, слабым, вызывающим почтение и осуждение и пр.

3. Яма. *Esrpit* во французском языке ассоциируется также с некоторой емкостью, находящейся внутри человека, которая может быть пустой, которую можно открывать, углублять, у которой есть дно, глубина, в которую можно помещать что-либо и из которой можно извлекать что-либо, ее можно также освещать и затемнять.

4. Рука. *Esprit* связан также с образом некоего органа, который можно бинтовать, разбинтовывать, он может быть вывернут, находиться в неправильном положении, тянуться куда-то, быть вялым, маленьким, слабым и пр.

Несмотря на то, что во французском языке акцентируются практические качества *esprit*, частая ориентированность его на прагматическое действие, связанное с зарабатыванием денег (здесь особенно выделяется метафора «иметь ум в наличных деньгах», «коммерческий, деловой (*esprit des affaires*) ум», практический ум), это понятие не столь однозначно привязывается в прагматической сфере, как, например, французские понятия *fortune* или *occasion*.

Множество коннотаций, сопровождающих понятие *esprit*, множество значений позволяют с помощью этого понятия интегрировать человека во множество очень различных контекстов: семейный, командный, благотворительный, контекст справедливости, бунта и пр. Это понятие скорее универсиализирует человеческое существо, нежели фиксирует его относительно какой-то одной сферы. Это связано с тем, что взаимоотношения человека с его *esprit* — это взаимоотношения скорее эмоциональные, нежели манипулятивные: человек не может «использовать» свой ум для достижения определенных целей, а скорее является носителем его, оценивает его, работает над его состоянием, нежели заставляет его служить определенным целям. Особенности esprit, машины-инструмента, так же как и в русском языке, связаны с особенностями представления о знании, о котором мы будем говорить далее. Развитая метафора вместилища, емкости, а также метафора органа связаны с древнейшим представлением об андрогинности человеческого существа, однако важно, что *esprit* не детородный орган, в нем ничего не рождается, мысль приходит всегда извне (*Il m'est venu à l'esprit que*, *une idée m'est venue à l'esprit*), в отличие от русского *ума*, который понимается через рождение решений.

Интересно также, что homme *d'esprit* — это остроумный, а не умный в русском представлении человек, то есть наличие *esprit* не

характеризует человека с точки зрения его интеллектуальной силы. Иначе говоря, характеристики *esprit* определяют человека с точки зрения его качеств, но не с точки зрения его возможностей. Это объясняется в большой мере тем, что *esprit* — гибрид интеллектуального и эмоционального, именно наличие эмоционального компонента в его значении, видимо, не позволяет носителю его окончательно взять над ним верх и приспособить для своих нужд. Необычайно важна также и прагматическо-социальная акцентуация понятия *esprit*, позволяющая усмотреть нам также и в нем отражение идеи стремления к благу и установок на предельную социализацию понятий. Отметим в заключение, что понятие *esprit*, в силу своей гибридной природы, очень специфическое и с большим трудом поддается полному осознанию носителями другого, например русского, языка.

Французское слово *intelligence* (n. f.) пришло в язык из латыни — *intelligentia* — и значило оно — «понимание». В христианской латыни это слово имело значение «всеобщее согласие» и «духовная сущность, ангел» (DE). Видимо, по аналогии с *esprit* также и слово *intelligence* обозначало духовную сущность, что свидетельствует о прочной связи во французском сознании интеллектуального и духовного. Соответствующий латинский глагол *intellegere* — «понимать, ценить» — это *inter* и *legere*, то есть «собирать вместе, связывать». Возможно, именно отсюда произошла европейская идея понимания как такового: понимать — значит связывать, устанавливать связь, то есть устанавливать причины и следствия. Отсюда, очевидно, и особенный нюанс в значении *intelligence*: думать — значит понимать.

Во французском языке *intelligence* первоначально употребляется с латинским смыслом — «способность знать, понимать», откуда происходят и «качества» *esprit* (мы оставляем это слово по-французски, дабы в наших описаниях не писать французское понятие, не имеющего точного русского эквивалента, русским словом). С XVI века это слово обозначает секретные отношения между людьми, откуда употребление (с XVII века) заимствованного из английского слова *intelligencier* (n. m.) а также слова *intelligences* во множественном числе для обозначения дипломатической информации (DHLF). Очевидна связь этих значений с соответствующими значениями латинского слова. Оба этих слова исчезли из современного языка, но во множественном числе у него сохранилось значение, произошедшее из соответствующего предшествующего значения: *les intelligences* — означает людей, засланных в лагерь противника. В XVI веке *intelligence de qch* означает акт или способность понимать что-либо. По расширению

значения «духовное существо» это слово обозначает «человека, способного размышлять. Употреблению «человек, отличающийся своим умом», появившемуся в середине XIX века, предшествовало выражение *intelligence de l'Etat* — «человек, играющий в государстве особую роль» (NDEF). Из приведенного описания истории значения мы четко видим связь *intelligence* с идеей понимания и с причастностью к некоему элитарному скрытому знанию.

Понятие *intelligence* было разработано аллегорически в средние века. У Чезаре Рипо мы находим такую аллегорию:

«*Intelligence* — это великолепный юноша, разодетый в золотые одежды, на голове у него корона и венок из горчичника, волосы его светлы, из макушки бьет пламя. В правой руке он держит скипетр, левой указывает на орла, стоящего рядом с ним. *Intelligence* имеет неизменную природу и никогда не стареет, поэтому изображается молодым юношей. Золотая одежда подчеркивает чистоту и простоту его существа, поскольку золото — чистейший из всех металлов. Волосы его пышны, что подчеркивает широту возможностей *intelligence*. Корона и скипетр — символы власти, которую он имеет над всеми страстями нашей души и против слабой воли. Огонь — естественное желание знать, данное познавательной способностью, оно всегда влечет к непознанному и чудесному, а чувства подчиняются ему.

Орел, на которого он указывает пальцем, — акт взаимопонимания и понимания — свойство ума, способность обращаться на себя же, производить в уме действия. Ум поэтому побеждает летящего орла — самую сильную из всех птиц.

От горчицы горит рот и очищается, проясняется мысль — великая работа интеллекта очищающего, развивающего туман страстей и сумерки невежества» (I).

Там же мы находим еще одно описание:

«Мужчина, вооруженный броней, одетый в золотые одежды, на голове — золотой шлем, в правой руке — копье. Он символизирует совершенство ума, вооруженный мудрыми советами, ими он защищается от того, кто хочет причинить ему вред.

Золотой шлем символизирует твердость и мудрость человека, копье — символ добродетели, рождающейся от ума и необходимой при защите».

Приведенное описание позволяет увидеть нам в средневековой аллегорической трактовке изучаемого понятия и известную преемственность — идею понимания и взаимопонимания — и разработку новых аспектов значения: «из понимания и следования мудрым советам рож-

даются сила и добродетель» (I). Приведенный образ расшифровывает понимание этого слова в соответствующие эпохи. Мы видим, что это:

а) защита;

б) украшение;

в) оружие.

Особо мы хотели бы подчеркнуть многократно упоминаемое *intelligence-украшение*, проявившееся в современном французском представлении о том, что умный человек — это тот, кто умеет разумно (логично) и красиво говорить. *Intelligence* как украшение, речь как украшение и свидетельство личностной состоятельности, безусловно, — одна из французских основных черт. Очевидно, что этот набор идей и представлений пришел во французские земли из античности, где ясность мысли предполагала ясность изложения, а дискуссия считалась способом поиска и установления истины.

В современном языке *intelligence* понимается следующим образом.

1. Способность знать, понимать (вплоть до современного языка и сознания эта способность ассоциируется не только с умом, но и с душой. К этому значению Le Robert предлагается такой синонимический ряд: *âme*, *esprit*, *pensée*, *raison*).

2. (узкий смысл) Совокупность ментальных функций, имеющих своей целью рациональное и концептуальное познание (противопоставляется чувствованию и интуиции).

3. Способность живого существа приспосабливаться к новым ситуациям. (В качестве синонима к этому значению Le Robert предлагает слово *industrie*, означающее в первую очередь «умение что-либо делать», и также синонимичное слову *art*, и имеющее значения: «ловкость, изобретательность, практические навыки». Весь приводимый нами в скобках синонимический ряд показывает не только специфичность изучаемого слова, но также и специфичность слов, с которыми оно соотносится, сдвиг относительно русского языка имеет, очевидно, не только гнездо, состоящее из понятий, означающих «ментальные органы», но также и другие понятия, описывающие социально значимую активность человека.

4. Качество ума (*esprit*), связанное с его способностью понимать и быстро адаптироваться.

5. Духовная сущность.

6. Человеческое существо.

7. Способность понимать что-либо.

8. Факт и способность взаимопонимания (общение между людьми, имеющими общую секретную цель, синонимы: *complicite*, *connivence*;

или сам факт такого сообщничества, а также взимопонимание между близкими людьми) (R1).

В современном французском языке слово *intelligence* имеет такую сочетаемость:

pouvoir et limite de l'intelligence;

développement de l'intelligence;

avoir l'intelligence vive, *pénétrante*, *lente*, *faible*, *épaisse*, *déliée*, *prompte*; *avoir un minimum d'intelligence*;

tendance fabricative de l'intelligence;

l'intelligence élabore une idée;

«*intelligence est une machine à fabriquer les systèmes d'abstraction*» H. Delacroix (TLF, R1, DMI).

Понятие *intelligence*, как мы видим их его сочетаемости, имеет две отчетливые коннотации.

1. Зверек, типа охотничьей собаки. Живет эта охотничья собака в мозгу (*le cerveau — siege de l'intelligence*), ее функция — проникать в объект (как в нору) и овладевать им. Этот зверек бывает ловким, живым, толстым, то есть лишенным подвижности, медленным, неловким. Главное качество, акцентируемое сочетаемостью, — возможность *intelligence* ловко действовать.

2. Механизм. Образ *intelligence* как механизма, порождающего абстрактные схемы, производящего идеи, распространен достаточно широко и создан, с нашей точки зрения, по аналогии с одной из коннотаций esprit. Важна также связь этого образа с эпохой рационализма, прямо ассоциировавшей мозг, интеллект человека с фабрикой мыслей. Связь понятия *intelligence* в первую очередь с идеей понимания просматривается также и в известном высказывании Андре Жида: «*Il faut de l'esprit pour bien parler, l'intelligence suffit pour bien écouter*» (R1). Слушать — значит понимать, понимать значит анализировать, *intelligence* описывает способность человека анализировать, понимать и благодаря этому выживать. Также и прилагательное *intelligent* в первую очередь связано с идеей познания и понимания, а отсюда и правильного поведения в заданной ситуации. Мы считаем, что этот акцент характерен именно для французской ментальности, трактующейся взаимодействием через диалог.

Французское *raison* (n. f.) — понятие также достаточно специфическое относительно русского аналога. Это слово произошло от латинского *rationem* — аккузатива *ratio*, *rationis*, в свою очередь развившегося из супина глагола *reri* (*ratum*) — считать, думать (DE). Происхождение этого глагола неизвестно. Первоначально *ratio* обозначало

«счет», затем способ считать, а также «дело». Отсюда — множество смысловых дериватов: *ratio* — способ считать, а также — суждение, метод, доктрина. Это слово часто употреблялось в риторическом языке, где с его помощью переводили греческий *logos*. Цицерон часто употреблял это слово, говоря об осуждении преступника, обозначая им аргумент, который квалифицировал дело, откуда происходит особое значение этого слова в средневековой латыни — «ссора, дискуссия». Цицерон придает слову *ratio* значение «субъективная причина», отличая его от *causa* — причины объективной (DHLF). Сопоставительный анализ французских понятий *raison* и *cause* будет нами проведен в следующих главах, однако отметим, что во французской ментальности разделение причин на объективную и субъективную сохранилось за это парой понятий и по сей день.

С XII века у слова *raison* появляются многие значения *ratio*. В среднефранцузском языке значение «счет, считание» ушло из общего употребления, оставшись только в специальной сфере (*livre de raison*) (DAF). Семантическое поле этого слова становится очень сложным особенно в классическую эпоху, когда идет активный процесс его фразеологизации, часто привносящей путаницу в его осмысление. В XVIII веке происходит еще одно расширение смысла слова *raison* — в область философии. Такое расширение связанно с деятельностью философов эпохи Просвещения, а затем также с влиянием кантианства (DHLF).

С первых же текстов *raison* по метонимии обозначает то, что соответствует истине или реальности в связи с каким-то мнением, действием или поведением, смысл, реализованный в выражениях, где слово употребляется без артикля и выступает в качестве антонима слову *tort* (DAF).

С конца XI века слово употребляется для обозначения всякого образа мысли или действия, позволяющего установить связь явлений и делающего в силу этого возможным познание. Слово обозначает также мыслительные способности в целом. Выражение *perdre la raison* (1559 г.) обозначало «стать сумасшедшим» и затем по ослаблению значения — «говорить невесть что» (DHLF).

С конца же XI века слово также употребляется для обозначения умения правильно судить о вещах, различать добро и зло, возможное и невозможное, оно противопоставлялось безумию, страсти, воображению (DAF).

Отход от латинских смыслов и оформление этого понятия в целостную аллегорическую картину происходит в средние века, под-

тверждение чему мы находим у Чезаре Рипа, так описавшего аллегорическое представление этого понятия:

«Это вооруженная молодая женщина с золотой короной на голове, руки у нее голые, в правой руке — меч, в левой — лев на привязи. На ней надет пояс с цифрами.

Благо это дается душой, чтобы она была царицей справедливых и хороших законов. Она вооружена, так как защищена силой знания. Золотая корона на голове показывает, что разума довольно, чтобы обнаружить стоящего человека, разум дает великолепие, славу, уважение и ясность мыслей.

Обнаженные руки символизируют чистые дела. Меч — это сила, намордник на пасти льва означает, что разуму подчиняются злые, сильные и дикие. Цифры — это то, чем оперирует ум, цифры всегда соотносятся с реальными вещами» (I).

В этом описании нам важно отметить, что в восприятии французов до нового времени *raison* рассматривалось как данное душой, как производное от души. *Raison*, очевидным образом обозначая здравомыслие, обнаруживает глубокие связи со своим этимоном — цифры напоминают о счете, меч о законе и правосудии. Цифры также отсылают нас к предположению что *raison* — это практический ум, направленный на достижение определенных целей.

В современном языке *raison* как эквивалент разума, но не причины, понимается следующим образом.

1. Мыслительная способность человека, позволяющая ему понимать, судить и действовать в соответствии со своими убеждениями.

2. Нормативное значение: способность человека мыслить, правильно судить о вещах и связывать свои суждения с действием.

3. Мыслительные способности и их функционирование.

4. Естественные знания, противопоставляемые откровениям или вере (R1).

В современном языке слово *raison* имеет следующую сочетаемость:

conduire sa raison;
fonctionnement, structure de la raison;
mettre, ramener, réduire, rendre qn à la raison;
va raison m'echappe;
perdre la raison;
retrouver la raison;
se rendre à la raison, revenir à la raison;
ne plus avoir toute sa raison;

entendre, écouter la voix de sa raison;
parler raison;
laisser sa raison au fond d'une bouteille, *noyer sa raison dans le vin*;
age de raison;
se faire une raison.

Из приведенной сочетаемости видно, что *raison* в современном сознании представляется, с одной стороны, как:

1. Эталон правильного действия. Именно этой трактовке служит также и сопоставление этимологического значения этого слова «счет» и наличия цифр на поясе аллегорического персонажа. Эталон — это то, что имеет шкалу и опирается на объективные критерии оценки. *Raison* — это то, к чему приводят, сводят нечто или кого-то для того, чтобы добиться правильного результата. Этот эталон можно потерять и обрести вновь, можно утратить его часть, исказить и тогда *raison* перестанет быть эталоном и не сможет выполнять основную свою функцию.

2. Советчик. *Raison* одушевляется, он наделен голосом, его можно слушать, услышать. Интересно, что среди сочетаемости, которую приводит Le Robert, много авторских контекстов, в которых *raison* одушевляется, например: «*La raison habite rarement les âmes communes et bien plus rarement les grands esprits*» (France) или «*Les choses les plus belles sont celles que soufle la folie et qu'écrit la raison*» (Gide) (R1).

Таким образом, мы видим сразу два аспекта употребления: одушевление *raison* — по преимуществу прерогатива художественного авторского текста и именно эта коннотация — основа для продуктивных художественных метафор. Что касается свободной речи, то, с нашей точки зрения, важной является связь этого понятия с разумным действием (отсюда *âge de raison*), с реальностью, для правильной оценки которой необходим raison именно как эталон правильности. Важно подчеркнуть, что *raison* — ни в коем случае не инструмент в руках человека, человек действует самостоятельно, отводя *raison* именно пассивную роль эталона.

Сопоставление описанных понятий

Мы рассмотрели два понятийных ряда в двух языках: *душа*, *совесть*, *ум*, *разум*, *рассудок* и соответствующий французский ряд: *âme*, *conscience*, *esprit*, *intelligence*, *raison*, описывающие основные компоненты наивной анатомии человека.

Описанная группа слов состояла из двух отдельных понятий (*душа*, *совесть*) и их переводческих эквивалентов и одного синонимического ряда «*ум*, *разум*, *рассудок*» — *esprit*, *intelligence*, *raison*.

При описании русских понятий было установлено следующее: *душа* занимает уникальное место в человеке, она отождествляется с личностью человека, с его жизнью (такое отождествление имеет глубокие мифологические корни), *душа* этически ценное понятие, предмет особой заботы человека. Локализация *души* — в груди человека. *Душа* входит в сочетания, представляющие ее как материальный орган, через которые описывается эмоциональное состояние человека, эмоциональное воздействие на человека как физическое воздействие на данный орган, изменение личности как изменение данного органа, раскрытие подлинных чувств и желаний как раскрытие вместилища, обычно скрытого от посторонних глаз. В русском языке *душа* мыслится в пределах нескольких четко выделенных коннотаций: *душа* ассоциируется с сосудом, заполненным жидкостью, что позволяет усмотреть в образе *души* связь с хаотическим докосмическим началом, связанным с женской детородной функцией, этот же образ развивается коннотацией «*место, где протекают и разворачиваются события*», помимо этих образов выделяются еще два — «*хлеб*» и *живое существо* с выраженной эмоциональной жизнью. Русская *душа* пассивна и страдательна. Она мыслится русскими как национально-специфический орган. Само по себе это понятие обиходное и часто встречается в обыденной речи. Все сказанное позволяет понять, почему для русского сознания столь важно понятие *души*: женское, детородное, хаотическое, эмоциональное — основа жизни.

Русская «*совесть*» (врожденное понятие *добра* и *зла*) современным сознанием воспринимается как *внутренний судья*, живущий в каждом из нас. Сочетаемость этого слова позволяет увидеть несколько образов, стоящих за этим понятием: существо, наделенное речью (человек или Бог), судящее и карающее, и хтоническое древнее существо, в наказание пожирающее человека (червь, змий и пр.). Иначе говоря, совесть символизирует христианскую идею Высшего суда и ада.

Понятие *ума* — самое широкое и употребительное из соответствующего ему синонимического ряда. Из всех синонимов именно это слово пришло из греческого языка, возможно, именно поэтому в этом понятии много специфического славянского смысла. В современном языке, по нашим данным, ум ассоциируется в первую очередь со способностью человека принимать решение, то есть порождать новое знание. Из сочетаемости этого слова мы видим, что соответствующее

понятие мыслится неодушевленным в отличие от двух других внутренних органов — *души* и *совести*. Понятие «*ума*» сопровождают такие коннотации: *ум — это инструмент и ресурс* (вспомним у Тютчева: «*Умом Россию не понять, аршином общим не измерить*»); *ум — это твердь, на которой стоит человек*; *ум — это вместилище*. Инструментальность — основное в образе *ума* — связана с особенным образом знания в русском языке.

Синонимы слова «*ум*» — «*разум*» и «*рассудок*» — оба латинского происхождения, имеют свою специфику. *Разум* ассоциируется с высшей способностью, с наличием базовых для человека представлений, *рассудок* скорее предполагает обыденное житейское знание и мысли. Слово «*рассудок*» не очень употребительно, мы можем привести в пример только такую сочетаемость, характеризующую его, с одной стороны, как предмет (*лишиться рассудка*, *потерять рассудок*), с другой стороны, как орган (*здравый рассудок*). Понятие *разума*, ассоциируемое на содержательном уровне с понятием *истины*, имеет некоторые общие с этим понятием коннотации (например, *светило*).

Русское слово «*интеллект*» — недавнее заимствование, получившее неожиданную биологическо-механистическую коннотацию, заданную мифологией нового времени: *интеллект* ассоциируется с мышцей, с телом и никак не вписывается в древние представления о единстве духовного и интеллектуального в человеке.

При описании соответствующих французских понятий было установлено следующее.

Французское слово *âme* «душа», представление о которой, безусловно, связано и с античными, и с христианскими представлениями, мыслится во французском языке, в первую очередь, как неодушевленный предмет, с которым человек совершает ряд физических действий. Французская *душа* явным образом ассоциируется с тканью и одеждой, то есть с некоторой оболочкой, в оценке которой эстетический аспект находится отнюдь не на последнем месте. Французская *душа* также отождествляется с металлом, во всяком случае, с ней для придания ей нужной формы ведут себя так же, как и с металлом. *Душа* в понимании французов — некоторое углубление внутри тела и, так же как и русская, может ассоциироваться с хлебом.

Французское понятие *conscience*, обозначающее одновременно и сознание, и совесть, что свидетельствует о том, что частая двусмысленность, возникающая в большом количестве контекстов, не принципиальна в интересующем нас значении, трактуется как «*способность иметь морально-этическую оценку своих действий*» и подраз-

деляется на *хорошую совесть* (*спокойную совесть*), *плохую совесть* (*болезненную совесть*) и *профессиональную совесть* (*добросовестность*). Исследованная сочетаемость позволяет нам увидеть четко оформленные коннотативные образы, сопровождающие это понятие. Эти коннотации таковы: *совесть* — враждебное по отношению к человеку существо, с которым человек ведет активную борьбу. В этом конфликте совесть слабая, внутренне противоречивая сторона, пугливая и готовая пойти на компромисс, подкуп, сговор. Иначе говоря, *совесть* — «легкий», не принципиальный противник. *Совесть* также и овеществляется, и в *совести-предмете* постоянно подчеркивается возможность приспособить этот предмет к своим нуждам. Опредмеченная *совесть* — это *совесть-ткань*, растяжимая и широкая, и *совесть-твердый предмет*, однако человек способен разрушить и его. Французская «*совесть*» — это также весы, подвал внутри человека. Именно в этом подвале и обитает *совесть-внутренний орган*, который страдает сам, но не мучит своего владельца.

Центральное понятие, описывающее во французском языке «орган мысли», — это *esprit*, понятие-гибрид, обозначающее в терминах русского языка одновременно и *ум*, и *душу*. Эта особенность понятия, обозначающего совмещение двух полярно разводимых русским языком начал, в полной мере отражается на его функционировании и коннотативных портретах. Основные из этих коннотаций такие: *металлическая машина большого или маленького размера*; *одушевленное крайне эмоциональное существо, живущее внутри человека и являющееся особым объектом его заботы*; *емкость внутри человека, вместилище, продолговатый орган вроде руки, хобота или фаллоса*. Важно отметить присутствие у этого понятия особого нюанса значения, связанного с его ассоциированием с практической, прагматической, материальной деятельностью и позволяющего включить его в один ряд с другими словами, в которых мы выделяли этот аспект значения (*fortune*, *occasion*, *bien*, *vérité* и пр.). Показательно также наличие классификационных признаков, показывающих рационалистическое начало французского менталитета. С такими классификациями мы столкнулись также и у слов *mensonge*, *conscience*. Какая бы коннотация не выступала на первый план, важно понимать, что *esprit* — внутренняя часть человека, человек является его носителем, но не пользователем, человек не работает им как инструментом.

Французское понятие *intelligence* (еще один эквивалент русского «*ума*») — это понятие, с нашей точки зрения, особенно акцентирующее элемент понимания, анализа в умственной деятельности челове-

ка, способность взаимопонимания между людьми. То есть, иначе говоря, это ум особого рода. Понятие *intelligence* многое «переняло» от самого сильного понятия синонимического ряда — *esprit* — и обозначает также и духовную сущность, и человеческое существо, то есть тоже приобрело некоторые черты гибридности. Особо среди значений этого слова мы бы отметили третье значение — способность живого существа приспосабливаться к новым ситуациям, — связывающее также его и с идеей практического действия.

Во французском языке понятие *intelligence* недостаточно разработано образно, мы можем говорить лишь о некоторых фрагментах, оставшихся, возможно, от некогда существовавшей целостной картины. С какой-то точки зрения, *intelligence* — слой, покрывающий мозг, с какой-то другой, — машина, порождающая абстрактные схемы. Однако образ, отождествляющий *intelligence* и машину, присутствующий также и у *raison*, — типичная научно-философская метафора, а не метафора, «которой мы живем».

Raison обычно воспринимается как эквивалент и русского «разума», и русского «рассудка». Особенности этого понятия в том, что оно связывается непосредственно с действием, а не с состоянием человека, за ним не проглядывается «души», а только лишь конкретный этимологически мотивированный образ счета, расчета, эталона, не допускающего множественность трактовок. Так же как и *esprit*, и *intelligence*, *raison* — не инструмент, а качество человека, это то, к чему взывают, *raison* — это данность, а не творение человека, созданное им для определенных своих целей.

Сопоставление русских и французских соответствующих понятий позволяет нам извлечь следующие выводы.

1. За русским и за французским понятиями души стоит один и тот же прототипический этимон «дух, дыхание», однако понятия, произошедшие от этого этимона и трактуемые принципиально сходно, развили совершенно различные образно-ассоциативные ряды, что, с нашей точки зрения, обусловлено различиями в формировании национального самосознания и привело к четким различиям сущности национальных менталитетов. Русская «*душа*», в большей степени связанная с представлением о психическом (и, следовательно, в большей мере является наследницей Психеи), — живой детородный орган, внутренняя суть человека, связанная с идеей «быть, а не казаться». Французская «*душа*» оказалась связанной с совершенно иным комплексом представлений — ткань, одежда, металл, предмет, что свидетельствует о

том, что это понятие было приспособлено французским сознанием для выражения целостной установки на то, что мир делается руками человека, приспосабливается им, перекраивается под его мерки.

2. Эту же тему развивает и французское *conscience*, имеющее с русским словом «*совесть*» также идентичное происхождение: и то, и другое слово восходят к идее со-знания, к знанию, разделяемому всеми. Однако если русское «*сознание*» превращает *совесть* в вечно доминирующего судью и палача, иначе говоря, демонстрирует при трактовке этого понятия выраженное мазохистическое начало, то французское «*сознание*» превращает *conscience* в слабого, пугливого, готового пойти на сделку или отступить противника, победа над которым не вызывает сомнения. Французский менталитет вытесняет недоступное и непрактичное (*истина*), мистическо-эмоциональное и неконтролируемое (*душа*), судящее и карающее (*совесть*). Особое акцентирование материальной сферы жизни привело к закреплению во французском языке понятия «*профессиональная совесть*», а особый рационализм сказался на наличии классификации состояний совести.

3. Центральным органом мышления в русском языке является *ум*, центральным органом мышления во французском языке является *esprit*. *Ум* — это инструмент, которым человек добывает новое знание, «открывает истины», находит выход из лабиринта и пр. *Esprit*, этимологически связанное с «духом и дыханием», является и мыслящим, и чувствующим началом. *Esprit* — не инструмент, а сущность человека, разумное начало, равно как и *intelligence*, делающее акцент на идее понимания, и *raison*, связанное с конкретным эталонным практически направленным действием человеческого разума. Иначе говоря, во французском языке не обнаруживается точного эквивалента русскому «*уму*», равно как и русский *ум*, а также и *разум* и *рассудок*, «не знают» такой особой классификации и стратификации, как французское *esprit*, и такой особенной выделенности и разработанности понятия «практического ума», имеющего во французском языке даже возможность образно ассоциироваться с наличными деньгами. Такая особенная отмеченность присутствует во французском языке во всех словах, обозначающих орган мышления. В русском же языке нет ни особой классификации, ни особой отмеченности ни одного из понятий, слово «*рассудок*», имевшее было такую отмеченность, почти что уже вышло из употребления, а слово «*разум*» не наделено в русском языке особыми возможностями образовывать понятийно-образные ряды.

Представим результаты сопоставления в обобщенном виде.

Представления французов и русских о душе:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Источник	Дыхание, запах	Дыхание, воздух
Актуальные взаимосвязи	Добро	Ум-esprit
Образ	Женское начало, хлеб, одушевленное	Одежда, деревяшка, ткань, металл, хлеб, неодушевленное
Членение ситуации	Единое понятие, противопоставлено уму, синоним: сердце	Связь с совестью (conscience) и умом (esprit), синоним: cœur, intérieure
Человек	Активный носитель	Активный
Влияние	Христианское	Античное

Представления французов и русских о совести:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Источник	Понимание, знание	Разделенное знание, сговор, сообщничество
Актуальные взаимосвязи	Душа, Бог	Сознание
Образ	Червь, дракон, подвал	Слабый враг, ткань, весы, подвал
Членение ситуации	Совесть	Один термин на два разных понятия: совесть и сознание
Человек	Пассивен	Активен
Влияние	Христианское	Рационализм

Представление французов и русских об уме:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Источник	Ум, душа, мысль	Дыхание, воздух/счет, дело

Актуальные взаимосвязи	Рациональность, находчивость	Душа, соединение рационального и эмоционального
Образ	Отмычка, твердь, склад	Металл, ребенок, яма, механизм-станок
Членение ситуации	Ум инновационный, разум (здравый смысл), интеллект (образованный ум)	Ум-душа (esprit), ум-понимание (intelligence), ум, находящий объективность (raison)
Человек	Активен	Активен
Влияние	Славянская мифология, европейское влияние	Античность, рационализм

Выводы общекультурного свойства ко всему сказанному выглядят так.

1. Французское сознание не адаптировало высшей функции за органами наивной анатомии человека. Носитель французского языка покорил *душу* и *совесть*, приписав основную жизненную энергию органу мысли — *esprit*, оказавшемуся «больше» и *души* и *совести* и ставшему основным символом человеческой сущности.

2. В сфере «внутреннего мира» для французского сознания более значимыми и поэтому стойкими оказались установки античного мировоззрения, нежели христианского, не слишком подходящего для стимулирования активности и развития общественного и личного прогресса — главных буржуазных ценностей, а также являющегося основой для рефлексии, мешающей практическому действию.

Такие же источники имеет и крайне неожиданный для русского сознания образ души как ткани, оболочки, одежды, традиционно презираемых русским одухотворенным видением мира, делающим выбор не в пользу кажущегося, а в пользу сущностного (по христианской модели), в отличие от сознания французского, выработавшего культ внешнего, кажущегося, формального, выразившегося и в формах этикета, роли моды в обществе, и в отношении к искусству.

3. Для русского сознания христианство оказалось единственно доступной и данной религией, поэтому оно пропиталось особым духом страдательности и мистицизма, русский человек чувствует себя естественно, живя внутри с судьей и палачом, имея четко очерченный одушевленный источник эмоций, трактующихся в терминах стихии,

равно как и многое из того, что эти эмоции вызывает (см. главу вторую о русских понятиях опасности и угрозы).

4. Носитель французского языка активно преобразует то, что ему мешает, где бы ни находился источник этой помехи, носитель русского языка уживается с помехой. Это напрямую связано с отношением к активности и пассивности, к ответственности и безответственности, с любовью к благу и процветанию. Особое место среди этих оценок и установок занимает уникальный русский «*ум*», инструмент для поиска выхода из сложнейших жизненных ситуаций. Не потому ли именно русские всегда были способны выживать в тяжелейших условиях, придумывая нетривиальные решения и используя все не по назначению, но поистине гениально, не потому ли именно «русские мозги» так высоко ценятся и представляют собой дорогостоящий, но искомый товар для цивилизаций, держащихся за прагматические принципы? И не в силу ли названных ранее причин русские сами не понимают или не желают понять, какой замечательной вещью они обладают, и не могут оценить ее по достоинству?

Библиография

1. *Бергсон А.* Философская интуиция. Новые идеи в философии. Сб. № 1. СПб., 1912.
2. *Урысон Е. В.* Фундаментальные способности человека и «наивная анатомия». ВЯ. 1995. С. 3—16.
3. *Мишель Фуко.* История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997; *Мишель Фуко.* История Клиники. М., 2002; *Мишель Фуко.* Надзирать и наказывать. М., 1999.
4. *Фрейд З.* Введение в психоанализ. Лекция № 31. М., 1996. С. 334—349.
5. *Лосев А. Ф.* История античной эстетики (итоги тысячелетнего развития). М., 1992.
6. *Тейлор Э. Б.* Первобытная культура. М., 1939.
7. *Лосев А. Ф.* Бытие, имя, космос. М., 1993. С. 73.
8. *Адбильдин Ж. М.* Диалектика Канта. Алма-Ата, 1974. С. 30—145.
9. *Кант И.* Сочинения. М., 1964. С. 340.
10. *Терновска О. А.* Бабочка в народной демонологии славян: «душа-предок» и «демон». Мат-лы к междунар. конгрессу по изучению стран юго-восточной Европы. М., 1989. С. 151—160.
11. *Максимов С. В.* Нечистая, невидимая и крестная сила. СПб., 1903.
12. *Апресян Ю. Д.* Образ человека по данным языка // ВЯ. 1996. № 1. С. 37—68.
13. *Frazer J. G.* Myths of the origin of fire. London, 1930.

14. Мифологическая энциклопедия: Животные в мифологии. М., 1999. С. 89—92.
15. *Платон.* Соч.: В 3 т. Т. 3. Ч. 1. М., 1968. С. 455—593.
16. *Аристотель.* Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1981. С. 369—450.

Глава девятая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ О ТОМ, КАК ОНИ МЫСЛЯТ. РАЗМЫШЛЕНИЕ, ЗНАНИЕ И ИДЕЯ В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МЕНТАЛИТЕТОВ

В этой и следующих главах мы будем сопоставлять мыслительные категории во французском и русском языках. Мы будем говорить о том, как французы и русские определяют для себя знание, причину и следствие, сомнение и уверенность, целеполагание.

Общая характеристика слов этой группы связывается для носителя русского языка с понятием *мышление* — понятием глубоко неординарным и немедленно обозначающим взаимную специфичность изучаемых культур: эквивалента русскому понятию «*мышление*» во французском языке отыскать трудно, однако трактовка этого понятия в русских толковых словарях (за исключением одного лишь Даля) непременно оперирует термином «*отражение*» — термином, заимствованным из западной культуры (именно через этот образ западноевропейская традиция, подхватывая античную, трактует умственные процессы) и глубоко чуждым носителям русского языкового сознания.

«Мышление высшая форма активного отражения объективной реальности...» — читаем мы не только в философском словаре, но и во многих других, в то время как изучение сочетаемости этого слова показывает полное отсутствие какой-либо связи этих двух понятий в представлениях людей. Факт, отсылающий к истокам формирования этого понятийного поля: в России — через переводную литературу, приводящую к заимствованиям и наполняющую исконные слова «инородным» смыслом (как это было в случае с «*мышлением*»), в Европе — через уже в который раз реанимировавшуюся античность,

«сказавшую свое слово в этом вопросе», и через вдыхание в эту античную непотопляемой строгости романской рационалистическо-просветительской души.

Эквивалента русскому *мышлению* во французском языке быть и не могло, за русским *мышлением* «стоит» исконная русская *мысль*, со всей ее обтекаемостью и прочими нетривиальными свойствами. В свою очередь русские *мысль* и *мышление* в целом «оказались совершенно неспособными» к *отражению* (не в этом ли одна из причин тех огромных трудностей, которые сопровождали массовое распространение идей объективного материализма и марксизма?), а сознание в целом — воспринять в полной мере европейский рационализм.

Однако для современного общеевропейского сознания, специфической частью которого теперь уже несомненно является и современное русское сознание, необычайно важны общие истоки представлений об интеллектуальной деятельности человека, особенно учитывая первоначально несамостоятельную «проработку» соответствующих терминов в русской культуре (1). Античная мифология и философия, французский и английский рационализм, Просвещение, немецкая диалектика, марксизм — все это общий фонд современного понимания того, что такое идея, причина, следствие, знание, цель и пр. Понимания, но не представления, в первую очередь потому, что все эти понятия мыслятся как продукты деятельности тех самых интеллектуальных органов наивной анатомии, о которых мы писали в предыдущей главе и которые очень по-разному мыслятся в двух изучаемых нами культурах.

Последние десятилетия о мышлении в философии, психологии и лингвистике писали преимущественно в терминах деятельности, именно поэтому также и в последнее время появилось множество работ, описывающих те или иные группы предикатов ментального действия. Классификациям также подвергались в первую очередь предикаты. Мы приводим здесь классификацию, предложенную В. Г. Гаком в статье «Пространство мысли (опыт систематизации слов ментального поля)» (2), поскольку полностью разделяем как ее самое, так и предпосылки, лежащие в ее основе, поскольку она не опирается исключительно на предикаты и поскольку мы с легкостью можем указать место изучаемых и сопоставляемых нами понятий в этой классификации. В. Г. Гак постулирует: «Все лексические единицы, соотносящиеся с понятием мыслить, образуют ментальное поле»... В плане языковой формы необходимо выявить все слова и значения слов, связанные с понятием мысли.

С этой целью исследуются:

1) слова с первичным ментальным значением, со всей их многозначностью;

2) переносные значения иных семантических полей;

3) словопроизводство;

4) словосочетания со словами ментального поля;

5) этимология слов ментального поля.

Важно, наконец, еще одно замечание В. Г. Гака: «Ментальное поле представляет собой нечетко очерченное поле...».

В центре ментального поля в русском языке находится глагол *думать* и существительное *мысль*, во французском соответственно — *penser*, *pensée*, *idée*.

У глаголов *думать* и *penser* словари выделяют ряд общих значений («мыслить, иметь мнение, полагать, считать, намереваться, представлять себе, подозревать, помнить, рассчитывать, заботиться»). Основные параметры и секторы поля и соответственные группировки лексических единиц такие:

1. ситуация ментального процесса: *иметь знания*, *высказывать суждения* и пр.;

2. познание (*узнавать*, *придумать*, *выдумать*, *мысль* — последние три слова связаны с идеей нового знания);

3. сохранение познанного: *знать*, *память*;

4. соотнесенность фактов по их признакам: *различать*, *сравнивать*, *обобщать*, *идентифицировать*, *классифицировать* и пр.;

5. выявление причинно-следственных связей: *понимать*, *делать вывод*, *объяснять*;

6. степень адекватности действия, то есть оценка знания с точки зрения истинности: *знать*, *истина*, *правда*, *сомневаться*, *верить*, *считать*, *предполагать*, *придумывать*, *лгать*, *воображение*, *иллюзии*;

7. временной аспект:

   а. направленность в прошлое: *вспоминать*, *узнавать*;

   б. направленность в будущее: *предвидеть*, *предусматривать* и пр.

В рамках описанных секторов могут происходить различные модификации, которые могут касаться как модуса высказывания, так и диктума. Эти модификации, относящиеся к диктуму, характеризуют сам процесс (фазы: *узнать — знать — забыть*; временная протяженность: *размышлять*, *подумать немного*, *додумать* и пр.; интенсивность: *продумывать*, *думы*, *мечтания*, *медитация*; актантно-залоговые модификации: *помнить — напоминать*, *знать — сообщать*, *понимать — объяснять* и пр.; интерперсональность: *обсуждение*,

обмен мнениями, *спор* и пр.), а относящиеся к модусу характеризуют отношение субъекта к процессу (отрицание: *согласие — отрицание*, *надеяться — отчаиваться* и пр.; эмоционально-оценочный компонент: *уверенность*, *надежда*, *подозревать*, *сожалеть* и пр.; отношение: *свободомыслие*, *инакомыслие*, *конформизм* и пр.).

Для нашего анализа и сопоставления мы взяли следующие слова, которые с нашей точки зрения описывают центральную часть ментального поля: *знание*, *мысль*, *идея*, *размышление*, *причина*, *следствие*, *сомнение*, *уверенность*, *цель* и французские переводные эквиваленты этих слов. Выбор именно этих слов для анализа был продиктован, помимо необходимости ограничения их списка, который как мы видели, огромен, следующими причинами:

1) это центральные элементы мыслительного поля, имена, называющие основные фазы и предпосылки мыслительного процесса: *знание* — база мыслительной деятельности, *причина*, *следствие* — операция анализа, связанная с пониманием, *мысль*, *идея* — операция синтеза, связанная с порождением нового знания, *сомнение*, *уверенность* — оценка знания, *идеи*, *цель* — импульс, приводящий в действие мыслительные механизмы; таким образом, в крайне сжатом виде именно этот набор понятий позволить нам увидеть отражение в двух языках самой сути мыслительного процесса;

2) мы преднамеренно не включили в этот список слова, связанные с речевой деятельностью, так как хотели получить представление о мыслительном процессе в «чистом» виде;

3) именно этот набор понятий, будучи центральным, должен предопределять специфически-национальные сдвиги в представлениях о других элементах этого поля;

4) этот минимальный набор понятий сразу же показал удачность выбора: каждому русскому понятию соответствует минимум два французских, что само по себе свидетельствует о различном членении рассматриваемой ситуации, а следовательно о взаимной специфичности понятий не только на мифологически-образном уровне (уровень представления), но и на концептуальном (уровень понимания).

Русские понятия *знание*, *мысль*, *идея*

Не только в христианской, но и во многих других религиозных и философских системах *знание* мыслилось в терминах запретного плода, признавалось существующим отдельно от человека в некотором чистом абсолютном виде, связывалось с идеей трудности овладения им, с зачастую порочным желанием человека завоевать его, который,

завоевав их, получил бы «ключи от мироздания» и сделался бы подобным Богу. Знать — прерогатива высшего начала, а не возгордившегося человека, который непременно будет наказан за свою гордыню или так, как был наказан Эдип, или так, как были наказаны Адам и Ева. В такой универсальной мировоззренческой установке мы видим отражение четкого представления о том, что знание — есть власть, а власть — атрибут избранных и немногих. Многие из этих представлений сохраняются в языках, в частности в русском, в котором самое это слово — отглагольное существительное «*знание*» — зафиксировано с XI века и связано с идеей узнавания кого-то или чего-то или соблюдения известных человеку правил. Это слово однозначно связывается с греческим прототипом, таким образом, можно тем или иным способом связывать его появление в русском языке с развитием в русском сознании христианских идей. Окончательной версии происхождения этого слова в греческом (*гносис*) в данный момент пока что не существует, поэтому мы не может соотнести глаголы *знать*, *узнавать* этимологически ни с каким конкретным действием.

Даль определяет *знание* как состояние знающего человека, как ведомость, сведение, знакомство, а также как плод учения и опыта. Отметим здесь не случайность метафоры *знание-плод*, соотносящейся и с христианской метафорой, и с более широкой ассоциацией деятельности человека с землепашеством и садоводством. *Знание-плод* — двоякая метафора, позволяющая увидеть в знании и запретный плод, и плод, которым питается человек и которым вознаграждает его природа за усилия.

В современном языке слово «*знание*» понимается как:

1) обладание сведениями, осведомленность в какой-либо области

2) во множественном числе, совокупность сведений, познаний в какой-либо области.

В русском языке слово *знание* имеет следующую сочетаемость:

хорошее, *глубокое*, *плохое*, *слабое*, *поверхностное*, *большое*, *огромное*, *блестящее*, *прочные*, *обширные*, *разностороннее*, *слабое знание/знания*;

показать, *продемонстрировать*, *обладать*, *овладевать*, *пользоваться знанием*;

знание помогает, способствует кому-либо сделать что-либо;

область, *глубина*, *уровень*, *объем*, *качество*, *прочность*, *проверка*, *оценка*, *жажда знаний*;

стремление, *тяга*, *любовь*, *интерес к знаниям*;

иметь, получать, приобретать, почерпнуть, углублять, расширять, растерять, дать кому-либо, передать кому-либо, проверять, контролировать, оценивать, использовать, применять свои знания;

тянуться, стремиться к знаниям.

Из приведенной сочетаемости видно, что знание/знания мыслятся как пассивный предмет и овеществляются в пределах нескольких коннотаций.

1. *Знание/знания* ассоциируются с *водой, водоемом*: их отсутствие вызывает жажду, они могут быть глубокими — то есть хорошими, уровень из может быть различным, как и уровень воды, и поверхностными — плохими, знания можно почерпнуть, расширить, углубить, в них можно даже утонуть, когда их слишком много, и т. д. О воде мы уже много писали в нашей работе, что позволяет поставить знание в один ряд с жизнью и смертью, рождением и трансформацией и прочими базисными идеями, связанными с движением и жизнью всего способного эволюционировать. Вторичное значение символа воды однозначно отождествляется с интуитивным знанием, мудростью. В космогонии месопотамских народов глубины вод рассматривались как символ неизмеримой, безличной Мудрости. Один из древнеирландских богов носил имя Домну, что означает «морская глубина».

Представляется, что в доисторические времена слово, обозначавшее пучину, обозначалось для именования всего того, что является безмерным и таинственным (3). Мы полагаем, что метафоризация *знания*, связанная с водой, не нуждается в дальнейшем раскрытии в силу своей очевидности: все без малейшей натяжки может быть приведено в качестве мотивировки такой метафоры, вода и влечет, будучи исходной средой обитания, и страшит, тая в себе опасность, глубина ее таинственна, в толще ее скрываются невидимые миры, а также и многое другое, включая и идею опасности, и идею скрытой сути.

2. *Пашня, женщина. Знание* родящее, животворящее, хаотическое, лишенное четкой формы, предопределяет и поведение человека-мужчины по отношению к знанию: *овладеть, завоевать, обладать*. Этот образ напрямую связан с образом воды, которая, так же как мы многократно указывали, ассоциируется основными мифологическими системами с женским началом.

3. *Предмет-опора. Знание-опора* должна быть прочной, качественной, ее можно проверять и оценивать. Именно с образом опоры связан и образ хромоты, о котором мы писали, когда анализировали понятие лжи, «знания хромают» именно тогда, когда они не совершенны, когда их не хватает, аналогично хромает и человек, лишенный

знаний. В качестве предмета-опоры знания можно приобрести, растерять, передать и пр.

Если обобщить полученный образ, то на мифологическом языке образ знания может быть представлен следующим образом: «Знание — имеет женскую сущность, отсюда коннотации и воды, и пашни. Когда мужчина познает женщину, она получает, зачинает от него знания, которые становятся ей опорой».

В русском языке нет сочетаемости, особо поддерживающей образ *знания-клада*, *знания за семью печатями*, *знания-тайны*. Этот образ едва проглядывает в высказываниях «*добывать знания*», «*делать открытие*» (*открывать закрытое*), однако такое представление все же сохраняется и укрепляется образом русского *ума*, о котором мы писали в предыдущей главе, *ума* — изощренного инструмента, лопаты, отмычки, дающего возможность добывать драгоценное знание, истинная сокровищница которого в зависимости от устоявшейся идеологии в тот или иной момент российской (как и всеобщей) истории локализуется различным образом: ее хранят то мудрецы (или младенцы), то лоно природы, то способность человека чувствовать или анализировать.

Исконно славянско-греческое понятие, обозначающее некий продукт интеллектуальной деятельности человека — мысль, оно связано с глаголом «*мыслить*» и специфическим понятием «*мышление*», с рассуждения о котором мы начали эту главу. Слово и понятие *мысль* существовало в старославянском языке, связано с индо-европейским корнем **meudh-*, *mudh-*: «стремиться к кому-либо или чему-либо» (именно этот факт позволил М. М. Маковскому в его цитировавшемся уже словаре сделать предположение об этимологической связи *мудрости* с обозначением части мужских гениталий), а также древнегреческим «*мудос*» — «*речь*, *слово*», «*замысел*, «*слух*», «*сказание*», «*сказка*».

Вл. Даль определяет *мысль* как «всякое одиночное действие ума, разума, рассудка; представление чего-то в уме; идею; суждение; мнение; соображение; заключение; предположение; выдумку; думку» и пр. Помимо известных нам значений Даль приводит специальное кулинарное значение: *мысли* — «ядра, ятра животных, идущие в пищу», а также, с пометой «архаичное», — «догадка, сметка, толк, сказание». Из того факта, что Даль все же приводит это второе значение, следует, что «греческий смысл» сохранялся у русского слова достаточно долгое время.

Древнегреческая мифология, вскормившая в известном смысле христианскую и отрицаемая последней на многих уровнях, давшая

свои ростки в обеих рассматриваемых культурах, достаточно полно «проработала» образы персонажей, воплотивших идею *мысли*.

Центральные персонажи, в большой мере определившие образную трактовку понятий *мысль* и *идея*, — это Метида, Афина и София, о каждой из которых скажем несколько слов. Метида (*Метис* — «*мысль*») в греческой мифологии — мудрая богиня, первая супруга Зевса, сумевшая ему помочь извлечь из утробы Кроноса (символа неумолимого времени) своих братьев и сестер при помощи приготовленного ею зелья. В последствии Зевс проглотил свою беременную жену Метиду, так как узнал, что их общий сын лишит его власти. После этого акта из головы Зевса родилась Афина, соединившая в себе мудрость и отца и матери. Рождение ее произошло при помощи Гефеста (или Прометея), расколовшего ему голову топором, из которой немедленно вышла на свет Афина в полном боевом вооружении и с воинственным кличем (мы можем увидеть аналогию между этим образом и русским выражением «у меня раскалывается голова», обозначающим перегруженность головы мыслями, головную боль). Афина — одна из центральных и древнейших фигур древнегреческой мифологии. Культ ее связан с периодом матриархата, возможно именно поэтому она является богиней не только мудрости и войны, но и целомудрия. На древнее зооморфическое происхождение богини указывают ее постоянные атрибуты — змея и сова (оба этих животных до сих пор являются символами мудрости во многих культурах, в том числе и русской). Афина связана со множеством стихий: ее рождение сопровождалось золотым дождем, она хранит молнии Зевса, ее изображение упало с неба, она отождествлялась с дочерьми Кекропа Пандросой («всевлажной») и Аглаврой («световоздушной»). Об Афине написано множество исследований. Отметим лишь важные для нас его аспекты: рождение ее из головы, ассоциация ее с хтоническими животным, связь ее с женским детородным культом, осмысление ее в ипостаси богини войны помогают нам понять многие из аллегорических атрибутов, сопровождающих все, что связано с интеллектуальной деятельностью (вплоть до метафор «спор — это война», столь обширно рассматриваемой в знаменитой и уже цитировавшейся книге Лакоффа и Джонсона «Метафоры, которыми мы живем»).

Несомненно, что именно образ Афины определяет принципиальную общность образной системы, сопровождающей в европейских языках базовые понятия мысли и идеи и многие из производных (в смысловом отношении) от них понятий.

Образ Софии (Премудрости — греч. «мастерство, знание, мудрость») — поздний (4) и в силу этого особенно важен для христианской трактовки описываемого понятия. Само по себе понятие «*софия*» возникло в древней Греции и употреблялся там как отвлеченное умозрительное понятие. В ветхозаветной традиции София олицетворяется, поскольку самораскрытие Бога в мире должно было принимать характер лица. София выступает как девственное порождение Бога-Отца, до тождества к нему близкая (ср. образ Афины, также девственницы, порожденной исключительно отцом). И древнегреческое и древнееврейское слова женского рода, поэтому она — «пассивное зеркало действия Божия» (не это ли зеркало определит коннотацию европейского *размышления*, французского *reflexion*, именно как отражения?). Она описывается как художница, по законам божественного ремесла строящая мир (аналогичная функция есть и у Афины). Специфику Софии составляет женская пассивность, а также заступническая роль — она заступается за человечество перед Богом. По отношению к Богу София — пассивно зачинающее лоно (если мы вспомним о том, что София — «есть дыхание силы Божией», то есть, через дыхание — душа, и вспомним о том, что мы трактовали русскую душу именно как оплодотворяемое святым духом женское начало, то лишний раз убедимся в глубоких истоках пассивности русского менталитета, подсознательно часто воспроизводящего именно этот стереотип: жизнь, душа, мудрость (то есть мышление, мысль) — детородное, оплодотворяемое, пассивное следствие чьей-то оплодотворяющей воли, все предопределяющей, решающей и несущей за все ответственность, будучи основополагающей причиной).

Христианство усваивает личностное понимание Софии. Ориген описывает ее одновременно как «бестелесное бытие многообразных мыслей, объемлющее логосы мирового целого» и как «одушевленное и как бы живое». Важно отметить, что образ Софии во многом определяет именно православную трактовку мудрости, католичество в силу различных причин этого понятие практически забыло (французское слово *sage* сегодня обозначает идею послушания и благоразумия ребенка). Особую роль образ Софии имеет именно для России, куда православие пришло практически под ее знаком (митрополит Иллларион описывает крещение Руси как приход премудрости Божией, то есть Софии) (5).

В современном русском языке существительное *мысль*, по утверждению И. М. Кобозевой (6), может обозначать:

1) процесс мышления;

2) инструмент мышления;

3) объект — содержание недеференциального метального состояния;

4) результат ментального действия;

5) область, где разворачиваются ментальные действия;

6) совокупность результатов ментального действия.

Однако в данном случае нас интересуют значения 4 и 6 — как значения центральные и осознаваемые носителями русского языка.

В русском языке слово *мысль* имеет обширнейшую сочетаемость:

хорошая, великолепная, блестящая мысль;

глубокая мысль;

инезапная, смелая, дерзкая, страшная мысль;

бесформенная, изящная, неизящная, тонкая мысль;

простенькая, нехитрая мысль;

знакомая и любимая мысль;

светлая, темная, яркая, черная, мрачная, радужная мысль;

печальная, веселая мысль;

новая, свежая, старая мысль;

неясная, прозрачная, расплывчатая, смутная, туманная, четкая, ясная;

назойливая, навязчивая, скрытая, тайная, упорная, неотступная, тревожная, тягостная мысль, невыносимая;

голая, живая мысль;

мысль витает в воздухе, с трудом укладывается в голове, приходит в голову, посещает кого-либо, работает, возникает, рождается, закрадывается, стукает в голову, проскальзывает, посещает кого-либо, прослеживается, возникает, летит, несется, напрашивается, мелькает, объединяет, разъединяет, не дает покоя, принадлежит кому-то, мысль засела в голове, бродит, блуждает, роится, овладевает кем-то, завоевывает кого-то, охватывает кого-то, преследует кого-то, беспокоит, тревожит, не выходит из головы, руководит, ведет, быть одержимым мыслью, поглощенным мыслью, погрузиться в мысли, мысли наполняют человека;

внедрять, вбивать в голову, выбрасывать из головы, доносить, подавать, подхватывать, скомкать, воплощать, развивать, навеять, внушать, проталкивать, почерпнуть, питать свои мысли, приводить мысли в порядок, ловить себя на мысли, отделаться от мысли, смириться, свыкнуться с мыслью, увлечься мыслью, тешиться мыслью, вернуться к мысли, делиться своими мыслями, проникнуться глубиной мысли;

наводить на мысль, отвлечь от мысли, прийти к мысли, подвести к мысли, разбивать чью-то мысль, поделиться своими мыслями,

собраться с мыслями, *пользоваться чьими-то мыслями*, *приучить кого-то к мысли*;

обмен мыслями.

Из приведенной сочетаемости мы видим, что русское понятие *мысль* функционирует в пределах нескольких четко очерченных коннотаций:

1. антропоморфная птица-женщина небольшого размера;
2. водоем, вода;
3. насекомое;
4. свая, вытянутый заостренный предмет;
5. еда;
6. лист бумаги.

Описание антропоморфной *мысли* развивается в следующих направлениях:

Мысль наделяется характером, который она проявляет в отношениях с человеком: она может быть *дерзкой*, *смелой*, *неотступной*, *тревожной*, иначе говоря, человек передает ей свои качества. *Мысль* описывается также как некий человек, постоянно совершающий всевозможные перемещения: она *посещает*, *приходит*, *не отступает*, *бродит*, *блуждает*, *преследует*. При этом, персонифицируясь, *мысль* ассоциируется скорее с эмоциональным началом в человеке, нежели с рациональным, мысль оказывается будоражащей, не дающей покоя, успокаивающей, она радует, тревожит, сама по себе бывает печальной и веселой.

Мысль часто персонифицируется в женском облике, может быть *любимой*, *привлекательной*, *голой*, *старой*, *простенькой*, *нехитрой*, *веселой*, *мыслью можно увлечься* и пр.

Важный аспект во взаимоотношениях человека и персонифицированной *мысли* — это чужеродность и некомфортность ее для него: человек часто хочет, но не может отделаться от *мысли*, *она навязывается*, *преследует его*, и в том случае, если настырность ее побеждает и она *поселяется* в человеке, ему приходиться *свыкаться*, *смиряться*, *сживаться* с ней. Человека можно также *приучить* к какой-то *мысли*, если он сам не в состоянии «приучиться» к ней. Описания персонифицированной *мысли* как живого своевольного неудобного для человека существа явным образом превалируют над описанием ее «достоинств».

Описание *мысли как водоема*, *жидкости* представляется закономерным, если учесть, что знание мыслится в русской метафорической системе именно в этих терминах. *Мысль* может быть *глубокой*, *ее можно почерпнуть*, *в мысли можно погрузиться*, *уйти с головой*,

мысль наполняет переполняет человека, *ею можно проникнуться*, *пропитаться* (вспомним губку, с которой мы сравниваем способного человека, мы говорим *он впитывает знания*, *информацию*, *мысли как губка*). *Мысль* может также *вытекать из чего-то*, что свидетельствует о естественной «плавной» связи ее с тем, кто (или что) ее порождает. О связи абстрактных понятий с образом воды мы уже достаточно писали ранее.

Связь понятия «*мысль*» с образом *насекомого* также представляется степени мотивированной. Мы помним о том, что насекомые символизировали душу, нематериальную сущность человека, являющуюся сосредоточием его жизни. Мы помним также, что *мудрость* (в форме христианства) снизошла на русский народ также в виде дыхания Божия. К тому же насекомые и птицы являются обитателями воздушной стихии, стихии движения и самой высокой энергии, сопрягаемой в сознании людей с образом *летящей мысли, которая озаряет и пронзает как молния* — символ силы и энергии, обрушивающейся на человека с небес.

Итак, воплощаясь в насекомое, *мысль витает в воздухе*, *летит*, *мелькает*, *ее можно поймать на лету*, *мысли могут также, наподобие мух, роиться, надоедать и быть назойливыми*.

Мысль также по понятным причинам ассоциируется с *вытянутым предметом*, *со сваей* — ведь все мыслительное трактуется в первую очередь в терминах причины и следствия, то есть как нечто соединяющее одно и другое, нечто могущее служить опорой. Овеществляясь таким образом, *мысль с трудом укладывается или вовсе не укладывается* (*ни вдоль ни поперек*) *в голове*, именно в этом качестве она может стукнуть в голову, засесть там, именно виде некоего продолговатого и заостренного предмета *ее можно вбить в голову или выбросить из головы*, а также *донести*, *подать*, *скомкать* (то есть нарушить ее линейность), *привести в порядок* (выстроить в ряд можно только строго очерченный идентичные объекты). Определенность контуров, характеризующая твердое, оформленное тело, передается также и при помощи прилагательных, описывающих *мысль* с точки зрения ее визуализации.

Хорошая, «*качественная*» *мысль* — это мысль четкая, ясная и прозрачная, то есть удобная глазу, *плохая же мысль* — это туманная, неясная, нечеткая. С этой точки зрения *мысль* ассоциируется с *осколком стекла* (*мысль еще можно разбить*) — со своего рода застывшей и оформившейся водой (через лед) — или другим артефактом, заостренным, отточенным предметом (*оттачивать мысль*, *тупая*

мысль — плохая мысль, *тупой* человек — человек, не имеющий мыслей и не воспринимающий их), который было бы удобно вбивать в голову. Отметим, что голова в этом случае мыслиться как нечто противящееся мысли, как зачастую и сам обладатель ее.

Ассоциирование *мысли с пищей, которой питается ум*, представляется развитием восприятия *мысли* как внешнего, усваиваемого и дающего энергию продукта. Однако свежей может быть также и информация, поступающая, как и мысль, извне и нуждающиеся в «переваривании» (понимании). Образ пищи также вполне уместен и понятен, он развивает метафору *мысли-продукта-порождения человеческого ума, усваиваемого другим умом*, однако сочетаемости такой немного, видимо также и потому, что *мысль* в большей степени воспринимается как нечто постороннее и чужеродное, нежели как порождение человеческого ума. Мы часто говорим по-русски: *у меня* (*в голове*) *родилась мысль*, ассоциируя себя с Зевсом, однако эта ассоциация не поддерживается другой сочетаемостью и этот образ слабо развивается в русском языке, плохо сказать «*вынашивать мысль чего-то*», лучше сказать «*вынашивать план, замысел*» и пр., конкретизируя и рационализируя «плод». Мы связываем такую ситуацию пассивности и страдательности человека по отношению к *мысли* в первую очередь с описанным нами образом Софии-Мудрости, принимающей знание, а не рождающей его, Софии страдающей, а не Афины — воинственной покровительницы материнства.

Обобщая все сказанное, мы можем выявить основные идеи, с которым ассоциируется русская *мысль*: *мысль* ассоциирована с идеей движения, часто хаотического, сопровождающего ее существование как внешнего объекта, *мысль* чужеродна и в силу этого часто трудно адаптируема человеческим умом, *мысль* вызывает у человека эмоциональную реакцию (различных планов и знаков — от сопротивления до эйфории) и часто сама бывает эмоционально наполнена, мысль как объект приложения человеческих усилий метафоризируется неодушевленно и воспринимается как артефакт.

Русское слово и понятие «*идея*», трактуемое как образ чего-либо, намерение, замысел, основополагающая главная мысль, ведущее положение в системе взглядов, воззрений, убеждений, известно с начала XVIII века и получило свое окончательное развитие только в XIX веке. Иначе говоря, это понятие позднее и связано с европеизацией русского сознания. Это слово заимствовано из французского или немецкого языка (о происхождении и значении этого слова во французском языке мы будем говорить позднее) и связывается Вл. Далем с этимологиче-

ским латинско-греческим его значением — «понятие о вещи», «умопонятие», «воображаемое представление о предмете», «умственное изображение предмета» (от греческого «видимость», «внешний вид», «образ», «наружность», «общее свойство», «начало, принцип», «идеальное начало, первообраз»). Показателен тот факт, что в словаре Даля не приводится сочетаемость этого слова, что свидетельствует о том, что оно в его время еще не обрело самостоятельной жизни в языке. Очевидно, что сочетаемость этого слова складывалась, с одной стороны, по аналогии с употреблением близкого синонима — «*мысль*», с другой стороны, отчасти заимствовалась из языка-донора вместе с самим понятием.

Мы не будем здесь приводить полную сочетаемость этого слова, так как она во многом совпадает с сочетаемостью слова мысль, а обратим внимание лишь на несовпадения значений и образов этих слов. Приведем суждение, высказанное И. М. Кобозевой в ее уже цитировавшейся работе (6), полностью разделяемое нами:

«Сопоставляя метафоры мысли и идеи, мы видим, что семантическая специфика идеи как особой разновидности мысли, с одной стороны, исключает некоторые способы ее метафоризации или сужает круг метафорических контекстов, а с другой стороны, определяет развитие у идеи новых метафор, не характерных для мысли в целом. Так, ограничения, накладываемые на пропозициональное содержание идеи, проявляются в ограничении количества атрибутов физического объекта, переносимого на нее: идеи не описываются в терминах длины, цвета, температуры, тактильных свойств. Особый статус идей, среди прочих мыслей, обусловленный их связью с модусами долга, цели и желания, проявляется в их относительной стабильности сравнительно с прочими мыслями, обычно пребывающими в движении: идея покоится в уме до тех пор, пока она либо не осуществится, либо не сменится другой идеей... Стабильность идеи... отражается в метафоре опорной конструкции (подводить под что-то идею, идея поддерживает человека, что-то опирается на такие-то идеи, идея рухнула и пр. — *М. Г.*). Как нельзя более удобной для выражения различных аспектов существования идеи в сознании человека оказалась метафора растения (прививать идеи, идея пустила корни, идеи плодоносят, срастаются и пр.): ценностно-ориентированные представления (семена) заносятся извне в сознание (почву), укрепляются в нем (пускают корни), формируются в суждения (прорастают); реальность может подкреплять идеи (питать их) или оставлять их без подкрепления (тогда они чахнут); при удачном подкреплении идеи воплощаются в жизнь (приносят плоды). Особый статус идей препятствует объединению их

с прочими мыслями и друг с другом (разного рода стаи и пр.), а тем более исключает осмысление идей как нерасчлененной однородной субстанции (вещества): идеи индивидуализированы и могут объединяться только в систему — идеологию. По той же причине именно идеи становятся объектами чувств — отношений. Обязательная связь идеи с такими регулятивами поведения, как долг, цель и желание, позволяют перенести на них свойства лица борющегося за власть над другими (идея господствует, верховенствует, быть рабом идеи, свято верить в идею, идея овладевает умами и пр.) и, достигнув ее, осуществляет контроль над действиями других лиц». Отметим, что последнее очевидным образом связано с социализированным понятием и образом *правды* (см. соответствующую главу этой книги) — идеи революционной и ассоциирующейся с классовой борьбой предсоциалистического периода, особенно если учесть, что это слово пришло в русский язык и развивалось в нем именно в соответствующий период.

Понятие *идеологии* применительно к российской действительности ушло в прошлое вместе с социалистической идеей, равно как и эпитет «идейный» применительно к человеку, в современном языке либо утратило смысл, либо однозначно обозначает его принадлежность к партиям, разделяющим коммунистические идеалы. Очевидно, именно в связи с этим слово «идеология» получило отрицательную окраску, а само понятия идеи в некоторых своих употреблениях сохраняет особую политическую акцентированность, особенно в сочетаниях «*социалистическая идея*», «*русская идея*», «*идея свободы*», «*равенства*» и пр., немедленно ассоциирующую это понятие с классовой борьбой и недавней российской историей.

Итак, *идея* в русском языковом сознании ассоциирована с образами:

1. растение;
2. царь, предводитель, национальный лидер;
3. пропагандисты-вольнодумцы (идеи бродят, брожение идей);
4. пар (идеи клубятся, бурлят, закипают).

О русском слове и понятии «*размышление*» словари дают крайне скудную информацию, несмотря на то что, даже если это слово не обладает богатой сочетаемостью, используется оно очень частотно. Очевидна этимологическая связь размышления с *мыслью*, а приставка *раз-* в данном случае, возможно, этимологически связана с понятием разнообразности, размышления, потому, вероятно это — состояние нецеленаправленное и статическое (это мы увидим чуть позже), что связано с «роением мыслей», с одновременным обдумыванием сразу

нескольких идей, причем с обдумыванием не энергичным, а скорее пассивно-созерцательным. *Размышление* Даль определяет исключительно через действие глагола и не предлагает никакой сочетаемости (он приводит лишь устаревшее значение этого слова — разномыслие, разногласие, ссора, подтверждающее наше предположение о значении префикса *раз-*). Глагол он толкует так: «раздумывать, обдумывать, раз(об)судить внимательно, разбирать, соображать или думать над чем-то». Ожегов добавляет: *размышлять* — «углубиться мыслью во что-то, предаваться мыслям о чем-то».

В русском языке слово *размышление* имеет следующую сочетаемость:

углубиться, погрузиться, уйти с головой в размышления;
находиться, пребывать в размышлении;
тяжелые, глубокие размышления;
сумрачные, гамлетовские, печальные размышления;
пространные, смутные размышления;
наводить на размышления;
дать пищу для размышлений;
поделиться своими размышлениями.

Из приведенной сочетаемости мы видим, что размышления по преимуществу связаны с негативным эмоциональным фоном, характеризуются аморфностью и целенаправленностью. Мы не можем сказать **в результате своих размышлений он наконец решил эту задачу* или **стройные и четкие размышления помогли ему найти выход из положения*. *Размышления*, в первой своей ипостаси, — это некое состояние, в которое человек приходит, из которого, сделав соответствующее волевое усилие, может выйти. *Размышление* явно в этом случае ассоциируемое с водоемом, — вдобавок состояние статическое — в размышления погружаются, углубляются и находятся в нем. Другие образы *размышления* производны от образов мысли, это образ чего-то или кого-то, нуждающегося в пище, а также некоторого предмета, которым можно поделиться. Однако в этих контекстах, по нашему убеждению, значение слова *размышление* сливается со значением слова *мысль*, равно как в сочетании «*он ушел в свои мысли*» означает «*он задумался, впал в размышления*».

Размышление бывает также еще и здравым, то есть целенаправленным, но это особый вид размышления, оттеняющий обычные его качества.

Мысли и *идеи* отражают креативные способности *ума*, возможности синтезировать. Аналитические способности его — понимание —

связаны в первую очередь с установлением причин и следствий, взаимосвязи событий, фактов, понятий.

Теперь рассмотрим соответствующие французские понятия — *connaissance*, *savoir*, *idée*, *pensée*.

Русскому понятию «*знание*» соответствуют два французских слова и понятия: *connaissance* и *savoir*.

Французское *connaissance* (n. f) произошло от действительного причастия настоящего времени глагола *connaître*, в свою очередь происшедшего от латинского *cognoscere* (XII век). Как и латинское слово, французский глагол обозначал «узнавать, познавать что-либо» с инхоативным элементом значения, отмечающимся у всех латинских глаголов с *-scere* (*рождать*). Однако в прошедших временах он, что вполне логично, выражает идею знания (ср. русское библ. «он познал ее»), с которой он и попал во французский язык. В частности, этот глагол обозначал «узнавать, познавать», а также «иметь с кем-либо интимные телесные связи». *Connaissance* употреблялось в области знания (в единственном и во множественном числе с XV века), в области права (1283), а также в рамках социальных отношений (с XV века). По метонимии *connaissance* обозначало также человека знакомого (обязательно предполагавшаяся ранее интимность отношений при употреблении этого слова исчезла). В выражении *faire connaissance avec qn* вновь обнаруживается инхоативный оттенок смысла латинского глагола, однако выражение употреблялось также и в переносном смысле.

В современном языке *connaissance* имеет следующие значения.

1. Факт или способ познания, способность познавать, свойственная живым существам.

2. Следы, оставляемые животным, на которого охотятся.

3. Отношения, устанавливаемые между людьми (в женском роде — знакомый человек).

В современном языке *connaissance* в интересующем нас первом значении имеет следующую сочетаемость:

connaissance exacte, *profonde*, *précise de qch*;

connaissance abstraite, *spéculative*, *pratique*, *expérimentale*;

venir à la connaissance, *perdre la connaissance de...*;

la connaissance bornée, *lagre*;

perdre connaissance, *tomber*, *rester sans connaissance*, *reprendre connaissance*;

connaissances acquises;

posseder des connaissances sur qqch;

appofondir, *enrichir ses connaissance par l'étude*;

agrandir le cercle, le champ, étendre la sphère de ses connaissances; inculquer, assimiler, augmenter, saisir une ou des connaissances; les branches de la connaissance;

connaissance vaste, profonde, étendue, superficielle, précise, ample, élémentaire, solide, sérieuse, fragile, fugace, habile, fugitive, sure, claire, ordonnée.

У нас нет оснований предполагать, что у современного слова *connaissance* (n. f.) в значении «знание» сохранилась какая-либо связь с идеей знакомства того или иного свойства с человеком, но следы этого значения остались. Очевидно, во-первых, из особенностей сочетаемости соответствующего глагола, во-вторых, из факта наличия другого глагола (*savoir*), никогда не применяющегося в значении *connaître*, когда речь идет о знакомстве с людьми, в-третьих, из особого, третьего значения самого слова *connaissance*, — что здесь речь идет об особом способе познания, дающем именно *connaissances*, а не *savoirs*.

Определение первого значения у Robert — «способность познания, свойственная живым существам» — также подтверждает наше предположение о том, что *connaissance* — это знания, полученные всеми доступными человеку способами, и чувственным, и рациональным. Речь не обязательно идет о каких-то конкретных знаниях, но о знаниях как таковых. Поэтому нам кажется вполне понятным обозначение потери сознания через *perdre connaissance*, ведь *connaissance* — это не только знания, но и знания-чувства.

Из приведенной сочетаемости мы можем вычленить несколько сопровождающих это понятие вещественных коннотаций.

1. Водоем. Эта коннотация совпадает с соответствующей уже описанной коннотацией русского слова, что свидетельствует о том, что или оба эти понятия восходят к некой общей мифологическое системе, или русское слово, что вполне возможно, заимствовало, через переводы, сочетаемость французского (английского или немецкого) слова.

2. Круг, сфера, поле (все круглой формы ср. в русском языке — *круг интересов*). Нам представляется очевидной связь этой коннотации с солнечным культом, давшим обильную сочетаемость и коннотативные поля многих понятий, связанных с интеллектом, знанием, истиной и прочими понятиями ментального поля.

Неплохая расшифровка этой коннотации представляется при анализе гравюры Бовилуса «Интеллект» (Париж, 1510 год), представляющей солнце как активное начало, как «интеллект» ангельский, а луну как пассивное начало, как «интеллект человеческий». На этой же гравюре изображены и «сферы знания» — *maretia, mineralia, viuen-*

tia, *sensibilia*. Помимо этого сфера, круг, поле — символы замкнутого целого, уподобляющие голову человека небесным светилам (ср.: *светило* говорят об ученом, враче, но не о пианисте, художнике, так как у первых двух важны знания, а у вторых — мастерство). Очевидно, что это древняя, дохристианская аллегория и в силу этого — в высокой степени универсальная. Христианская образная система оставила свой след в *branches de la connaissance*, соотносимых в древом познания.

Французское слово и понятие *le savoir*, обозначающее «знание и умение» — субстантивированный глагол, произошедший от латинского *sapere*, непереходного глагола, обозначающего «иметь вкус», «пахнуть», а также «чувствовать органами вкуса», откуда через расширение «иметь ум», «быть благоразумным», «знать», «понимать».

Savoir (n. m) обозначает «знания» (зафиксировано с 842 года), затем «мудрость», «ловкость, умение». Это слово с XII века и до настоящего времени обозначает совокупность приобретенных знаний, в XII же веке это слово обозначало магическое искусство.

Таким образом, из сопоставлений этимологий слов *connaissance* и *savoir* мы видим, что оба это слова связаны с чувственным познанием, однако первое понятие восходит к чувственному познанию другого человека, а второе — к чувственному познанию только материального мира.

В средневековой аллегории образ *savoir* был чрезвычайно разработанным. Чезаре Рипа так описывает *le savoir* (слово долгое время было женского рода):

«Это женщина, которую окружает ночь, она одета в одежду бирюзового цвета, в правой руке у нее — горящая лампа, полная масла, в левой — книга.

Изображается молодой, поскольку ей покровительствуют звезды, которые не стареют, они открывают ей божественные секреты, живые и правильные извечно и навечно.

Свет — это свет разума, книга — это Библия — книга книг».

Человеческое знание Чезаре Рипа описывает так:

«Все разделяют мнение, что древние изображали Минерву таким образом, каким они ее представляли: она родилась из головы Иеговы, она не умеет заблуждаться, у нее три головы, чтобы советовать другому, размышлять для себя и рассуждать в воображении. Человеческое знание часто изображается в виде обнаженного юноши, у которого четыре руки и четыре уха, в правой руке — флейта (излюбленный инструмент Аполлона), на боку у него висит колчан. Этим они хотели продемонстрировать, что знания — это не только и не столь

созерцание, но умение вести дела (четыре руки), а также слушать советы других (четыре уха). Стрелами он приобретает и удерживает знания».

Божественное знание Чезаре Рипа представлял, ссылаясь на соответствующий источник (Dilectio Dei Honorabilis Sapientia in Eccl. cap.1), так:

«Поскольку мирское знание мы представляли в соответствии с образом Афины Паллады, мне кажется необходимым, чтобы божественное знание выглядело следующим образом: очень красивая и здоровая женщина, стоящая на квадрате, с белой перевязью, на груди у нее латы, на голове — шлем, на котором сидит петух. От висков и ушей ее исходят лучи божественного сияния, в правой руке круглый щит с изображением святого духа посредине, в левой руке книга мудрости, с семью печатями, а на ней пасхальный барашек.

Она стоит на квадрате, так как опирается на устойчивую основу, которая не шатается, не опрокидывается ни на какой бок.

У нее белая перевязь, так как белый — чистый цвет, приятный Богу.

Вооружение ее — мистическое вооружение.

Петух на шлеме — разум и свет разума. Платон пожелал посадить петуха ей на голову. Представление петуха как символа разума имеет глубокий смысл. Пифагор и Сократ связывали с петухом душу, но только такую, в которой есть настоящий разум.

Лучи — символ святости и благочестия.

Святой дух на середине щита представляет мир, вот почему божественное знание постоянно управляет миром, также и потому, что оно может посылать свет и мудрость правителям, чтобы они разумно управляли.

Книга символизирует знание, находящееся за семью печатями, и в первую очередь то, что приговоры знания скрыты от людских глаз».

Как и всегда, мы видим, что аллегории, описанные Чезаре Рипа, глубоко эклектичны по своей природе, они соединяют античную образную систему с философской моралью, однако содержат в себе все противопоставления, значимые для французского менталитета сегодня — разделение знания на человеческое и практическое.

В современном языке под словом *savoir* (n. m) понимается совокупность более или менее систематических знаний, полученных последовательной интеллектуальной деятельностью, а также специальное философское значение — «состояние знающего разума; отношения между субъектом и объектом познания».

Мы не можем привести практически никакой сочетаемости этого слова (пожалуй только *l'étendu de son savoir*, *la part de son savoir*). Оно литературно, его глагольное «прошлое» помешало ему полноценно развиться в субстантивированном облике, и поэтому в подавляющем большинстве контекстов будет использоваться *connaissance*, а не *savoir*.

Особенности этого понятия нам может приоткрыть его отрицательная сочетаемость: человек не может совершать никакого действия с *savoir*, ни расширять, ни демонстрировать, ни углублять, *savoir* — это внутренняя скрытая данность, факт, не поддающийся экспликации. У слова *savoir* не обнаруживается ни одной целостной коннотации (сферы, водоема, сосуда с жидкостью), некоторые рудиментарные островки протяженность *savoir*, явно недостаточны для какой-либо серьезной реконструкции. Важной особенностью *savoir* являются его производные *savoir-vivre*, *savoir-faire* и пр., где это слово означает «умение» и трактуется соответственно как «умение хорошо управлять своей жизнью; качества человека, владеющего правилами хорошего тона» и «практический навык в разрешении жизненных проблем, умение достигать поставленной практической цели». В этих сочетаниях *savoir* приобретает значение практического навыка, позволяющего человеку хорошо устраивать свои дела, иначе говоря, в ряде контекстов мы обнаруживаем в его значении прагматическую маркированность, о которой мы столько писали ранее. Огрубляя, мы можем констатировать, что во французском языковом сознании существует как бы два вида знания — абстрактное и практическое, имея в виду под практическим знанием производные от *savoir* сложные существительные и тот факт, что в значении «знание» *savoir* употребляется редко и ограниченно.

Эквивалентами русских понятий «*мысль*» и «*идея*» являются *pensée* и *idée*, однако, несмотря многочисленные аргументы, склоняющие в пользу установления четкого соответствия между ними, существуют контексты, заставляющие провести более тонкие разграничения в значении и употреблении этих слов (так, например, мы не можем перевести «*у менять есть одна мысль*» как **j'ai une pensée* или *j'ai aucune idée de cela* как **у меня нет никакой идеи об этом*).

Французское слово *pensée* (n. f) — субстантивированное причастие прошедшего премени женского рода глагола *penser*, произошедшего в свою очередь от латинского глагола *pensare* — фреквентатива от *pendere*, означавшего также «взвешивать», откуда два различных

производных — «взвешивать, платить» и в интеллектуальной области — «оценивать» (интересна параллель, возникающая с русским «взвешивать» в значении «подумать», например, «*он все взвесил и сказал*...»). С XIII века *pensée* обозначает сам разум как орган мышления, вычленившись из выражения *être en pensée*, что означало «быть обеспокоенным чем-то». В течении XIII века по метонимии слово начинает употребляться для обозначения способности мыслить и далее — для размышления, мысли. Многие из значений этого слова, распространенных в XIII веке, вышли из употребления («душевные склонности», «воля», «намерения»). Параллельно с этими употреблениями с XVI века отмечается использование этого слова во множественном числе с особенным значением — «надежда».

Контексты, в которых это слово связывается непосредственно с интеллектуальной деятельностью, становятся особенно многочисленными в XVII веке: *pensée* обозначает продукт деятельности человеческого разума, то, что человек обдумывает в настоящий момент. По метонимии *pensée* начинает обозначать мнение, точку зрения (например, у Паскаля). Затем слово попадает в область литературы и начинает обозначать лаконично сформулированную мысль, афоризм (Паскаль, Ларошфуко).

У Чезаре Рипа находим следующий образ *pensée*:

«Старый мужчина бледный и тощий, одетый в темную переливающуюся одежду, волосы его встали дыбом, на голове и на плечах у него крылышки, щекой он опирается на левую руку, а правой держит моток ниток, весь перепутанный, рядом стоит орел.

Он изображается старым, так как наиболее отточенные и зрелые мысли характерны скорее для старости, нежели для молодости.

Он бледный, тощий и грустный, так как мысли рождаются от неудовольствия, и это есть причина расстройства и печали, которую человек пережевывает и поглощает.

Переливчатая одежда означает, что мысли переменчивы и спонтанны, как говорит Петрарка, «на каждом шагу рождается новая мысль».

Крылатый он потому, что при помощи мыслей своих человек уносится в небо.

Многие говорят, что мысль — это мотор ума, который намерение направляет туда, куда ему нужно, там же хранятся образы прошлого, настоящего и будущего».

В современном французском языке слово *pensée* имеет следующие значения.

1. Все, что вырабатывает сознание, всякий осознанный психический феномен, психическая деятельность, направленная на познание, образ мысли.

2. Совокупность представлений, образов, хранящихся в сознании (синонимы: *idée*, *image*, *sentiment*). По расширению: кратко выраженная мысль.

3. Результат конкретного мыслительного действия.

В современном французском языке слово *pensée* имеет следующую сочетаемость:

emettre, *formuler*, *exprimer*, *traduire*, *concrétiser*, *développer une pensée*;

s'abîmer, *s'absorber*, *se plonger dans ses pensées*;

attacher, *détacher sa pensée*;

etre assailli de pensées;

la pensée se porte, *se reporte sur qch*;

la pensée obsède, *traverse l'esprit*, *jaillit*, *attriste*, *réjouit*, *console*, *réconforte*, *vient à l'esprit*;

une pensée claire, *obscure*, *juste*, *profonde*; *judicieuse*, *fine*, *funeste*, *lugubre*, *sacrilège*, *obsédante*, *abstraite*, *dominante*, *amère*, *joyeuse*, *affreuse*, *horrible*, *soudaine*, *subite*, *délicate*, *confuse*, *vague*, *fixe*.

pensée généreuse, *engagée*, *la libre pensée*;

les grands courants de la pensée;

découvrir le fond de ses pensées;

chasser qn, qch de la pensée de qn;

avoir la pensée émue pour qn;

etre dans la pensée de faire qch;

partager la(*les*) *pensée*(*s*) *de qn*;

qch a trait à la pensée de qn;

etre plein de pensées.

Из приведенной сочетаемости мы видим прежде всего существенное пересечение образной структуры русской мысли и французского pensée. Так, центральная коннотация, сопровождающая это понятие в русском языке, имеется и во французском:

1. Жидкость, водоем, и, видимо, этот образ из французского языка и заимствован (*être plein de pensée*, *s'absorber*, *se plonger dans lel pensée etc*).

Обнаруживаются также и другие общие коннотации, конкретизирующие *pensée*:

2. Пропасть, колодец, имеющей дно и мыслящий внутренний мир человека как некое углубление внутри него, куда можно спуститься,

чтобы услышать голос собственной совести, где располагаются, в частности, такие же колодцы мыслей, имеющие дно. С этим образом *связан* другой универсальный индоевропейский образ, *связанный* с идеей черпания знания, как воды из колодца.

Именно из этого внутреннего мира, частью которого мыслиться и человеческая мысль во французском языковом сознании, можно прогнать кого-то (из сердца — вон), и в этом смысле на образном уровне французская мысль ассоциируется с сердцевиной человека и коннотируется как:

3. Душа (центральное отверстие в человеке, сердцевина), сердце, сосредоточие эмоционального в человеке.

Обращает на себя внимание и внутренняя структурированность французской мысли, что позволяет усмотреть у нее коннотацию:

4. Текст. Именно поэтому ее можно *traduire*, то есть как бы переводить из одной знаковой системы в другую. Это же с нашей точки зрения подчеркивает и сочетаемость этого слова с глаголом *formuler*, в большей степени связанным с идеей придания формы, чем русское заимствованное «формулировать».

В сочетаемости французского существительного *pensée* обнаруживаются также рудиментарные черты некогда, возможно, целостного образа мысли-птицы или чего-то близкого к этому.

5. Птица-мысль ведет себя так: *La pensée se porte*, *se ra raporte*, *on attache* (*détache*) *sa pensée*, *qui peut être émue pour qn*, «летающую мысль» мы видели у Чезаре Рипа, мы читали также и о птице, сидящей у ног старого человека, воплощающего задумчивость, и, учитывая всю сложную мифологическую проработку именно этого образа (птицы), мы склонны видеть в этой поддающейся неоднозначной трактовке сочетаемость, именно этот, а не какой-нибудь другой образ. Развитие образа, описанного у Рипа, мы находим также в сочетаемости *une pensée soudaine*, *subite* и как антоним *fixe*, описывающей переменчивость и быстротечность французской мысли, и как особое ее качество — фиксированность. Особый оттенок значения понятия *pensée* связан также с присутствием в нем субъективно-эмоционального компонента, дающего возможность обозначать при помощи этого слова «мнение, точку зрения» и пр.

Эмоциональный компонент позволяется в ряде случаев трактовать *pensée* как эмоциональное состояние, и именно в силу этого, как нам кажется, нельзя сказать *j'ai une pensée* в значении «у меня есть одна одна мысль» (*j'ai une pensée émue pour* означает «с нежностью подумать о ком-то, вспомнить кого-то»). В остальном мы можем кон-

статировать очень высокую степень совпадения русского и французского понятийных и конотативных полей.

Французское слово и понятие *idée* (n. f.) произошло в XII веке от философского латинского слова *idea* «разновидность вещи», позднелатинское значение — «осязаемая форма», заимствованная из греческого, где это слово означало «внешний вид», откуда «разновидность, категория» и, у Платона, «идеальная форма, отражаемая мыслью», дериват от глагола *idein*, аориста *horan* — «видеть» (а также *videre*).

Первоначально слово *идея* обозначала форму вечных вещей, присутствующих исключительно в боге, затем (У Оресма) — вечную познаваемую сущность чувственных вещей (архетип), заданную сущность вещи. Затем слово обозначает видение, представление о чем-то, которое разум вырабатывает в области действия. Тогда же, в XV веке, слово «реанимирует» этимологическое значение «формы, образа», откуда происходит самое распространенное значение «образа существа, предмета, воспринятого органами чувств»), «приблизительного видения». Помимо этого с XVI века идея обозначает образ кого-то или чего-то, воспроизводимый при помощи воображения или реализуемый из памяти. Это значение выступает на первый план в выражениях *en idée — en imagination* и *j'au idée que — il me semble que*, *se faire des idée* — «воображать невесть что».

С XVII века слово обозначает всякий образ, выработанный мыслью, в не зависимости от того, стоит ли за ней реальный объект или нет. *Les idées* — «мировоззрение человека, совокупность его взглядов на жизнь». Особое значение этого слова развивает наметившуюся тенденцию к обозначению субъективного человеческого интеллектуального проявления, выступает на первый план в выражении *juger*, *agir selon son idée*, *ne faire qu'à son idée* и обозначает «особый образ действительности, выработанный человеком, особое мировоззрение». С XVII века это слово употребляется также как синоним *esprit*.

В современном языке у слова *idée* выделяются следующие значения.

1. Архетип по Платону.

2. (с XVII века) Интеллектуальное представление, отличное от аффективного:

а. абстрактное и общее представление о чем-либо;

б. всякое представление, выработанное мыслью (вне зависимости от того, существует ли реальный соответствующих объект или нет);

в. примитивное приблизительное видение чего-то;

г. концепция нереальная и ложная, фантазия;

д. более или менее оригинальная точка зрения, которую вырабатывает интеллект в области знания, действия или искусства;

е. особый способ представлять себе реальность.

3. Человеческий разум.

Из приведенного списка значений французского слова мы видим, что оно связано в первую очередь со зрением, видимым образом. *Idée* — это идея-представление, идея-видение, которая субъективна и часто обращена в другую воображаемую реальность, туда, где находятся и *rêve* и *mensonge*. Анализируя современные значения *idée* мы может утверждать, что они сохранили тесную связь с этимоном, к которому восходит вся специфичность французской *idée*. Иначе говоря, *idée* — это внутреннее интеллектуальное зрение человека, которое может видеть как реальность, так и воображаемую реальность.

В современном французском языке у слова *idée* имеется следующая сочетаемость:

concevoir, émettre, formuler, exprimer, professer, suggérer, adopter, partager, poursuivre, défendre, abandonner, combattre, écarter, rejeter, confirmer, corroborer, infirmer, éveiller une idée;

etre imbu, pénétré, ne pas démordre d'une idée;

echanger, heurter des idée;

etre féru d'une idée;

depouiller de

les adeptes d'une idée;

une idée naît, surgit, effleure;

des idées s'affrontent;

une idée claire, lumineuse, originale, banale, baroque, bizzare, vague, stupide, précise, saugrenue, morbide, saillante, inconcevable, erronée, fausse, spécieuse, subversive, machiavélique, démoniaque, infernale, satanique, directrice, maîtresse, principale, préconçue, répandue, arrêtée, nette, évidente, incroyable, antagoniste;

avoir des idées gaies, noires;

suivre, perdre le fil de ses idées;

incapable de réunir deux idées;

sauter d'une idée à l'autre;

changer d'idée;

prendre l'idée de qch dans qch;

idées avancées, étroites, larges.

Крайне несущественное совпадение сочетаемости слов *pensée* и *idée* подчеркивает легко выявляемое на уровне их определений несовпадение понятий. *Idée* — это *toute représentation élaborée par la pensée*.

Иначе говоря, *penser* — действие-процесс, *pensée* — это состояние-процесс, *idée* — это результат этот процесса, однако результат, находящийся скорее в сфере представлении, нежели чистых соображений. *Idée*, будучи конечным продуктом мыслительной деятельности, представляется во французском сознании предельно обособленно и абстрагировано от человека. Человек зачинает идею, и она рождается у него (впрочем, по-французски невозможно сказать: «*у меня родилась мысль*», она рождается самопроизвольно и где угодно). Появившись на свет, идея либо персонифицируется, либо овеществляется. И в том и в другом случае при описании этого понятия через сочетаемость на первый план выступает некоторый антагонизм отношении человека и идеи или идей друг к другу: идею преследуют, защищают, с ней сражаются, ее калечат, отстраняют, отбрасывают, к ней примыкают. Идеи сталкиваются друг с другом. В сочетаемости слова *idée* с прилагательными удивляет обилие отрицательных эпитетов, которые возможно употребить с этим словом: она и сатанинская, и адовая, и дьявольская, и макиавеллическая, и пагубная. Иначе говоря, жизнь идей воспринимается как борьба идей. У *idée* есть также и коннотация «вода», однако это не водоем, где покоится влага, а ключ, бьющий из скалы или земли. «Водная» коннотация *idée* подчеркивает энергию, а не аморфную форму. Энергия и движение — основная форма существования развивающейся *idée*, поэтому «остановившиеся идеи» — это идеи, прошедшие стадии внутреннего антагонизма и роста и сопровождающие некое состояние внутреннего равновесия и зрелости. Idée овеществляется также и в виде некоторого ценного продолговатого предмета, который можно делить, не выпускать из зубов (не отказываться от своей идеи), а также она ассоциируется с нитью (идеи можно связывать). Этот предмет может быть узким или широким, и чем он шире, тем он лучше (тем больше им можно охватить).

Подавляющее несовпадение сочетаемости французской мысли и идеи, определяемых почти как синонимы, показывает существенное различие в их значениях, выявляемое исключительно через особенности их образной системы. Так, *idée* явным образом осознается как волевое направление *pensée*, характеризующееся в свою очередь как непроизвольное, неконтролируемое, внутреннее мыслительное состояние. *Idée*, в отличие от *pensée*, представляется неким законченным целым (именно это и характеризует результативность *idée*, в отличие от процессуального *pensée*). *Pensée* нельзя ни *professer* (проповедовать), ни *adopter* (принимать), ни *écarter* (отклонять), ни *rejeter* (отбрасывать) именно в силу того, что *pensée* — глубоко внутренняя

сущность и не характеризуется завершенностью. *Pensée*, будучи внутренней реальностью, в принципе не предназначается для высказывания, высказанные *pensée* не обязаны отличаться хорошей структурой, «подготовленностью для восприятия». В этом смысле название известного произведения Паскаля «Pensées» представляет собой как бы словесную игру, указание на то, что в своей книге он говорит об интимном, внутреннем, может быть даже не законченном, представляя на суд читателя книгу блистательных афоризмов.

Pensée связано с воспоминаниями, обращено в прошлое и настоящее, *idée* непременно связано с новым. Появление *idée* мотивировано определенной целью, которую ставит перед собой человек, *pensée* же проявляются самопроизвольно. *Pensée* органично сочетается с эпитетом *secrète*, *idée* — нет. *Pensée* плохо сочетается с эпитетами, обозначающими новизну, необычность, *idée* с такими эпитетами сочетается прекрасно. В высказывании *veux-tu que je te dise toute ma pensée* отнюдь не предполагается, что перед нами возникнет стройная теория, отличающаяся новизной, а скорее предполагается откровенность и, возможно, даже сумбурность искреннего рассказа. Высказывание *il cachait à tout le monde ses pensées* описывает нормальную с точки зрения французского языка и менталитета ситуацию, высказывание *il disait à tout le monde ses pensées* описывает ситуацию не вполне адекватного поведения. Мы можем с легкостью возвести описываемые нами два слова с соответствующим мифологическим архетипам — *idée*, рождающаяся из головы Зевса Афина, рождающееся новое, внешнее, оформленное, *pensée* отражает то, что представлено в средневековой описанной нами аллегории, задумчивость, погруженность в воспоминания, грусть, спутанность мыслей (как клубок ниток), мешающая четкому их выражению и пр.

Итак, *pensée* и *idée* кореллируют как данное и новое, незаконченное и законченное, внутреннее и внешнее, процесс и результат.

Коннтотативный ряд этого понятия связан с материнскими мифами и представляет собой такой список.

1. Живое существо (типа Афины), отсюда и энергия, и воинственность, и метафора военизированного столкновения идей.

2. Продолговатый предмет (типа того, что в русском слове ассоциировался нами со шпалой, балкой), инструментальность этого понятия.

3. Нить, традиционно символизирующая собой идею связи, связывания, соединения синхронного и диахронического.

4. Ключ, источник, часто символизирующий собой движение, жизнь, эмоциональность. Этот образ также задает направление целого ряда метафор, связанного с когнитивным полем и имеющего ин-

доевропейский ареал распространения — *жажда знания*, *утолить информационный голод* (*жажду*) и так далее.

Процесс «думания», обозначаемый по-русским словом *размышление*, выражается на французском языке двумя понятиями: *méditation* и *réflection*. Закладываемые этими понятиями трактовки процесса, о котором мы говорим, существенно отличаются от русских.

Обратимся к описанию каждого из этих понятий.

Méditation (n. f.) заимствовано от латинского деривата (XII век) *meditatio*, обозначавшего «подготовку речи к произнесению или написанию», «размышление» (существительное заимствовано до глагола, который зафиксирован во французском языке лишь в XIV веке). Это слово очень часто во втором значении использовалось у христианских авторов и было заимствовано во французский язык со значением «созерцание», затем оно попало в обычную речь со значением «действие глубокой задумчивости» (XIV век). По метонимии это слово дало название литературному жанру, приписанному Святому Августину, и также использованному Декартом (*Les Méditation métaphisiques*) и Боссюе, в поэзии — Ламартином (*Méditation poétiques*; *Nouvelles Méditations*), что позволило определить эти произведения как произведения на религиозную или философскую тему.

У Чезаре Рипа находим такое описание аллегорического портрета *meditation*:

«Женщина зрелого возраста величественного и скромного вида сидит на горе книг. Левой щекой она опирается на руку, потому что она задумалась, на правом колене лежит книга, которую она придерживает правой рукой, заложив пальцами в ней некоторые места, она думает над познанием вещей, стремиться выработать правильное и совершенное мнение, из которого рождаются благочестие и уважение к ней».

Описанный портрет позволяет сразу же определить «книжность» этого понятия, связь его не с жизненными, а с книжными истинами, показательно также отсутствие проработки деталей описания и их толкования, доказывающее не слишком большую распространенность этого аллегорического образа.

В современном языке *méditation* и глагол *méditer* особенно акцентируют в своих значениях идею длительного и глубокого обдумывания. У слова *méditation* обнаруживается и специальное значение, заимствованное в русский язык — «умная молитва», «медитация». Если суммировать сказанное, то становится понятно, что *méditation* — это глубокое размышление философско-религиозного содержания, иначе говоря, глубокие размышления о жизни.

У этого достаточно узко-специфического слова в современном языке отмечена следующая сочетаемость:

s'absorber, se plonger dans les méditatins, se livrer à de longues méditations;

tomber dans la méditation;

les fruits de ses méditations;

méditation triste, profonde, longue.

Мы видим, что у этого слова ограниченная сочетаемость, однако позволяющая установить общую для всего уже обозначенного ряда слов коннотативное поле: вода, водоем.

Méditation дает также и свои плоды, однако не будем забывать, что *fruit* во французском языке не ассоциируется исключительно с плодовыми деревьями, но и с водной стихией, дары моря французы называют *fruits de mer*. Возможно, плод, который дает размышление, связан также с плодом древа познания, давшим в последствии богатую метафорическую сочетаемость словам, обозначающим ментальные категории и действия.

Центральным французским понятием, являющимся эквивалентом русского «размышления», безусловно, является *réflexion* (n. f.).

Réflexion заимствовано в XIV веке из позднелатинского *reflexio, -onis* «действие возврата назад», «отражения», «знание самого себя, размышления о себе» (XIII век), в переносном значении «взаимное предложение», существительное, произошедшее от *reflexum*, супина от *reflectere*.

Réflexoin семантически соотвествует глаголу *réfléchir*, первоначально употреблявшемуся как термин механики, обозначавший возвратное действие тела, наткнувшегося на препятствие (отражать/отскакивать).

Отталкиваясь от этого смысла и развиваясь рядом с анатомическим понятием *repliement sur soi-même*, которое исчезло в XV веке, оно переходит в область оптики (XIV век) для обозначения явлений отражения света. Затем это слово начинает употребляться для обозначения аналогичного эффекта, происходящего со звуковыми волнами (XVII век) и с тепловыми лучами (XIX век). Это слово входит в научные метафоры, такие как угол отражения, инструмент отражения. Метафорическое абстрактное значение, связанное с интеллектуальной деятельностью, это понятие приобрело до того, как аналогичное значение приобрел соответствующий глагол — в XVI веке для обозначения «отражения мысли» — *méditation* — простая метафора с неискаженным общим смыслом, затем, с XVII века, это слово стало употребляться для обозначения возврата мысли в одну и ту же точку,

на самое себя с целью углубленного изучения «данных спонтанного восприятия» у Декарта (7) в выражениях *faire réflexion*, *réflection faite*, *toute réflexion faite*, *à la réflection*. *La réflexion* обозначет способность отражать, качество ума-рассудка, умеющего отражать-размышлять, по метонимии *une*(*des*) *réflexion*(*s*) обозначает выраженную письменно или устно мысль человеком, который подумал, то есть который многократно возвращался мыслью к одному и тому же, пока окончательно не постиг суть отражаемой реальности. Особое значение *réflexions* — совокупность идей, являющихся основой нравственного воспитания (именно это слово — *pensées* — Паскаль использовал как название своей морализаторской книги).

По расширению смысла *reflexion* обозначает сделанное кому-либо замечание, касающееся его лично.

В современном языке это слово имеет следующие значения.

1. Изменение направления движения волн после столкновения с препятствием.

2. а. (с первой половины XVII века) Возврат мысли на себя самое с целью поглубже рассмотреть идею, ситуацию, проблему;

б. *Une*, *des réflexions*: устным или письменным способом выраженная мысль.

В современном языке это слово имеет следующую сочетаемость:
s'absorber, *se plonger dans ses réflexions*;
le labyrinthe des réflexions;
donner matière à réflexion;
porter qch à la réflexion (TLF, R1, DMI).

Это понятие отражает довольно специфическую трактовку мыслительного процесса, поддерживаемую не столько коннотативно, сколько этимологически, ведь значение «отражение» в физическом смысле до сих пор присутствует в языке. Коннотативно же это слово «восприняло» общий коннотативный образ, сопровождающий мыслительные категории в целом — *réflexion* ассоциируется с погружением в жидкость, а также с блужданием по лабиринту — запутанному пути, часто ведущему в тупик. Два последних контекста показывают нам дистанцирование *réflexion* от субъекта — это некоторый объективизированный процесс, которому можно дать основу (*matière*), и он будет протекать сам по себе. Очевидно, что процесс этот неуправляемый, он способен поглотить и человека, и сам предмет размышления.

Итак, за *réflexion* мы усматриваем два принципиальных образа:

1. лабиринт;

2. глубокая вода.

Контрастивное изучение описанных единиц позволяет усмотреть глубокую разницу в восприятии ментальных категорий в русском и французском языках. Однако прежде чем сформулировать ее, напомним в сжатом виде основные результаты описаний списка понятий в каждом из рассматриваемых языков.

«*Знание*» в русском языке — слово греческого происхождения, известно с XI века, связано с развитием и распространением православия. За «*знанием*» в высшем смысле этого слова в русском, как и во многих других языках, было закреплено подсознательное табу, отразившееся в мифологических и религиозных системах. В русском языке *знание* ассоциируется с водой или водоемом, что во многих смыслах облегчает нам понимание «пласта» представлений, к которому относится это понятие. Другая коннотация *знания* — предмет-опора.

Во французском языке этому русскому понятию соответствуют два понятия — *connaisance* и *savoir*. За словом *connaissance*, по нашему глубокому убеждению, закреплена идея особого способа познания, связанного с познанием других людей и существ (можно предположить, что это познание не столько чисто интеллектуальное, сколько познание при помощи всех пяти органов чувств). *Connaissance* во французском языке сопровождают несколько вещественных коннотаций — водоем — общая с русским словом коннотация, что доказывает восхождение обоих понятий к общим истокам, трактующим знание чего-то как вариант знания кого-то, и вторая коннотация — круг, сфера, поле, которая связывается нами, с одной стороны, с солнечным культом, «питающим» все метафорическое поле, связанное с работой человеческого разума, а, с другой стороны, с исконными представлениями о своей территории, своем поле, своем доме, которые очерчивались, ограждались, окружались стенами и оградами.

Французское *savoir* — это знание-умение, также исконно связано с чувственным восприятием, но не человека, а окружающего мира. Иначе говоря, *savoir* — это знание скорее статическое и оформленное, связанное зачастую с каждодневным воспроизводством какого-то навыка. Такая особая разновидность знания поддерживается средневековыми мифологическими представлениями, уже описанными нами.

Средневековое аллегорическое сознание четко подразделяет знания на мирское и божественное, сокрытое от человека, однако такое подразделение проводится именно в сфере *savoir*, а не *connaissance*, ибо только первое отражает статичную данность, что по иронии истории языка современного периода отразилось и на его функционировании — слово это литературное, а его глагольное прошлое помешало обрести ему полноценную метафорическую жизнь в языке.

Таким образом, мы видим, что во французском языке разделяются знания статические, как бы объективные и поэтому практические, и знания динамические, развивающиеся, как бы живые и не связанные с идеей практического действия — *connaissance*.

В русском языке первый тип знания не выделяется, в русском языке знание не связывается напрямую с практическим действием, а может быть лишь опорой в действиях. Именно поэтому этой коннотации нет во французском языке, а есть отдельное слово.

Особые сложные пары образуют *мысль — идея/pensée — idée*.

Русская «*мысль*» на образном уровне имеет пять четко очерченных коннотаций: антропоморфная птица (например, сова); водоем, жидкость; насекомое; свая; еда. *Мысль* ассоциирована с идеей движения, часто хаотического, *мысль* нередко воспринимается как внешний объект, чужеродный и трудно адаптируемый человеком, *мысль* часто воспринимается как артефакт. При этом *мысль* не «обязана» иметь четкую структуру, быть завершенной, что позволяет увидеть в ней признаки незавершенного процесса мышления. *Идея* же не связана столь прочно с движением, она связана с модусами долга цели и желания, она покоится в голове, она стабильна. У *идеи* есть специфические коннотации — растения и отсутствуют коннотации, имеющиеся у *мысли* и связывающие ее с однородной субстанцией. *Идея* ассоциирована также с ситуацией социального действия, лидерства, борьбы, что связывает ее с русским представлением понятия «*правды*», уже описанного нами ранее. *Идеи* складываются в систему — в идеологию, и второй специфический коннотативный образ *идеи* — это образ человека, борющегося за власть или добившегося ее.

Французская *pensée* имеет очень много общего и в содержательном, и в образном плане с русской мыслью, совпадение идиом показывает, что русский язык заимствовал из французского сочетаемость и отчасти понимание этого слова.

Однако у французской *pensée* есть свои коннотативные особенности, помогающие понять и некоторые ее содержательные нюансы. Так, французская «*мысль*» структурирована в отличие от русской, она сама по себе есть уже некоторый текст, в некоторых контекстах у нее появляются коннотативные черты, ассоциирующие ее с птицей, что, как мы видели, связывает ее с представлениями о свободе. Во французской «*мысли*» выражен также и субъективно-эмоциональный компонент, приближающий ее к воспоминанию, сопереживанию, частному мнению.

Французское *idée* связано в первую очередь с идеей зрительно выраженного образа, видения, *idée* — это идея-представление, идея-

видение, которая часто субъективна и обращена в другую реальность, описываемую понятиями *rêve*, *rêverie*. Современная французская *idée* сохранила тесную связь с этимоном, это внутреннее интеллектуальное зрение человека, отсюда и особое значение глагола *voir* — понимать, представлять себе (8). Крайне несущественное совпадение сочетаемости *pensée* и *idée* подчеркивает легко выявляемое на уровне их определений несовпадение понятий: *penser* — процесс, *pensée* — процесс, *idée* — результат этого процесса, находящийся скорее в сфере представлений, нежели чистых соображений. *Idée*, будучи результатом мыслительного процесса, мыслится предельно обособленно от человека, отношения идеи и человека или идей между собой часто мыслятся как антагонистические. Французское *idée* часто сопровождают отрицательно коннотированные эпитеты.

Иначе говоря, жизнь идей воспринимается как борьба идей.

Коннотация *idée*, связанная с водой, подчеркивает энергию идеи, а не ее аморфность (это бьющий ключ, а не растекающееся озеро). Энергия и движение — основные формы развивающейся идеи, зрелость человека — это состояние, когда его идеи перестали двигаться — остановились. Сочетаемость этих слов приоткрывает нам существенное различие этих, определяемых как синонимы понятий: *idée* — это волевое направление *pensée*, характеризующееся, в свою очередь, как непроизвольное, неконтролируемое мыслительное состояние. *Pensée* в принципе не предназначается для высказывания, в отличие от *idée*, и к высказанным *pensée* не могут предъявляться те требования, что предъявляются к *idée*. *Idée* появляется в соответствии с некоторой целью, *pensée* — самопроизвольно. *Idée* в большой степени сохраняет мифологическую подоплеку — новое, оформленное, воинственное — рожденная из головы Зевса Афина, *pensée*, в соотвествии с описанной средневековой аллегорией, — задумчивость, в результате которой зачастую рождаются спутанные, как комок ниток, мысли.

Итак, основные различия и совпадения русских и французских понятий таковы.

Русская «*мысль*» — хаотична, аморфна или же опредмечена в виде заостренного чужеродного предмета, восприятию которого противится человек. Она, так же как и *идея*, «является» тогда, когда этого требуют обстоятельства. Русская «*идея*» — позднее заимствование из французского, она сопряжена с идеями долга, цели и желания, хорошо структурирована и, став собственностью человека, покоится у него в голове. *Идея* связана с идеологией, а через идеологию с политикой и социальной борьбой. У русской «*идеи*» две особых коннотации —

растения и властителя, отражающих особое образное функционирование этого понятия.

Французская *pensée* — внутреннее состояние, связанное с мечтательностью, нецеленаправленной деятельностью мозга. *Pensée* — это мысль-размышление, в то время как *idée* — мысль-представление, видение, появляющееся в результате целенаправленного усилия, четко оформленное и предназначенное для активного взаимодействия. Большое пересечение сочетаемости русских и французских слов, обозначающих идею, мысль, показывает тесное взаимодействие культур в этой области, позволяющее сделать вывод о том, что соответствующие русские представления сложились под влиянием западноевропейской цивилизации. Специфичность русских понятий в большой степени определяется тем периодом русской истории, в который происходил контакт этих двух культур.

Русское «*размышление*» связано с пассивно созерцательным обдумыванием, с роением идей, с одновременным нецеленаправленным обдумыванием сразу нескольких мыслей.

Сочетаемость этого слова позволила нам установить, что это состояние обычно связано с негативным эмоциональным фоном и характеризуется аморфностью. Коннотативные образы водоема и некоторые другие полностью ассоциируют его с понятием мысли, которое в ряде контекстов синонимично *размышлению*.

Французское *méditation* — понятие несколько устаревшее и литературное, оно связано с размышлением над «книжными», а не над житейскими проблемами. Иначе говоря, *méditation* — это глубокое длительное размышление философско-религиозного содержания, размышление о сути и особенностях человеческого существования. Сочетаемость этого слова достаточно узкая, однако общий для всего ментального поля коннотативный инвариант прослеживается четко: *méditation* ассоциируется с погружением в водную среду.

Réflexion первоначально связано с идеей отражения, возврата назад, а соответствующее действие — обдумывание — осмысляется как возврат мысли к одному и тому же предмету и через это углубленное его изучение. Коннотативный образ все тот же — погружение в водную среду, а также блуждание по лабиринту — образ, часто использовавшийся, в частности, в средневековой поэзии.

Сравнение русского понятия и двух французских позволяет нам установить следующее: коннотативные образы совпадают, содержательно русское «*размышление*» связано с *мыслью* и представляет собой углубленное аморфное состояние мыслительной деятельности

человека, французские слова классифицируют размышления, подразделяя их на философско-экзистенциальные и прочие, связанные с целенаправленным обдумыванием какой-либо проблемы методом постоянного возврата мысли к ней. Таким образом, французское «*размышление*» отличается от русского способом совершения этого процесса.

Обобщим эти результаты.

Французское и русское представление о знании:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	Узнавать кого-либо	connaitre — иметь интимные отношения/savoir — ловкость
Взаимосвязи	Душа	Материальное благополучие — *fortune*, *occasion*, *bien*
Образ	Пашня-женщина, вода, опора	Водоем, круг
Членение ситуации	1 понятие	2 понятия, различающиеся по способу познания, его специфике, подвижности/статичности
Человек	Пассивен, он получает, активен, он использует	Активен
Влияние	Греческое, через Византию и христианство	Греческое, через Рим

Французское и русское представление о мысли и идее:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	Мысль — мудрость/София, идея — внешний вид	Idée — архетип, Афина — импульс, война/взвешивать для penser
Взаимосвязи	Правда. Идеология, классовая борьба.	Грусть, воспоминания
Образ	Сова, река, насекомое, свая, еда/растение, вожак	Водоем, колодец, текст

Членение ситуации	Мысль — неструктурированна, идея — структурирована и операциональна	Pensée — процесс, idée — результат
Человек	Активен	Активен
Влияние	Славянско-греческое	Рационализм

Французское и русское представление о размышлении:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	Мысль	Подготовка речи к написанию/возврат
Взаимосвязи	Хаос (роение)	Отражение, волна
Образ	Водоем	Водоем, лабиринт
Членение ситуации	1 понятие	2 понятия: одно общие теоретические рассуждения, второе обдумывание путем возврата мысли
Человек	Активен	Активен
Влияние	Христианское	Рационализм

Библиография

1. См. *Фреге Г.* Мысль: логическое исследование // Философия, логика, язык. М., 1987; *Дмитровская М. А.* Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ естественного языка: знание и мнение. М., 1988.
2. *Гак В. Г.* Пространство мысли (опыт систематизации слов ментального поля) // Логический анализ естественного языка: ментальные действия. М., 1993. С. 22—29.
3. *Bayley H.* The Lost Language of Symbolism. London, 1912 (repr. 1951).
4. *Прот. Георгий Флоровский.* О почитании Софии, Премудрости Божией в Византии и на Руси // Труды Пятого съезда русских академических организаций за границей. М., 1995. № 4. С. 145—161.
5. *Ранович А. Б.* О раннем христианстве. М., 1959. С. 291.
6. *Кобозева И. М.* Мысль и идея на фоне категоризации ментальных имен // Логический анализ естественного языка: ментальные действия. М., 1993. С. 95—103.

7. *Декарт Р.* Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках (1637). Цит. по: Метафизическая математика в XVII веке. М., 1993. С. 167.
8. *Арутюнова Н. Д.* «Полагать» и «видеть» (к проблеме смешанных пропозициональных установок) // Логический анализ естественного языка: проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. М., 1989.

Глава десятая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ О ПРИЧИНАХ, СЛЕДСТВИЯХ И ЦЕЛИ

Разделение события на причину и следствие, выделение в событии, явлении содержания и формы являются свидетельствами дихотомичности и линейности нашего мышления, действующего через связывание, а для этого всегда стремящегося найти две точки, которые можно связать, а связав и противопоставить друг другу. Когда и если эта фраза написана по-русски, она кажется правдоподобным утверждением, в то время как уже применительно к французскому языку мы обнаружим названия для целого множества причин и целого пучка следствий.

Важным в традиционном представлении о причинно-следственной связи является именно употребление слова «*связь*», иногда именуемая генетической связью, в том смысле, что причина и следствия фиксируют генетическую связь между явлениями, при котором одно явление (причина) своим действием вызывает второе (следствие) (1).

Оставим философам независимо от времени и страны их пребывания, а также независимо от языка их дебаты о сути мышления, события, причины и следствия и укажем на то, что важно нам.

1. Несомненно, перед нами современный миф, метафоризирующий некоторый способ нахождения ответов на вопросы (не факт, что истинных).

2. Этот миф, описанный европейской философской мыслью, противопоставлен мифу восточному, не утверждающему жестко такую взаимосвязь (2).

3. Обыденное мышление, понимающее анализ — то есть установление причинно-следственной связи — как установление причины и следствия, — не связано с пониманием того же принципа в науке, где

закон каузальности приводит к открытию многих законов физического мира (3). Отсутствие той связи объясняется через принципиальное отличие языков естественных наук и естественного языка.

4. Уголовные практики, следствия по делам практикуют исключительно причинно-следственный подход, стремясь установить виновного через реконструкцию события, находящегося в прошлом. В судебной практике факт не считается доказанным, если он не подтверждается также и естественно-научным путем (баллистической экспертизой, дактилоскопическим исследованием и так далее) (4).

Основное представление о том, как понимаются причина и следствие, можно составить, прочитав соответствующие разделы в книге Ричарда Тэйлора (5) «Энциклопедия философии». М., 1967 (с. 57), У. Т. Стейса (6) «Критическая история греческой философии». 1934 (с. 6), с опорой на базовые труды Иммануила Канта («Критика чистого разума») (7) и Шопенгауэра («Мир как воля и представление») (8).

Поговорим теперь о том, как понятия причины и следствия мыслятся не в философии, а той или иной этнокультурой.

Русское понятие «*причина*» представляется специфическим на фоне общефилософских представлений. По мнению Фасмера, русское слово *причина* связана с глаголом *чинить/учинять*, но никак не с глаголом *начать*, вопреки суждению многих этимологов и в частности Шумана. Даль определяет глагол *причинять* через «*делать, соделывать, учинять*» и приводит следующие контексты: «*ливень причинил паводок*», «*саранча причинила бесхлебицу*», «*он мне причинил убыток, обиду*». Тут же Даль отмечает, что употребления *причинить барыш, удовольствие* — редки, а мы со своей стороны можем свидетельствовать о том, что такое употребление в современном языке невозможно вовсе. *Причинить* для русскоговорящего человека скорее означает сделать плохое, вредное, и не означает создать предпосылку для чего-либо хорошего или нейтрального.

Причина, по Далю, — начало, источник, вина, коренной повод действию, случаю; *причина* — это то, что производит последствия, что служит виною, рычагом, основной силой, начальным деятелем явления. Даль приводит контексты, сохраняющие негативную оценку слова причина: «*ты — причина этому делу*», то есть ты виноват в том, что это случилось.

Даль указывает: «*причина рождает следствие, которое ведет к цели*», определяя тем самым основную логическую структуру действия. «Причина, — уточняет Даль, — исходная точка, цель — конечная».

Во времена Даля у слова *причина* было еще два значения: *причина* — «беда, помеха, неприятный случай и болезнь (падучая немочь)». Таким образом, мы видим, что негативная окраска, зафиксированная за глаголом *причинять*, сохранялась в двух из трех значениях этого существительного.

Объяснение этому факту мы находим в уже неоднократно цитировавшемся словаре М. М. Маковского. Он обнаружил, что слова со значением «причина» означают одновременно «вина», «наказание» и соотносятся со значением «жечь», «портить», «наказывать», а глаголы, в значении которых есть соответствующий смысловой элемент, соотносятся со значением «кровь», поскольку в древности кровь была неизменным атрибутом сакрального акта.

В современном языке «*причина*» понимается как «явление, обстоятельство, которое служит основанием чего-либо, обуславливает другое явление, а также основание, повод, предлог для каких-либо действий, поступков» и имеет следующую сочетаемость:

причина простая, видимая, веская, скрытая, внешняя, внутренняя;

первостепенная, второстепенная причина;

послужить, стать причиной;

расследовать, рассматривать, установить, выяснить, объяснить, выявить, видеть, найти, искать, усматривать, обнаружить.

Из приведенной сочетаемости мы видим, что русская *причина* мыслится как улика, орудие, поддающееся обозрению, — внешняя, видимая/внутренняя, скрытая. Основное действие, совершаемое с *причиной*, — поиск и выявление ее (найти и увидеть, а увидев, рассмотреть). Однако в языке эта овеществленно-опредмеченная причина далее никак не прорабатывается образно.

Сочетания «*стать причиной, послужить причиной*» отражают представлении о ролевых отношением между фактом, человеком и действительностью: *причиной* можно стать или не стать, послужить или не послужить. Нечто (некто), становясь причиной, добавляет себе новое качество в структуре ситуации, не обязательно в русском сознании связанное с исходно заданным качеством того, что стало причиной.

Связь *причины* со *зрением*, а также в свободной метафорике с обонянием: «*он разнюхивал причины этого темного дела*», определяется, с нашей точки зрения, особенностями способа воспроизведения в сознании человека прошлого, свершившейся действительности, который часто связан с актуализацией зрительной памяти. Второй образ — *разнюхивать* — содержит в себе скрытую аллюзию на то, что

у темного дела зловонный острый запах (как экскремент), который можно разнюхать.

Русское слово *следствие*, *следствия* этимологически связано со словом «*след*» приблизительно такой цепочкой: *след* — *следовать* — *следить* — *наблюдать*. *След* в свою очередь связан с идеями о порядке и последовательности, характеризующими всякий чем-то реально оставленный след. В древнерусском языке это слово (*следствие*) известно с XI века и означало «след, знак, отметку, грань, указание». Старшее значение: «след от скольжения».

Вл. Даль помещает слово «*следствие*» в статью «*след*» и выделяет следующие его значения:

1) розыск по делу;

2) следствие, последствие, то, за чем неминуемо следует конечное проявление действия, причины, повода.

Сочетаемость этого слова крайне скудная, слово чаще всего используется в сочетании «*в следствие* ...» с винительным падежом. Употребление в основном значении показывает заимствованный характер сочетаемости: следствия вытекают — ассоциация с водой через общее коннотативное поле знания и мысли, следствия проявляются — через коннотации причины: проявляются — делаются осязаемыми. При другой вероятной сочетаемости предпочтительнее употреблять слово *последствие*, а не *следствие*, подразумевающее конкретный воспоследовавший за чем-то факт. Так, лучше сказать «*последствия не замедлили сказаться*», нежели «*следствия не замедлили сказаться*».

Итак, *следствие* — это:

1. вода;

2. обнаруженная улика, предмет.

Мы связываем очевидную недоразвитость образной структуры слов и понятий «*причина*» и «*следствие*» с несколькими фактами.

Во-первых, аналитические устремления в русском сознании в силу повышенного фатализма и особенно ослабленной идеи ответственности не нашли особого развития. Россия не знала эпохи рационализма (если не считать карикатурных попыток базаровского толка, достаточно высмеянных в русской литературе XIX века). Увлеченность анализом истории, фактов, событий, собственной жизни осталась за пределами обыденного сознания, частью которого такая увлеченность стала в странах Западной Европы. «Так случилось» — идеальное для русского бытового сознания объяснение какого-либо факта. Без разбора причин и следствий. Или — «на все воля Божия» — как вариант каузальности.

Во-вторых, оперирование понятиями причины и следствия, в отличие от предыдущих понятий, подразумевают некий уровень образования, который отнюдь не являлся всеобщим достоянием. В русском языке имеются другие способы справиться о *причине* («почему?») и о *следствии* («ну и что получилось?»), которые куда как более общедоступны. Иначе говоря, эти два понятия не обросли сочетаемостью и «не вошли в каждый дом», потому что не было ни субъективных, ни объективных предпосылок для этого, а также потому, что они никогда не были модны.

Французские сознание и язык выделяют две причины — *cause* и *raison* (в отличие от русского языка, где существует единственное соответствующее понятие), и сам по себе этот факт свидетельствует о несколько ином, возможно, более детализированном представлении о существующих мотивах и причинах.

Cause (n. f.) произошло от латинского *causa* (XII век), латинское слово — неизвестного происхождения, поэтому мы ничего не можем сказать об исходном смысле этого понятия (DE). Юридический смысл *causa* — «интересы одной из сторон в судебном разбирательстве» — латинский, представляется также латинским более древним смыслом и «причина, мотив». Попав в область права, слово *causa* стало обозначать «судебный процесс», по модели греческого *aitia*, попав в медицину слово имело значение — «болезнь, увечье».

Все латинские значения унаследованы французским языком, также и интересующий нас смысл «мотив, причина» зафиксирован за этим словом в XII веке и являлся очевидным латинизмом. Особый смысл это слово получило в философии, смысл «первоначальной причины — Бога», зафиксированный в переводах Святого Августина и сохранившийся и по сей день в прециальной философской и теологической литературе (DTP).

В современном языке у этого слова есть следующие значения.

1. Событие, предшествующее другому событию или действию. То, что движет человеческим действием.

2. Дело, рассматриваемое в суде.

В первом значении этого слова может быть отмечен существенный нюанс: *cause* — это как бы объективная причина происходящего, верифицируемая причина, причина, происходящая не от человеческой воли, а из внешних по отношению к нему обстоятельств. В этом смысле очень показательно следующее определение слова *hasard*, дающееся в DHLF: «*Le hasard s'emploie absolument pour cause qu'on attribue à ce qui arrive sans raison apparente*». Мы видим, что *raison* —

это причина кажущаяся, *cause* — объективная. *Raison* устанавливает человек по своему усмотрению, cause предполагает констатацию. Мы можем сказать *les causes de l'incendie*, но не можем сказать **les raisons de l'incendie*.Такой оттенок в значении cause абсолютно мотивирован связью этого понятия с идеей судебного разбирательства, оперирующего в первую очередь объективными данными, а также со специальным значением «первопричины», о котором мы говорили, то есть причины абсолютной. Слово *cause* имеет в современном французском языке следующую сочетаемость:

les causes produisent les événements;
enchaînement et effets des causes;
etablir, rechercher, déterminer les causes de qch;
attribuer les causes à qch;
cause directe, obscure, claire, profonde, cachée, occulte, essentielle, fortuite, présumée, déterminée, intrinsèque, suprême, première, secondaire, initiale, principale (TLF, R1, DMI, DGLF).

Приведенная сочетаемость ясно показывает нам, что *cause* мыслится как нечто объективно существующее, глубинно присущее действительности, высшее, первоначальное, основополагающее, нечто, что «производит» события непосредственно. Иначе говоря, в первой своей ипостаси это полезное ископаемое, жила в земле, твердь, лежащая в основе чего-либо. Человеку в этом контексте отводится роль «искателя» причины, он может ее установить, определить как нечто существующее и как всякое объективное и абсолютное знание, скрытое от него. Именно «скрываемость» причины особенно описывается языком, причина «спрятана» от человека, его задача — увидеть ее, сделать из скрытой — ясной. Этот мотив восходит к теме скрытого знания, о котором мы уже писали ранее.

О происхождении слова и понятия *raison* мы уже говорили ранее, хотя и в другом значении. В современном языке это слово, помимо уже описанного смысла «разум, рассудок», обозначает также «основу, причину, объяснение», которые помогают понять явление. Так, если основным синонимом слова *cause* является *origine* (источник), то основным синонимом *raison* — *explication* (объяснение) (DS, NDS).

Origine — явление мира вещей, *explication* — мира людей. Наряду с этим значением у *raison* присутствует также значение законного оправдательного мотива, употребляемого, однако, только применительно к человеку. *Raison* обозначает также аргументы в доказательстве, которых, как мы знаем, может быть несколько, и на обыденном уровне аргументация в большой степени зависит от конкретного че-

ловека. В доказательство нашего тезиса приведем также и тот факт, что *raison* прекрасно сочетается с притяжательными прилагательными (яркий пример — *tout le monde a ses raisons*, демонстрирующий одновременно и субъективность, и относительность этого понятия), в отличие от всегда объективной *cause*.

В современном французском языке слово *raison* в этом значении имеет следующую сочетаемость:

alléguer, invoquer, présenter, posséder, motiver, fournir, trouver, rechercher, découvrir;

admettre, accepter, agréer, peser des raisons;

une raison juste, profonde, sérieuse, admissible, inadmissible, flagrante, pertinente, probante, misérable, spécieuse, futile, inattaquable, principale, essentielle, dominante, ridicule, fausse (TLF, DMI).

Приведенная сочетаемость полностью подтверждает: именно человек является источником этой разновидности причин, он их приводит (а не выявляет), предоставляет, он обладает ими.

В этом смысле *raison* ассоциируется с товаром, который можно взвешивать, оценивать, который может быть жалким или роскошным.

Иногда человеку приходится искать их — эти *raisons* — и открывать, но лишь для того, чтобы самому понять или объяснить свое или чье-то поведение. Человек, в отличие от *cause*, *raison* оценивает, взвешивает, считает приемлемыми или неприемлемыми, серьезными или несерьезными, уместными, убедительными или нет, а то зачастую и вовсе «унижает» *raison*, полагая их жалкими, пустыми, нелепыми и ложными. Все эти эпитеты никак не приложимы к объективизированной и высшей *cause*. Именно в силу своих особенностей *raison* не описывается как скрытое сакральное знание, *raison* — знание человеческое, полное заблуждения и несуразицы, его нечего скрывать, поскольку обладание таким знанием оставляет человека человеком, а не делает из него обладающего истиной всесведущего Бога.

Очевидно, что французское сознание опредмечивает субъективную причину, ведь ею можно обладать, ее можно представить, ею можно снабжать. Очевидно одно: причины взвешивают, и чем причина больше и тяжелее, тем она лучше, легкие, пустые причины — причины плохие, то есть неподходящие, плохо придуманные, недостаточные аргументы для того, чтобы человек мог при помощи приведения их добиться своих целей.

Возможно, этот образ, эта ситуация отражает значимость умения внятно объяснять причины и извлекать из этого выгоду. Возможно,

вескость причины — подлинная или вымышленная — многим спасла состояние или даже жизнь.

Поговорим о следствиях.

Следствия — события, рожденные причинами, во французском языке обозначаются словами *conséquences* и *effet* (слово *suite* мы не рассматриваем по оговоренным в ведении причинам).

Effet — ставится в соответствие cause, но никак не raison, таким образом *effet*, по нашему убеждению, объективное следствие (последствие) объективной причины.

Effet — первоначально латинизм (XIII век), заимствование из имперской латыни *effectus* «исполнение, реализация», «добродетель, сила» и «результат», от *effectum*, супина от классического латинского *efficere — ex и facere* (DE).

В XIII веке это слово обозначает «следствие какой-либо причины», а также «впечатление, произведенное на кого-либо». В начале XIV века это слово начинает обозначать то, чем человек владеет, состояние, богатство, недвижимость, ткани, одежду и пр., затем слово становится финансовым термином (*effet de commerce*). Затем слово вновь возвращается к латинскому смыслу — «реализация» (*homme d'effet* — человек, способный к действию). Сегодня от этого употребления осталось, пожалуй, только лишь *prendre effet*, обозначающее «вступать в силу».

Наречные выражения *en effet* и другие происходят от этого же смысла. Получило развитие также и еще одно латинское значение *effet* — впечатление (*faire bon, mauvais effet*), однако здесь мы его рассматривать не будем (DHLF).

В современном языке слово *effet* имеет следующие значения.

1. То, что произведено причиной (*cause*).

2. Специальный смысл: особый феномен (акустический, электрический и пр.), появляющийся в специальных условиях.

3. Реализация чего-либо.

4. Произведенное впечатление.

5. (с конца XIV века) *Effet de commerce* — «вексель, чек», а также во множественном числе — «вещи, багаж, имущество» (R1).

В интересующем нас значении это слово имеет следующую сочетаемость:

les effets de qch se font sentir;
effet immédiat, indirect;
effet disparaît avec la cause;
effet du hasard;

effets d'un jugement, d'un acte juridique, effet d'une loi;
loi qui prend effet à telle date;
détruire, espérer, attendre un effet;
un effet néfaste, heureux, malheureux, plein, attendu, inattendu, espéré, inespéré, énorme, souverain, merveilleux, radical, douteux, sûr, certain (TLF, DMI, R1, DGLF).

Effet, причиной которого является человек, — это *effet*-впечатление. *Effet*, причиной которого является объективная действительность, это *effet*-следствие.

Человеку при протекании объективных процессов отводится роль зрителя.

Следствия дают себя почувствовать, исчезают, появляются, равно как и последствия законов, приравниваемые в данном случае к объективной, а не субъективной реальности. Становясь естествоиспытателем, человек может моделировать при помощи объективных средств некие условия и получать некоторые результаты-следствия, которые только в связи с этой или приближенной к этой ситуацией могут быть ожидаемыми или неожиданными, сомнительными или абсолютными. В общем же случае *effet* — стихийное начало (*effet du hasard*) и соответственно вызывает скорее эмоциональную, нежели рациональную оценку, эмоциональные, а не рациональные ожидания. *Effet* может быть чудесным, то есть в первом значении этого прилагательного, необъяснимым, произошедшим по воле Бога или случая. *Effet* может быть счастливым или несчастным, долгожданным и внезапным, он происходит от внешнего и неконтролируемого и соответственно воспринимается человеком.

Коннотативные опоры у этого слова такие: климат, погода, среда обитания.

Мы понимаем, что такая реконструкция может вызвать много вопросов. В принципе есть основания к тому, чтобы не увидеть никакой четкой коннотации за этим понятием. Однако опосредованно мы можем рассудить, что и закон, и случай, и другие объективные причины могут изменить саму систему координат, в которой развивается события. Именно эту систему координат мы условно и назвали «климат, погода».

Conséquence (n. f.) — еще один переводческий эквивалент русского «следствия», термин, заимствованный из латыни (XIII век) от *consequentia*, образованного от *consequens* «последствие, следование». Это слово широко употреблялось в современном языке в значении «последствия какого-либо факта или действия». Этот смысл

проявляется в выражениях *tirer a consequence* (XIII век), *être de grande conséquence* (XVI век) и *être sans conséquence* (XVII век). В двух первых выражениях *conséquence* сопряжено также с идеей важности, присутствовавшей в этом слове в классическую эпоху и давшей выражения *homme de conséquence*, *homme sans conséquence*. У этого слова существует также дидактический аспект значения, оно обозначает логическую связанность рассуждения (DHLF).

В современном языке слово *conséquence* трактуется через слово *suite*, а не через слово *effet*, что позволяет нам сделать вывод о том, что это слово не отмечено непременно объективным характером первоначального стимула.

Слово *conséquence* употребляется следующим образом:

conséquence sérieuse, *grave*, *heureuse*, *malheureuse*, *regrettable*, *fâcheuse*, *inévitable*, *irrémédiable*, *incalculable*, *nécessaire*, *forcée*, *ultime*, *suprême*;

entrevoir, *prévoir les conséquences de*;

amener, *emporter*, *entraîner*, *impliquer des conséquences*;

accepter, *subir les conséquences de*;

dévelloper, *peser*, *supputer*, *mesurer*, *déduire*, *subir*, *supporter*, *comporter*, *éviter*, *éluder*, *craindre*, *redouter une ou des conséquences*;

une conséquence résulte, *découle*;

remédier aux conséquences;

evénement gros de conséquences;

cela ne tire pas à conséquence;

conséquence exacte, erronnee;

il s'ensuit telle conséquence (TLF, R1, DMI, DGLF).

Приведенные контексты прекрасно демонстрируют совершенно иное, нежели мы видели, когда описывали *effet*, отношение человека к *conséquence*. По отношению к *conséquence* человек наделен определенными возможностями взаимодействия. Человек может разглядеть или предвидеть эту разновидность последствий, он может разъяснять, истолковывать их тем или иным образом, он может пытаться их избежать, развить, «излечиться» от них, иначе говоря, человек наделен возможностью как-то воздействовать на них. Итак, упрощая, мы могли бы установить следующие соответствия: *cause* — *effet*, *raison* — *conséquence*.

Между тем, *conséquence* — результат объективного процесса (в который, как мы уже сказали, может вмешаться человек) и поэтому мыслится как часть внешней по отношению к человеку реальности. Факты, события рассматриваются во французском сознании как носи-

тели последствия, они проявляются не постфактум, а уже существуют в нем (событие как бы беременно последствиями), та или иная причина влечет (тащит), выносит, вытягивает, выволакивает те или иные последствия, причем прикладывая к этому некоторое усилие. Сочетаемость этого слова позволяет увидеть следующие образы:

1. зародыш;
2. волосы;
3. бомба.

В описанной сочетаемостью образной системе мы видим, что *conséquences* появляются как бы «нехотя», через силу, и человек, оценивая их, ведет себя с этим «предметом» как с предметом статическим: тянет, вытягивает, он его измеряет, взвешивает и затем в общем случае испытывает больший или меньший страх: *conséquence*, как правило, — это нечто плохое, нечто ассоциирующееся с расплатой за неправильные действия или неблагоприятное стечение обстоятельств. Последствия бывают и счастливыми, однако на фоне прочей сочетаемости, позволяющей увидеть «тягостность» последствий (человек страдает от них, переносит их, боится), этот контекст смотрится как вполне уникальный.

С *conséquence* настойчиво употребляются глаголы движения, однако *conséquence* предлагается пассивная роль: сначала что-то «тащит» за собой последствия, затем их переносит человек. Это лишний раз доказывает пассивность последствий и инертность последствий, как бы не желающих проявляться. В некоторых контекстах, однако, *conséquence* оказывается способным самостоятельно совершать действие, однако действие это не энергичное: последствия вытекают, происходят в результате чего-либо. Это движение характеризует *conséquence* по-прежнему как неодушевленный предмет, как статическую данность, по отношению к которой, учитывая негативное ее свойство, человек проявляет также и эмоционально-оценочную реакцию: последствия бывают досадными, вызывающими сожаление, а бывают и синонимичными *effet*, зеркально отражающими особенности *cause*, необратимыми, неизбежными, невычислимыми, необходимыми и высшими. Уравнивая в таких контекстах *conséquence* и *effet*, говорящий несколько меняет угол зрения на первое понятие, иначе оценивает свою роль в ситуации, превращаясь из агенса в пациенса. Именно эти контексты и позволяют нам говорить о синонимии *raison* и *conséquence*.

Итак, подведем некоторые итоги.

Русское понятие «*причины*», первоначально связанное с глаголом «*причинять*», семантически сложным и неоднозначно трактуемым

этимологами, однако и по сей день отрицательно коннотированным, понимается как основание чего-либо и, на образном уровне, связывается с осязательными способностями человека. В основном причина ассоциируется с уликой, орудием преступления, оставленным на месте совершения действия. Связь причины со зрением, явно наблюдаемая в сочетаемости, определяется, с нашей точки зрения, особенностями способа воспроизведения прошлого сознанием человека — актуализацией зрительных образов, ведь причина — всегда факт прошлого. Современное слово «*причина*», по нашему мнению, сохранило легкую отрицательную коннотацию, это видно из не вполне гармоничной сочетаемости его с положительно коннотированными словами. Не очень хорошо сказать **в чем причина его успеха, его победы* и пр., если только мы не подвергаем сомнению моральную сторону успеха или победы. Этот небольшой нюанс также существенен.

Во французском языке различаются причины двух типов — *cause* и *raison*. *Cause* — причина объективная, верифицируемая, причина истинная, *raison* — причина субъективная, часто неверифицируемая, происходящая от мира людей, а не от мира вещей. *Cause* — высшее, первоначальное, основополагающее и вследствие этого скрытое. Именно скрытость причины и описывает сочетаемость этого слова, не развивая отдельный признак до целостного образа. *Raison* же опредмечивается сознанием, человек манипулирует этой разновидностью причины, на которую не налагается в силу ее мирского характера никакого табу.

Сравнение русского понятия и французских эквивалентов позволяет установить нам принципиально иной взгляд французского сознания на *причины*, разграничивающий объективное и субъективное. Это связано с многовековой историей французской юридической системы, через которую прошли оба слова, с историей права как такового, оставившей глубокие следы в национальном сознании и языке. Русское же понятие *причины* свидетельствует о «необработанности» его никакими социальными жестко фиксированными сферами употребления (такими, как юриспруденция и право), оно в известной степени более «первобытное», связанное с первоосновными, а не надстроечными явлениями человеческого существования. Отчасти русская «*причина*» отражает и свойственный русским природный пессимизм.

Русское «*следствие*» и французские *effet* и *conséquence* представляют симметричную картину: следствие соответствует причине, *effet* и *conséquence* — *cause* и *raison*. Сочетамость русского слова почти не дает оснований для каких-либо самостоятельных коннотативных реконструкций, она зеркально отражает некоторые рудиментарные

образные черты причины. «*Следствие*» — слово особого стиля общения, для русского сознания более характерны обобщенные констатации «*так получилось*», «*так сложилось*», нежели трудоемкий и неоднозначно успешный поиск причин и следствий. Это связано также и с тем, что Россия не прошла через увлечение рационализмом, господствовавшее в Западной Европе более века. Французское *effet* — это то, что порождено *cause*, это объективное последствие объективных причин. Коннотативный образ этого слова проявлен крайне слабо. Взаимоотношения человека и *effet* пассивные со стороны человека, он зритель, который эмоционально реагирует на то, свидетелем чего он становится. С *conséquence* у человека совершенно иные отношения, он может с ними вступать в контакт.

Во французском сознании эта разновидность последствий как бы существует в чреве факта, и последствия «не желают сказываться», они инертны, их приходится извлекать, прикладывая силу. У *conséquence* обнаруживается негативная коннотация, на образном уровне они мыслятся неодушевленными и пассивными, они — объект, но не субъект действия.

Обобщим сказанное.

Представление французов и русских о причинах:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	*Вина*	*Cause* — связь с ситуацией суда
Актуальные связи	*Вредить*	*Cause — origine* (источник, происхождение) *Raison — explication* (объяснение), область практического применения, входит в ряд *fortune*, *occasion*, *bien*, *savoir*, *interet*
Образ	Улика	*Cause — origine* (источник, происхождение)
Членение ситуации	1 понятие	2 понятия, 1 — объективная причина, 2 — субъективная причина
Человек	Активен	Активен
Влияние	Славянское	Античность, эпоха Просвещения

Представление французов и русских о следствиях:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	След	*Effet* — исполнение *Conséquence* — следование, в том числе и в абстрактом значении
Актуальные взаимосвязи	Пачкать (через *наследить*)	Связь *effet* с *fortune*, *occasion*, *bien*, *interet*, *savoir*
Образ	Вода, улика	*Effet* — погода, среда обитания *Conséquence* — зародыш, волосы, бомба*
Членение ситуации	1 термин, не различающий объективное и субъективное	2 слова: 1 объективное последствие, 2 — субъективное
Человек	Пассивен и активен	Пассивен
Влияние	Славянская мифология	Античность, эпоха Просвещения

Теперь рассмотрим представления о *цели* в двух языках. Понятно, что цель, целеполагание является причиной в рассмотренном выше смысле этого слова, но только автором этой причины является не Бог, не природа, а человек.

Русское понятие *цели*, обозначающее определенный элемент структуры ментальной деятельности, — зафиксировано в словарях русского языка с 1731 года.

Это одно из ранних славянских заимствований из средне-верхненемецкого. Вл. Даль выделяет у слова цель три такие значения:

1) то, куда метят;

2) мушка;

3) конечное желание, стремление, намерение, чего кто-то силится достигнуть.

«Цель, — указывает Даль, — начало или корень дела, побуждение, за сим идет средство, способ, а вершит дело конец, цель» (*).

В современном русском языке слово *цель* понимается следующим образом: «то, к чему стремятся, что надо осуществить; заранее намеченное задание, замысел».

В русском языке это слово имеет следующую сочетаемость:

цель оправдывает средства, стоит чего-либо, противоречит чему-либо;

иметь, преследовать, ставить перед собой цель, осуществить, достичь (достигнуть) цели, добиться цели;

ставить кому-то цель, иметь что-то, ставить себе целью;

дойти до цели, идти, стремиться, приближаться;

главная, основная, большая, заветная, определенная, конкретная, ясная, поставленная цель;

задаться целью;

метить прямо в цель.

Из приведенной сочетаемости мы видим, что коннотация, закрепившая за абстрактным русским существительным «*цель*», напрямую связана с тем конкретным значением, которое ранее имело это слово.

Иначе говоря, то:

1. Мишень

«*Абстрактная*» *цель* осмысливается как «*конкретная*» *цель* с двумя лишь уточнениями: к цели можно подойти, приблизиться и тогда будет легче ее достичь, то есть в языке намечается способ, облегчающий первоначальную задачу попадания в отстоящую на некоторое расстояние *цель*, а также *цель* наделяется оправдательной и указующей ролью: она оправдывает средства, может определять, подсказывать способы ее достижения («цель наша предопределяет набор средств ее достижения») и прочее, иначе говоря, начинает мыслиться активной помощницей человека, задавшегося той или иной целью.

Понятие цели актуализируется во французском языке при помощи трех слов — *but, fin, objectif*. Мы видим, что и применительно к цели, равно как и к причинам и следствиям, французский язык, в отличии от русского, классифицирует и разграничивает.

Слово *but* (n. m.), представляющееся нам центральным в этом ряду, зафиксировано во французском языке в XIII веке и имеет неясное происхождение (DE). Это слово употреблялось редко до XVI века, в XVI веке оно означало «точка, в которую целятся» и затем, по расширению смысла, «то, чего хотят достичь, к чему стремятся». Переносное значение, также распространившееся в XVI веке, еще более обобщило смысл этого слова — «основополагающая ориентация человека в жизни, его жизненная цель». Основная сочетаемость этого

слова в историческом аспекте происходила от первого значения — «цель, в которую стремятся попасть»: *le but en blanc*, *toucher au but*, *etc.* (DHLF). Иначе говоря, именно эта цель максимально близка по своему происхождению к *цели* русской.

В современном языке у этого слова фиксируются следующие три значения:

1. цель при стрельбе;
2. цель, которую перед собой ставит человек;
3. (переносн.) то, чего человек хочет достичь (R1).

Сегодня это слово употребляется так:

viser, *poursuivre*, *atteindre*, *réaliser*, *indiquer*, *définir*, *deviner*, *découvrir*, *cacher*, *exposer*, *assigner un but*;

répondre à un but;

donner un but à qn;

arriver à un but;

un but précis, *avoué*, *déclaré*, *évident*, *unique*, *louable*, *blâmable*, *essentiel*, *primordial*, *caché* (TLF, R1, DMI).

Сочетаемость этого слова однозначно показывает нам, что коннотативный образ *but* строится на основе образа реальной цели, мишени, которую человек хочет поразить при стрельбе или которой он хочет достигнуть в спорте (рубеж, граница), то есть представляется как мишень.

Такой коннотативный образ, однозначный и определенный, связан с ситуацией, когда поражение цели при стрельбе или достижение ее в спорте требует от человека максимальной концентрации внимания и усилий. Именно в силу совпадения конкретного образного прототипа и психологического состояния получился такой однозначный и яркий результат.

Fin (n. f.) зафиксировано во второй половине X века и произошло от латинского finis (слово неизвестного происхождения), обозначавшего «рубеж, границу поля, границу» и в переносном смысле — «цель», «высшую степень чего-либо» (DE).

В X веке слово обозначало остановку некоего процесса во времени, конец жизни и по расширению — «последнюю часть чего-либо», откуда *fins* — границы (DAF) — до конца XVII века.

Таким образом, мы видим, что значение «цель, граница, предел» было первичным по отношению к значению *fin* «конец».

В современном языке у этого слова два принципиально разных значения — *конец* и *цель*, причем именно первое значение является наиболее частотным. Значение «*цель*» имеет следующие нюансы.

1. То, что человек хочет реализовать, к чему он добровольно стремится.

2. То, к чему существо или вещь предрасположены по своей природе.

3. Юридически оформленная цель (R1).

Мы видим, что *fin* значительно более абстрактная, философская цель, она в большей степени осмысливается как замысел человеческий или Божий и именно в силу этого она сопряжена с идеей ответственности человека за свои цели и может быть оформлена юридически.

В современном языке слово *fin* употребляется следующим образом:

arriver, en venir à ses fins;

se proposer des fins;

fins cachées, secrètes;

fin subjective, relative;

fin en soi;

la recherche des causes (*moyens*) *et la recherche des fins*;

tendre à sa fin (TLF, R1, DMI).

Из сочетаемости мы видим, что образы, сопровождающие это понятие, воспроизводят его этимологию. Это:

1. граница, границы участка;

2. предел.

Именно первое значение предопределяет употребление этого слова во множественном числе, которое имеет и смыслоразличительную нагрузку по отношению к первому значению. Мы также видим, что *fin* связано с разумной волей, человек сам ставит себе цель, она может быть субъективной, секретной, может заключаться в самом человеческом существе, *fin*, с одной стороны, — личностно-субъективна, но, с другой, — эта личностность и субъективность объективизируются, соотносятся с человеческим как таковым, именно поэтому *fin*, а не *but* или *objectif* соотносится с *cause*. Важно в этой связи, что сочетаемость *fin* практически не повторяет сочетаемости *but*.

Objectif (n. m.) — субстантивированное прилагательное *objectif, -ve* употреблялось первоначально в оптике (эллипсис: *verre objectif* — *objectif*) для обозначения оптической системы, направленной на наблюдаемый объект. С XIX века это слово обозначает оптическую систему устройства, фиксирующего образы, — объектив, позже, с развитием телевидения, оптическую систему телевизора. В современном языке существует принципиально иное значение этого слова, развитие которого нам никак не удалось проследить: *objectif* — это цель, которую человек ставит перед собой. В чем специфичность этой цели относительно описанных двух?

Objectif в этом значении определяется так.

1. Цель (точка), на которую направлена стратегическая или тактическая операция, иначе говоря, это те результаты, которых хотят добиться военными действиями.

2. Конкретная цель, на которую направлено действие (R1).

Иначе говоря, *objectif* — это цель тактическая, самая конкретная из всех трех «французских целей».

Сочетаемость этого слова в небольшой части совпадает с сочетаемостью слова *but* и, следовательно, в небольшой степени заимствует его коннотативный образ цели-мишени. Однако, учитывая тот факт, что это слово употребляется в этом значении относительно недавно (не более 100 лет), легко понять, почему оно пока что не «обросло» самостоятельными коннотативными атрибутами.

Обобщим полученные результаты.

Во французском языке самым ранним словом, обозначающим цель, является, безусловно, *fin*. Значение «цель» предшествует значению «конец», которое является как бы философским доразвитием понятия *цели*, *предела*, *границы*. *Fin* — это философская цель, проистекающая из предназначения человека или вещи. *Fin* — это то, что человек сам ставит перед собой, исходя из обширного анализа объективной ситуации. Именно в силу ответственности перед собой и перед законом человек несет ответственность (даже юридическую) за свои цели. *Fin* — это слово из ряда *cause* и *effet*. Слово *but* пришло во французский язык значительно позже и обозначало первоначально цель при стрельбе, а затем, по расширению, цель, которой человек хочет достичь. Таким образом, *but* обозначает в большей степени конкретную, более близкостоящую во временном отношении цель, чем *fin*. *But* имеет четкий коннотативный образ — это образ цели-мишени. Третья разновидность французской цели — это предельно конкретная «короткая» цель — *objectif*, слово, употребляющееся в этом значении совсем недавно. За этим словом также угадывается коннотативный образ цели-мишени. Таким образом, мы видим, что французское сознание оказывается очень чувствительным к тонким различиям между понятиями, обозначающими ментальные категории, именно, возможно, в силу того, что рациональное для него напрямую связано с практическим действием, а не является категориями чистого размышления.

Сравним полученные нами результаты в двух языках.

Представление французов и русских о целеполагании:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Источник	*Мишень*	*But* — мишень, *Fin* — граница, предел, *Objectif* — вооруженное зрение, видящее цель, объектив
Актуальные связи	*Стрелять*	*Fin — cause, objectif* — тактика, война, зрение
Образ	Мишень	Мишень, граница, предел, бинокль
Членение ситуации	1 термин	3 термина, классифицирующие цель для стрельбы, цель стратегическую, цель тактическую
Человек	Активен	Активен
Влияние	Охота	Практика разных эпох

Четыре обобщающих соображения о всей рассмотренной линейке мыслительных категорий, рассмотренных в последних трех главах.

1. Французское сознание более подробно членит пространство большей части понятий: русскому *знанию* соответствуют *connaissance* и *savoir*, русскому «*размышлению*» — *méditation* и *réflexion*; русской «*причине*» — *cause* и *raison*, русскому «*следствию*» — *effet* и *conséquence*, русской «*цели*» — *fin*, *but*, *objectif*. За этим более подробным членением стоит особая чувствительность французского сознания к двойственности мира, к его подразделению на объективное, высшее и субъективное, человеческое. За этим членением стоит, с нашей точки зрения, убеждение в наличии непреложных, объективных законов, которым подчиняется все сущее, установление которых помогает адекватно представить себе реальность и адекватно действовать в ней. Такое членение представляется нам также связанным с особым развитием судебной системы во Франции, через горнило которой прошли многие из рассматриваемых нами понятий. Нашедшее в языке отражение двойственности мира связано, с нашей точки зрения, с эпохой Просвещения и рационализма, сумевшей четко выстроить представления по этому принципу, а также расклассифицировать многие из рассмотренных нами понятий в соответствии с теми или иными критериями. Иначе говоря, мы можем констатировать, что в сфере ментальных категорий во французском сознании

царит порядок, наведенный в соответствии с определенными четкими установками.

2. Следует, безусловно, отметить особенности в самой структуре некоторых понятий относительно их русских аналогов. Главное, что бросается в глаза, — опора на факты, особенно пристальное внимание к достоверности, как бы закодированное во внутренней форме понятий *certitude*, *assurance*, *effet*, *cause*. Иначе говоря, рациональные эмоции типа уверенности и сомнения во французском языке более рациональны, в русском более эмоциональны. Таким образом, французское сознание в большей степени склонно искать точное знание, нежели русское.

Различия в парах *мысль/идея* — *pensée/idée* связаны со сложным переплетением в русском сознании поствизантийских и западноевропейских традиций. *Мысль* — понятие исконное, но в огромной степени трансформированное под влиянием Западной Европы, идея — понятие более позднее и заимствованное, претерпевшее обрусение в связи с конкретной политической ситуацией, на фоне которой происходило это заимствование.

Французское *pensée* — чисто французское, а не постлатинское понятие, не выравненное по античным меркам, однако все же проникнутое лирическим оттенком рационалистической эпохи, *idée* — понятие античное, сумевшее сохранить связь с первоосновой и далее передать ее по эстафете всем европейским и воспринявшим именно через Европу рационализм культурам. С нашей точки зрения, именно этому понятию мы обязаны общим коннотативным образом «зрение», сопровождающим многие ментальные категории в романских и славянских языках. Однако мы можем с уверенностью констатировать, что русские ментальные категории (за исключением этих двух) проявили известную ригидность и зачастую, заимствуя коннотативные образы из европейских языков, сохранили национально-специфическое содержание, поддерживаемое соответствующими этимонами: «*размышление*» аморфно, как и сама *мысль*, «*причина*» сохраняет связь с «*причинить*» и на все случаи жизни одна, «*уверенность*» восходит к вере, но не к факту, «*следствие*», связанное с судебным разбирательством, остается зачастую неверифицируемым, «*цель*» ассоциирована с целью при стрельбе и также не подразделяется по признакам. Более того, если французские слова обиходны и частотны в употреблении, то русское языковое сознание чаще предпочитает обходиться «обезличенными суррогатами» типа «почему?», «что получилось?» и пр. Аналогичные формулы также широко используются и во французском

языке, однако они не оттесняют основные соответствующие понятия на периферию употребления.

3. Легко увидеть, что оба сопоставляемых ряда находятся в пределах общего поля коннотативных образов: это вода, осязаемость и опора. Это свидетельствует о том, что русская сочетаемость — заимствованного характера, так как мы не находим никакой мифологической «поддержки» ни для одного из русских понятий в славянских мифологических системах. В пользу заимствования образной (но не понятийной) структуры понятий свидетельствует также отсутствие национальных традиций рационализма. Представления обо всех этих понятиях были заимствованы из переводных европейских книг. Текучесть, осязаемость и фиксированность — три фундаментальные оси, на которые нанизываются коннотативные образы многих ментальных и эмоциональных понятий, это своего рода коннотативные архетипы, сопровождающие соответствующие сферы представлений. Следует также отметить заниженную коннотативную основу многих русских ментальных категорий, связанную, по нашему убеждению, именно с регламентированностью употребления соответствующих слов.

4. Важно также отметить, что, как в представлениях о судьбе, добре и зле, правде и лжи, французские мыслительные категории так же особо выделяют область практического действия, имея для нее выделенный ряд понятий. Это относится не только специальных слов, таких как *raison*, но выражено и в самой разработанности понятийного поля, обслуживавшего судебную практику, развитую во Франции с XII века и преимущественного трактовавшую дела о собственности.

Суммируя все вышесказанное, мы могли бы определить французский тип сознания в этой сфере как рационалистический, русский, скорее, как интуитивный. В сфере соответствующих французских представлений, структурированных и отточенных, царит известный порядок, в сфере русских представлений, неструктурированных, отмечается упрощение картины ментальных категорий, невыделение, стяжение различного в одну категорию.

За русскими понятиями стоят этимоны, восходящие к родовому строю, за французскими — к государственному. Возможно, отчасти именно этим определяется существенное различие в поведенческих сценариях, реализуемых представителями этих двух столь не похожих культур.

Библиография

1. *Фреге Г.* Логика и логическая семантика. М., 2000.
2. *Бирюков Б. В.* Тростников жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики. М., 1988; а также *Баранов А. Н.* Лингвистическая теория аргументации: когнитивный подход. Дис. докт. филол. наук. М., 1990.
3. *Хинтикка Я.* Логико-эпистемические исследования. М., 1980; а также *Х. Ыйм.* Решения, действия и язык // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1978. Вып. 472: Проблемы моделирования языковой интерракции.
4. *Blance R., Dubuc J.* La logique et son histoire. Paris, 2002.
5. *Тэйлор Р.* Энциклопедия философии. М., 1967. С. 57.
6. *Стейс У. Т.* Критическая история греческой философии. 1934. С. 6.
7. *Кант И.* Критика чистого разума. СПб., 1907.
8. *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. М., 1999.

Глава одиннадцатая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ О СОМНЕНИИ И УВЕРЕННОСТИ

Сомнение и *уверенность* — это чувства, сопровождающие оценку знания-информации, и в силу этого названные два слова занимают промежуточное положение между эмоциональным и рациональным началами человеческой личности (1). Оба этих слова описывают некое когнитивное состояние, сопровождающее оценку достоверности той мыслимой реальности, с которой в данную минуту оперирует человек. И *сомнение* и *уверенность*, с нашей точки зрения, чувства, связанные с реакцией человека на неполноту информации-знания, приводящую к невозможности однозначно классифицировать эту информацию как истину или как ложь.

Знание мыслится обычно как абсолют и не связывается с состояниями уверенности и сомнения (2). *Сомнение* возникает тогда, когда существуют основания оценивать информацию-знание как ложную, однако нет достаточной аргументации для того, чтобы эту ложность доказать. Аналогично *уверенность* возникает тогда, когда возникает достаточно оснований для того, чтобы считать информацию-знание истинной, но нет доказательств ее истинности (3). В русском языке слово, обозначающее первое состояние (*сомнение* — мнить вместе с кем-то), этимологически связывается с глаголом *мнить* и существительным *мнение*, а второе — с понятием веры (уверенность), особым образом интерпретирующим состояние человека, умеющим заменить доводы, происходящие от разума, доводами, происходящими от чувств.

Как мы только что сказали, русское слово *уверенность* произошло от слова «*вера*», означавшее в древнерусском языке «верование», «правда», «вера» (с XVII века), «присяга», «клятва». Для того, чтобы лучше понять специфические оттенки понятия «*уверенность*», скажем

несколько слов о слове «*вера*». Специфичность этого русского понятия по отношению к французскому выражается также в том, что в русском языке существует производный глагол «*верить*», описывающий иррациональное ментальное действие: считать что-то истинным, не имея при этом достаточных оснований или даже и вопреки проиворечащим вере аргументам. Во французском языке глагол *croire* — означает не только «верить», но и «думать», «полагать», таким образом, эти два смысла в ряде контекстов как бы сосуществуют, сливаются. В русском же языке *верить* и *полагать* — в корне разные действия: *верить* — значит быть уверенным, не испытывать сомнения, *полагать* же — предполагать, допускать, то есть обнаруживать некое сомнение.

Состояние веры — иррациональное когнитивное состояние, исключающее сомнение иррациональным путем, иначе говоря, *вера* — это иррациональное знание. *Веры* требует только то, истинность чего не может быть доказана. Таким образом, *вера* — это способ компенсировать слабость разума, это даже способ доказать факультативность разума при решении первостепенных экзистенциальных вопросов, в сфере которых точное знание часто отсутствует (речь здесь идет о рождении, смерти, судьбе и пр.). Особая функция веры в русском сознании, и в религиозном и в обыденном (через перенос), необычайно высока: вера в свои силы, вера в жизнь, вера в будущее, вера в победу добра над злом, в счастливый исход дела и пр. Состояние уверенности часто граничит с состоянием веры. Важный нюанс: Даль в своем словаре приводит устаревшее значение глагола *уверять*, означавшего «приводить к присяге на верность, на подданство», что пересекается также с этимологическим значением слова «*вера*». Иначе говоря, первоначально и за понятием *веры* и *уверенности* стояло чувство преданности, чувства и обязательства по отношению к более сильному в социальном плане человеку, измена которым (изменение этих чувств) могла стоить жизни изменнику.

Уверенность трактуется Далем как состояние веры, убеждение.

Уверенность в современном русском языке определяется как твердая вера в кого-что-либо, убежденность в чем-либо, сознание своей силы, своих возможностей, решительность в действиях, имеет следующую сочетаемость:

твердая, *непоколебимая*, *несокрушимая уверенность*;
чувствовать, *ощущать в себе*, *вселять в кого-то уверенность*;
подорвать, *подкрепить*, *укрепить*; *поколебать*;
давать уверенность;
пребывать в уверенности, *оставаться в уверенности*;

уверенность появляется, оставляет, покидает кого-либо;
обрести уверенность;
уверенность строится на...;
уверенность пришла.

Поскольку *уверенность* осмысливается в терминах чувства, то с этим словом возможна вся сочетаемость, сопровождающее чувство как таковое: чувство уверенности рождается, растет, укрепляется и пр. Однако уверенность может рождаться, расти и покидать человека, в отличии, скажем, от стыда, из чего мы можем сделать вывод, что *уверенность* относится к особому разряду одушевляемых чувств.

Итак, из приведенной сочетаемости мы видим, что *уверенность* мыслиться в основном в пределах следующих двух коннотаций:

1. опора;

2. персонифицируемая эмоция, как порождаемая человеком, так и приходящая к нему извне.

Образ *опоры*, сопровождающий понятие *уверенности*, представляется существенным при описании интерпретации человека в русском национальном сознании. *Опора* — это то, что помогает удержать равновесие кому-то или чему-то внутренне неустойчивому, неустойчивому в силу либо врожденного дефекта, либо благоприобретенного. Поколебать *опору-уверенность* означает лишить ее главного качества опоры, то есть уничтожить ее в основной ее функции. *Уверенность-опора* воспринимается как некая данность, а не созданное человеком себе воспомоществование, это своего рода крепость (пребывать в уверенности и пр.), которую можно взорвать, подорвать и которая дается человеку извне. По отношению же к одушевленной уверенности человек пассивен окончательно: она рождается, растет в нем, наполняя его силами, и по независящим от своего родителя причинам покидает его. Персонифицируемая уверенность не описывается никакими признаками, то есть не дооформляется образно, что свидетельствует об относительной слабости этой коннотации.

Напротив, первая коннотация — «*опора*» — серьезно поддерживается признаковой сочетаемостью, а также наличием антонима *уверенности* — колебания, напрямую ассоциирующего неуверенность с неприятным и тревожным чувством неустойчивости.

Сомнение, определяемое Вл. Далем как «нерешимость, шаткое (NB!) недоумение, колебание (NB!) мыслей, недоверие, подозрение, опасение», этимологически связано со старославянским глаголом *мнить* — «полагать, думать». Очевидна сохранившаяся и поныне связь мнительности и сомнения: и то и другое связано с ощущением

негативного свойства имеющейся информации. Это же видно из современного толкования слова *сомнение* как «неуверенности в истинности, возможности чего-либо, отсутствие твердой веры во что-либо; опасение, подозрение».

В русском языке у этого слова имеется следующая сочетаемость:

большое, неожиданное сомнение;

испытать, иметь, возбуждать, вызывать, уничтожить сомнение;

развеять, рассеять сомнение;

подвергать что-либо сомнению;

брать, ставить под сомнение;

сомнение появилось, берет кого-то, (не) покидает, (не) оставляет, (не) пропадает;

сомнение закралось в душу, зародилось у кого-либо;

сомнения грызут, гложут, терзают;

червь сомнения;

сомнения гнездятся;

что-то может породить сомнения;

заронить сомнение, посеять сомнение;

возбуждать сомнение;

разрешить все сомнения;

тень сомнения.

Из приведенной сочетаемости мы видим, что *сомнение* в русском языке ассоциируется с несколькими достаточно хорошо просматривающимися образами:

1. сомнение как туман;
2. сомнение как червь;
3. сомнение как растение.

В рамках приведенных коннотаций *сомнение* часто описывается как нечто постоянно существующее, что-то, что можно «возбудить». То же постоянство *сомнения* выражено и в образе крыши, неба, чего-то существующего над головой, подо что можно поставить практически любую уверенность. Так, мы допускаем *сомнение* применительно к нашим планам и намерениям (*человек предполагает, а Бог располагает*), часто произнося: «*Если ничего не случится, я сделаю, пойду*» и так далее. Русский человек в точности не знает, из-за недискретности мира, о которой мы уже писали, что именно может помешать ему совершить задуманное, поэтому он всегда много сомневается в стопроцентой реальности строимых им планов.

Коннотация «*туман*» поддерживается также и многими прямыми употреблениями этого слова, создающими близкие контексты, например «*напустить тумана*» означает «*сделать что-либо неясным*», «*туман, пелена перед глазами*» в переносном смысле означает «невозможность что-либо четко увидеть, отчего замутняется ясность знаний и четкость представлений». Четкость, ясность, прозрачность сопровождает идею знания наверняка, уверенность. Туманный — обычно характеризует мысль, информацию с точки зрения ее понятности, то есть с точки зрения возможности оценить ее достоверность. В этом же смысле *сомнение* ассоциируется с тенью, это облако или туман, отбрасывающие тень или воспринимаемые как тень.

Словарь символов сообщает нам (СС), что туман символизирует неопределенность вещей или слияние элементов воздуха и воды и неизбежной неясности основных черт каждого аспекта и каждой фазы эволюционного процесса.

Сомнение, закрадывающееся в душу и гложущее (точащее), как червь, ассоциируется со смертью, распадом, муками и является, с нашей точки зрения, типично христианской метафорой (аналогичная коннотация, вспомним, есть также и у слова «*совесть*»), основанной на осуждении сомнения христианской доктриной. Сомневаться грешно, если допускаешь в себя червь сомнения — погубишь душу. Этот христианский постулат, однако, имеет узкую сферу действия, он касается не всего спектра возможных сомнений, а только сомнения в Боге. Именно поэтому закравшееся *сомнение* — это зло, посланное дьяволом, чтобы погубить душу человека.

Сомнение-растение, как мы уже видели, коннотация достаточно распространенная для мыслительных и, главное, эмоциональных состояний.

Растение — достаточно полно разработанный в мифологии различных народов символ. В астробиологическую эру часто устанавливались связи мифических существ и растений. Растение, с его выраженным годовым циклом, часто ассоциировалось со смертью и возрождением, иначе говоря, с преобразованием жизни, а также и с плодородием полей — мощнейшим символом космической, материальной и духовной плодовитости. В данном случае таким полем является душа человека (лоно всей его эмоциональной жизни), в которую сеется сомнение и где оно плодоносит. Через коннотацию «*растение*» сомнение также связывается со злом.

Мы могли бы предположить, что *растение-сомнение*, произрастающее в человеческой душе, дает и другие всходы: сомнение сеет враж-

ду, злобу, они нередко растут из одного корня. С этому же понятийному гнезду может быть отнесено и понятие *доверие* — антоним сомнения, также иррациональное состояние, являющееся симметричным иррациональным ответом на сомнение. *Доверие*, как и *сомнение*, чувствуют, *доверие* и *сомнение* борются друг с другом, *доверие* снисходит, покрывая собой «низ», плохую почву, где растут сорняки *сомнения*.

На французский язык «*сомнение*» и «*уверенность*» обычно переводятся словами *doute*, *certitude*, *assurance*. Рассмотрим эти понятия.

Doute (n. m.) — отглагольное существительное, прошедшее ту же историю развития, что и соответствующий глагол — *douter*. Этот глагол произошел от латинского *dubitare*, обозначавшего «колебаться между двумя вещами, быть в нерешительности» (DE).

Латинский глагол восходит в свою очередь к числительному *duo* — два. Иначе говоря, за идеей французского сомнения этимологически стоит идея выбора из двух.

В старофранцузском языке глагол сначала выражал идею страха — «бояться». В современном значении — «сомневаться» — глагол начал употребляться с XII века (DAF). Соответствующее существительное прошло также определенную понятийную обработку в философских и религиозных текстах (у Декарта, например).

Мы находим лаконичное аллегорическое описание этого понятия в средневековой иконографии. Там *doute* изображалось в виде задумчивого обнаженного мужчины, стоящего на развилке перед двумя или даже тремя дорогами в нерешимости (I), то есть в средние века латинский смысл был еще достаточно прозрачно виден. В этом изображении мы видим рудимент латинской этимологии и расширение философского содержания понятия: речь идет не о двух или трех вещах, из которых следует, преодолев сомнение, выбрать одну, а о вариантах жизненного пути. Иначе говоря, сомнение было первоначально связано с трудностями принятия решения, а не с абстрактной (или конкретной) оценкой достоверности информации, это последнее значение очевидным образом появилось в результате расширения первоначального смысла в философских и теологических трудах.

В современном языке *doute* означает следующее.

1. Состояние разума, который сомневается в реальности факта, в истинности высказывания, в поведении, которого следует придерживаться в неких особых обстоятельствах.

2. Факт сомнения (R1).

В современном французском языке слово *doute* имеет следующую сочетаемость:

etre dans le doute;
laisser qn dans le doute;
cela est hors de doute;
mettre qch en doute;
avoir un doute;
laisser planer un doute;
il n'y a pas l'ombre d'un doute;
cela ne fait aucun doute;
lever, éclaircir, dissiper, émettre, formuler, conserver, élever un doute;
oter, tirer qn d'un doute (*vieilli*);
la jalousie se nourrit dans les doutes;
un doute s'élève, naît, surgit, subsiste, persiste, plane;
un doute affreux, léger, subit (TLF, R1, DMI, DS, NDS, DGLF).

Из приведенной сочетаемости мы видим, что *doute* осмысливается в современном языке в пределах нескольких коннотативных образов.

1. Навес. *Doute* — это некоторое помещение, ограниченное пространство, в которое можно нечто поместить, положить, в котором можно нечто оставить и из которого затем можно вытянуть человека или вещь.

2. Птица, крупный летающий предмет. Видимо, именно в этом качестве французское сомнение способно отбрасывать тень. Птица или самолет могут связываться с идеей движения в воздухе, воплощать «высокую идею», находящуюся над человеком, этот же образный оттенок поддерживается выражением *élever* (поднять) *un doute*.

3. Туман. *Doute* можно также развеять и осветить, иначе говоря, создать условия для более четкого осязания рассматриваемого предмета.

4. Живое существо. Сомнение, выражаемое словом *doute*, также персонифицируется, оно поднимается, рождается, его можно кормить, оно способно выживать, проявлять волю к жизни, внезапно появляться и исчезать.

Главные коннотации, наиболее часто встречающиеся в языке, — навес (помещение), туман (нечто, затрудняющее видимость и находящееся в газообразном состоянии) и птица, которую человек поднимает и дает ей возможность взлететь. Мы можем также увидеть, что и птица, и туман связаны с воздушной стихией, *doute* предпочитает находиться в оторванном от земли состоянии (сюда же относится и «приподнять сомнение», то есть оторвать его от земли), в воздухе, в стихии, связанной не только со светом, легкостью и полетом, но и со свободой человека (4).

Наиболее распространенным символом свободы является также и птица (ср. русское *свободен как птица*), с которой явным образом ассоциируется *doute*. Все сказанное позволяет нам предположить, что это понятие связано с идеей свободы, свободомыслия человека по отношению к догматическому, религиозному сознанию, всегда максимально репрессивно относившемуся к сомнению и не без основания квалифицировашего его как основную угрозу для своего господства.

Соединение свободы и сомнения, сомнения в существующем и свободы — в том числе и как неповиновения, представляется нам в большой степени именно французским смыслом, учитывая, что Франция — страна революций, вольнодумства и атеизма.

Во французском языке есть еще одно понятие, часто являющееся эквивалентом русского сомнения, — это *hésitation*, однако мы не будем рассматривать здесь это слово подробно, так как считаем, что оно скорее связано с нерешительностью в ситуации необходимости принятия решения (оно является скорее точным эквивалентом для русского «*колебания*», нежели для *сомнения*), а не с оценкой достоверности знания и информации.

Certitude (n. f.) — эквивалент русской «уверенности», произошло от латинского деривата *certitudo* «уверенность, убежденность», в христианской латыни обозначало «убежденность в христианских истинах». *Certitudo* связано с классическим латинским *certus* «определенный, фиксированный», а также с *certificatum* — «сертификат». Во французском языке сначала было зафиксировано объективное, затем субъективное значение (DHLF).

Таким образом, мы видим, что изначально *certitude* связано с идеей доказательства подлинности чего-либо, а не веры.

В современном языке это слово имеет следующие значения.

1. Утверждение, с которым соглашаются, само это утверждение (синонимы *évidence*, *vérité*; *sûreté*).

2. Состояние ума, который не сомневается, у которого нет страха заблуждения (синонимы *assurance*, *conviction*, *croyance*, *opinion*) (R1).

В современном языке *certitude* имеет следующую сочетаемость:
certitude absolue;
certitude fondée sur des preuves;
certitude immédiate, *médiate*, *intuitive*, *discursive*;
certitude physique, *morale*;
certitude mathématique;
eprouver une certitude;
acquérir, *ébranler*, *détruire la certitude*;

se fortifier, s'affermir dans une certitude;
une certitude naît, se forme (TLF, R1, DMI, DGLF).

Из приведенной сочетаемости мы видим, что *certitude* мыслится как «объективизированное» чувство, вызванное объективными основаниями, *certitude* — это уверенность, основанная на фактах. В зависимости от этих фактов и возникновения *certitude* классифицируется, и в идеальном случае мы почти всегда можем сказать, о какой именно уверенности идет речь, об интуитивной или дискурсивной, об абсолютной или математической. Образно *certitude* осмысляется как:

1. крепость, в которой человек становится неуязвимым и которую можно только разрушить;

2. опора, которую можно расшатать.

Уверенность формируется, приобретает форму, таким образом, сформировавшись, она мыслится как нечто имеющее четкую структуру и контуры.

Исключением из всей овеществляющей это понятие сочетаемости является выражение *une certitude naît*, как бы персонифицирующее это чувство. Однако мы можем утверждать, что эта ассоциация формальная и происходит именно от причисления *certitude* к чувствам, которым свойственно «рождаться».

Основная сочетаемость этого слова трактует его образную структуру именно как «объективизированную» защиту-опору человека и позволяет поставить его скорее в ряд *cause — effet*, нежели в ряд *raison — conséquence*.

Если в русском языке «*убежденность*» — слово, практически полностью синонимичное «*уверенности*», в отличие от получившего особое развитие понятия убеждения и ни в коей мере синонимом *убежденности* не являющееся и отражающее не оценку достоверности знания, а личностно-ценностно-моральные установки, то французское *conviction* очень часто используется именно как особенный синоним *certitude*.

Conviction (n. f.) — позднее заимствование из христианской латыни (XVI век) — произошло от *convictio* — «убедительный факт», «доказательство того, что кто-то побежден кем-то» (от *convincere*). Слово первоначально употреблялось в соответствии со старым значением глагола *convaincre* в юридической сфере в значении «доказательство чьей-либо виновности». Затем слово попало в обиходный лексикон и стало обозначать «уверенность» в чем-либо, во множественном числе слово потребляется в области общественного мнения и религии (DHLF).

В современном языке это слово обозначает, во-первых, улику, доказывающую чью-либо вину и, во-вторых, согласие разума с чем-либо, основанное на очевидных доказательствах, и происходящую от этого уверенность (R1). Таким образом, *conviction* рассматривается как первый этап *certitude*. Важной особенностью и *certitude*, и *conviction* является то, что оба эти понятия исторически связаны с фактическим доказательством подлинности какого-либо предмета или факта и, таким образом, происходят от реальности, а не от сверхтрансцендентной веры.

Conviction, будучи очевидным образом первым этапом уверенности, не имеет такой четкой классификации, трактующей разновидности этого вида убеждения в зависимости от способов и опоры на то или иное знание.

Сочетаемость *conviction* в большей степени характеризует его как чувство, по-французски говорят:

ressentir une conviction, *proclamer son conviction*, *épouser une conviction* («принять убежденность в том виде, в каком она существует»), *intime conviction* («внутреннее убеждение, чувство») и пр.

Conviction не может быть *inébranlable* (непоколебимым) именно потому, что, являясь первой ступенью уверенности и в большей степени чувством, подвержено колебаниям.

У *conviction* есть и коннотативный образ крепости, и коннотативный образ опоры.

Сочетаемости этих двух понятий имеют существенные пересечения, однако существует описанный нюанс, все-таки не позволяющий нам согласиться с Lexis, квалифицирующим *certitude* как чувство, а *conviction* как состояние. Для такого подхода, очевидно, существуют определенные основания, прежде всего, вероятно, тот факт, что *conviction* может быть более длительным, чем *certitude*, однако и то, и другое, с нашей точки зрения, чувства, сопровождающие оценку достоверности знания и информации.

Assurànce (n. f.) в первоначальном употреблении было тесно связано со значениями соответствующего глагола, произошедшего от народно-латинского *assecurare*, обозначавшего «защищать» (DE). Первые значения во французском языке связаны с действием по отношению к человеку — защищать, помещать в безопасность.

Затем с XII века у этого понятия появляется психологический оттенок — успокаивать, вызывать доверие. В это же время формируется второе принципиальное значение глагола, связанное с интеллектуальной деятельностью человека, — «убеждать, уверять».

С XII по XVI век *assurance* употребляется в точном соответствии с глагольным употреблением. В старофранцузском и среднефранцузском слово обозначает гарантию мира, перемирие (до XVI века), а также клятву верности (DAF). С XVI века слово начинает обозначать уверенность в себе. Значение «страховка, страхование» пришло из мореходства и развилось в XVII веке (DHLF).

Средневековая иконология дает нам лаконичное описание образа, характеризующего это понятие:

«Женщина с оливковым венком на голове, спит сидя, в правой руке держит копье, на левую руку опирается щекой, локтем опирается на колонну» (Cd).

Этот аллегорический образ явственно свидетельствует о том, что интересующее нас значение возникло значительно позже, после эпохи рационализма и Просвещения.

В современном языке это слово имеет следующие значения:

1. чувство безопасности;
2. чувство уверенности, уверенность в себе;
3. чувство уверенности или внутренней убежденности;
4. обещание или гарантия, которую кто-то берет перед кем-то;
5. контракт, при помощи которого страхующая сторона берет на себя обязательства перед страхуемой стороной (R1).

Из истории этого слова и из его современных значений мы видим, что, в отличие от *certitude* и *conviction*, *assurànce* связано не с идеей подлинности факта и по переносу с идеей знания или информации, а с идеей безопасности, происходящей от того, что сильный защищает слабого. *Assurànce* обозначает уверенность через спокойствие, то есть через другую эмоцию, а не через рациональную оценку достоверности знания. *Assurànce* — понятие социализированное, именно этим фактом объясняется его особенное развитие в государственно-социальной сфере.

Безусловно, из трех понятий, которыми мы переводим русскую «*уверенность*», слово *assurànce* по сути своего значения отстоит от русского слова максимально далеко.

Интерперсональный характер значения этого слова дополнительно подчеркивается его сочетаемостью.

По-французски говорят:

donner, fournir, exiger, prendre, montrer de l'assurance;
inspirer l'assurance à qn;
perdre son assurance;
vivre dans l'assurance de;

s'appuyer sur l'assurance de;
assurance ferme, formelle (TLF, R1, DMI, DGLF, ФРФС).

Из приведенной сочетаемости видно, что главный образ, сопровождающий понятие *assurànce*, это образ опоры, столь хорошо представленный и описанный в средневековой иконологии. Однако эта опора мыслится в современном языке скорее как палка, нежели как колонна, ее можно потерять, потребовать, дать кому-либо, потерять, на нее можно опираться, она должна быть прочной. Единственный контекст — *vivre dans l'assurànce de* — выходит за рамки этого образа и возвращает нас, возможно, к описанному ранее образу крепости. Ассоциирование уверенности с палкой, опорой представляется вполне логичным, если учесть тот факт, что неуверенность и сомнение и во французском, и в русском языках ассоциируются с неустойчивостью и колебанием. Палка, являясь дополнительной точкой опоры, добавляет человеку устойчивости, ассоциированной с состоянием уверенности (различные символические системы ассоциируют палку с мировой осью, с позвоночником человека, с жизнью и мудростью (5,6,7), однако мы в силу недостаточности информации не беремся комментировать подобные трактовки).

Обобщим сказанное.

Русскому слову «*уверенность*» наиболее часто ставятся в соответствие французские *certitude*, *conviction* и *assurànce*.

Русская «*уверенность*» связана с русским понятием веры, состоянием иррациональной убежденности в истинности чего-либо.

Иначе говоря, за русской уверенностью стоит иррациональное когнитивное состояние, подчеркивающее слабость разума в решении важнейших экзистенциальных проблем. В русском языке *уверенность* овеществляется и мыслится как опора и, как и всякая эмоция, персонифицируется, одушевляется. Во французском же языке ни одно из этих понятий не связывается с иррациональным когнитивным состоянием, а напротив, всячески рационализируется. Так, *certitude* — уверенность, основанная на фактах, причем в зависимости от качества факта язык и сознание предлагают нам классификационную сетку *certitude*, *conviction* — убеждение-уверенность этимологически связано с идеей победы над кем-либо, а в современном языке имеет также значение улики, то есть также основывается на объективных данных, *assurànce* — понятие, связанное с идеей защиты, безопасности, *assurànce* — это уверенность-безопасность, происходящая от соответствующих гарантий.

Таким образом, мы можем констатировать, что уверенность в двух рассматриваемых языках понимается совершенно различной, в русском языке с опорой на веру, во французском — с опорой на факт. Однако и русское слово, и его французские переводные эквиваленты находятся в рамках общего коннотативного поля: русская «*уверенность*» ассоциируется с опорой, французская — с крепостью-опорой, однако эта крепость имеет четкие очертания и структуру. Эти понятия позволяют увидеть нам, так же как и предыдущие, четкую рационалистическую ориентированность французского сознания.

Русскому слову «*сомнение*» однозначно ставится в соответствие французское слово *doute*. *Сомнение* — не только когнитивное состояние, но и эмоция негативного толка. В русском языке это слово имеет четкую коннотативную структуру.

У *сомнения* вычленяются три четкие коннотации: туман, червь, растение. Первая коннотация характерна для трактовки мыслительных процессов как процессов визуальных, вторая явным образом соотносима с христианской трактовкой сомнения как греха, третья связана с представлением о сомнении как о чем-то постоянно циклически существующем. Французское *doute*, первоначально связанное с идеей страха, в современном французском языке коннотативно оформляется через образы помещения, тумана и птицы (или другого способного парить предмета). Этот коннотативный ряд показывает нам, что, с одной стороны, сомнение мыслится как нечто статичное, что может поместить в себе человека, с другой стороны, как нечто затуманивающее ясное видение (инвариативный образ), и, с третьей, — как проявление свободы человеческого духа по отношению к любой догме. На примере этой пары слов мы также видим существенные различия в их трактовках в рамках двух описываемых культур.

Представим эти результаты в таблице.

Понятие французов и русских о сомнении:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	Шататься, колебаться	Выбирать из двух вариантов, колебаться
Актуальные связи	Неуверенность, мнить, воображение	Свобода
Образ	Туман, червь, растение	Навес, туман, крупный летающий объект

Членение ситуации	2 слова: *сомнение, неуверенность*	2 слова: *doute, hésitation*
Человек	И активен и пассивен	Активен
Влияние	Христианство	Эпоха Просвещения

Понятие французов и русских об уверенности:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	Вера	Сертификат, доказательство подлинности
Актуальные связи	Интуиция, доверие	Система страхования
Образ	Опора	Опора, крепость
Членение ситуации	1 слово	3 слова с акцентами: уверенность от факта, уверенность-победа, уверенность-безопасность
Человек	Активен и пассивен	Активен
Влияние	Христианство	Античность, эпоха Просвещения

Библиография

1. *Шмелев А. Д.* Вера и неверие сквозь призму языка // ИАН СССР: Тез. конф. молодых сотрудников. Языкознание. М., 1988.
2. *Лейбниц Г. В.* Общие исследования, касающиеся анализа понятий и истин // *Лейбниц Г. В.* Соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1984.
3. *Дмитровская М. А.* Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ естественного языка: знание и мнение. М., 1998.
4. *Broek R. van den.* The Myth of the phoenix according to classical and early christian traditions. Leiden, 1972.
5. *Фрезер Д.-Д.* Золотая ветвь. М., 1983. С. 15.
6. *Riviere M.* Amulettes, talismans et pantacles. Paris, 1950.
7. *Schneider M.* El origen musical de los animals simbolos en la mitologia. Barcelona, 1946.

Глава двенадцатая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ О ЧУВСТВЕ И ЭМОЦИИ.

Общее представление о базовых эмоциях в европейской культуре

В качестве материала для сопоставления в сфере лексики, обозначающей эмоции, мы выбрали именно базовые эмоции, эмоции основополагающие, а не изобретенные культурой, эмоции универсальные, свойственные человеку как биологическому существу, а не как представителю культурного социума. Казалось бы, именно культурно и социально обработанные человеческие эмоции (такие, как любовь или сплин) опираются на выработанные в культуре мыслительные и поведенческие сценарии. Именно с опорой на них носитель языка может интерпретировать чувства, моделировать свои эмоции и отношения с другими людьми, именно они «дают бесценный ключ к пониманию культур и обществ» (1). Однако всякая деятельность глубоко системна (какого бы уровня ни была эта системность), а следовательно, невозможно понять сложное, не поняв простого, понять производное, не поняв базовое. Мы убеждены, что всякая национальная специфичность будет обнаруживаться также и на «атомарном», а не только на «молекулярном» уровне (возможно, для обнаружения этого придется лишь пристальнее приглядываться), и из этих атомарных отличий и происходить.

Такими «атомами», «примитивами» в сфере эмоций и являются базовые эмоции.

Эти базовые эмоции, как правило, называются словами, издревле существующими в конкретном языке, и этимология их, как и положено в таких случаях, не ясна.

При помощи этих базовых эмоций могут быть истолкованы другие эмоции и чувства: ненависть через гнев или злобу, любовь через радость или страх и пр.

Возникновение этих эмоций верифицируется физиологически (каждой из них соответствует непроизвольная реакция организма, которая может быть зафиксирована даже у новорожденного, таким образом, не является результатом ни воспитания, ни подражания) и свойственно всем людям, универсально, не зависит ни от этноса, ни от эпохи, ни от индивида. Страх выражен адреналиновой реакцией, радость — эндорфиновой, и так далее.

Количество выделяемых психологами эмоций, относимых к базовым, варьируется от работы к работе, в зависимости от того, какой именно критерий выдвигается на первый план. В наиболее часто цитирующейся работе Отли (2) их пять — радость, грусть, страх, гнев и отвращение. Отли считает, что каждая эмоция включает в себя в том или ином виде цель, для выполнения этой цели человек вырабатывает определенные планы, выполнение этих планов зависит от ресурсов и среды. Согласно этой теории, положительные эмоции возникают тогда, когда цель достигается, а отрицательные, когда план не удается осуществить. Такую точку зрения оспаривает В. Ю. Апресян в статье «Эмоции: современные американские исследования» (3) и понятно почему: в данном случае Отли и Апресян выступают не как ученые, а как представители различных культур — западной и русской: для представителя европейской и американской науки рационализация, соотнесение любого построения с целеобразованием — естественный сознательный и подсознательный рефлекс, для представителя русской науки, непременно являющегося носителем русского языкового сознания, такой подход является заведомым упрощением, не отражающим всей сложности внутреннего мира человека, противоречивого и непознаваемого, особенно проявляющегося в его эмоциях.

Возможная немотивированность чувств прекрасно признается русским сознанием (*сам не знаю почему взгрустнулось*), в то время как для сознания европейского и американского ситуация, описанная Верленом (*il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure*), — казус чисто поэтический, никак не отражающий фактов обыденного сознания.

Поль Экман — наиболее известный исследователь в области физиологии эмоций, утверждающий универсальность эмоций, выделяемых на основе комплексов физиологических реакций тела (4), — предлагает следующие шесть эмоций считать базовыми: гнев, страх, грусть, счастье, отвращение и удивление (по сравнению со списком

Отли добавилось удивление). Некоторые психологи, по понятным причинам, включают в этот список удовольствие, некоторые — желание (5). Легко выделяется ядро предложенных списков — страх, радость, гнев, легко выделяются наиболее часто встречающиеся «другие» эмоции — счастье, удовольствие, удивление, отвращение. Как бы то ни было, окончательного бесспорного списка базовых эмоций на сегодняшний день не существует, и поэтому мы, дабы избежать не относящихся напрямую к лингвистике и культурологи рассуждений, сделаем свою выборку, опираясь на стопроцентное пересечение в имеющихся списках, полагая что получим таким образом необходимый, но, возможно, недостаточный набор эмотивных примитивов.

Мы предполагаем исследовать в качестве эмотивных примитивов во французском и русском языках страх, гнев и радость (в полном наборе: страх, боязнь, испуг, ужас, паника; радость, ликование, восторг; гнев, ярость, бешенство/peur, angoisse, crainte, effroi, epouvante, frayeur, panique; joie, jubilation; colère, fureur, furie, rage), оставляя «за бортом» многие не менее интересные эмоции. Подчеркнем еще раз — наш список уязвим, но, по нашему убеждению, уязвим не в большей и не в меньшей степени, чем любой другой.

Ю. Д. Апресян обоснованно утверждает (6), что до недавнего времени внутренний мир человека мало интересовал лингвистов и что положение в этой области стало меняться лишь в шестидесятых годах нашего столетия. Интерес же к этой теме у «философов и поэтов» (по выражению Ю. Д. Апресяна), безусловно повлиявших на формирование соответственных этнокультурных представлений, требует чуть более подробного рассмотрения, поскольку именно им мы обязаны теми различиями, которые обнаруживаются в представлениях о понятиях, которые, как мы уже говорили, в большей степени, чем все прочие, обозначают одно и то же.

Попытки обнаружить следы соответствующих аллегорических персонажей в античных или славянских мифах оказались практически тщетными: с одной стороны, для отражения представлений об этих понятиях миф оказался слишком молод, с другой, — слишком стар. Слишком молод потому, что в архаичном сознании эмоции не представлялись главными силами, из которых складывалась картина мира. В античных мифах мы находим лишь спорадические персонификации эмоций, «сопровождающие» проявление главных действующих сил, это лишь крошечные фигурки в их свитах. Очевидна не первичность эмоций по отношению к поведению и ситуации, здесь зависимость скорее иная: ситуация первична, эмоция, поведение вторичны, сюжет

первичен, герой вторичен. Эмоция закрепляется за ситуацией, которая оказывается всегда «больше» этой эмоции.

Так, например, Фобос — сын Ареса (бога войны) и Афродиты (богини любви) — появляется исключительно в свите либо Марса (Ареса), либо Немезиды, либо Тизифоны. Фобос настолько маргинальный персонаж, что описан скудно.

Гнев (*furor*) в античном понимании связан либо с чувством к врагу, с войной (7), либо с карой, производимой богом или человеком по отношению к человеку, нарушившему правило, например, покусившемуся на власть (8).

Радость (греч. Хариты и лат. Грация), ассоциированная в первую очередь с красотой, изяществом, молодостью и весной, возникает в ситуации победы над врагом, воскрешением из мертвых и божественным даром — божественной радостью, которая снисходит как вдохновение и не возникает вследствие чего-либо. Миф оказался слишком старым по самому определению своему, он в силу своей надличностной, неавторской специфики не мог отразить поздние по отношению к нему, сугубо авторские лирические описания чувств, дошедшие до своего аллегорического завершения уже в другой, поздней по отношению к нему, во многом производной средневековой романской культуре. Особый вклад в разработку таких понятий, как страх и тоска, радость и надежда, принадлежит появившемся спустя века экзистенциалистам, разглядывавшим в постхристианскую эпоху человека, покинутого умершим богом, и упрекавшим традиционную философию прежде всего в «бесчувственном» отношении к человеку как к существу эмоциональному. Остановимся чуть подробнее на экзистенциализме, поскольку именно это необычайно популярное во Франции философское направление в существеннейшей мере определило специфику современного французского менталитета. Но прежде — о роли христианства всего в нескольких словах: христианство изменило прототипические ситуации, за которыми сознательно закреплялось возникновение той или иной эмоции: страх — не от опасности, не от смерти, но от ада, радость не от красоты и грации, а от слияния с Богом, желания плотские суть страдания, счастье — вечная жизнь в раю и пр. Возможно, став первой европейской идеологией, а не только философской доктриной, христианство справедливо опиралось прежде всего на апелляцию к базовым, а не производным надстроечным эмоциям.

Итак, вспомним: экзистенциализм — философская доктрина, признающая примат человеческой жизни над материей. Для описания

структуры экзистенции многие экзистенциалисты прибегали к феноменологическому методу Гуссерля (9), выделяя в качестве структуры сознания его направленность на другое — интенсиональность. По Хайдеггеру и Сартру, экзистенция есть бытие, направленное в ничто и сознающее свою конечность.

Поэтому у Хайдеггера описание структуры экзистенции сводится к описанию ряда модусов человеческого существования: заботы, страха, радости, решимости, совести и пр. Страх — одно из основных понятий экзистенциализма. Оно как термин было введено Кьеркегором, различавшим обычный эмпирический страх-боязнь, вызываемый конкретным предметом или обстоятельством, и неопределенный безотчетный страх-тоску — метафизический страх, неизвестный животным, предметом которого является ничто и который обусловлен тем, что человек конечен и знает об этом. У Хайдеггера страх открывает перед экзистенцией ее последнюю возможность — смерть. У Сартра метафизический, экзистенциальный страх (angoisse) истолковывается как страх перед самим собой, перед своей возможностью или свободой (10).

Экзистенциалисты подчеркивают в феномене времени определяющее значение будущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциалами, как «решимость», «проект», «надежда», утверждая тем самым связь истории с деятельностью, исканием, напряжением, ожиданием. Напомним: Сартр (которому современные французы, безусловно, обязаны расширенным пониманием la nausee и l'angoisse в контексте социального взаимодействия), Камю, Габриель Марсель, Симон де Бовуар — не кабинетные философы, но властители дум, определившие (возможно, не в меньшей степени, чем фрейдисты, различавшие страх перед внешней опасностью и глубинный иррациональный страх — неврозы от подавленных желаний и пр.) современное французское представление об эмоциональной сущности человека. Не будем забывать о том, что это направление (развивавшееся также и Бердяевым) (11) встретило больше, чем другие, препон на пути к русскому читателю, по причинам и объективным, и субъективным: середина XX века — это период наивысшего взлета советской идеологии, определявшегося не только усилиями пропаганды, но и открытостью по отношению к ней сознания жителей тогдашнего СССР.

Возвращаясь в область лингвистики, отметим, что интерес к описанию эмоциональной лексики, возникший, как мы уже писали, в шестидесятые годы XX века, реализовывался в двух плоскостях — смысловой и метафорической. Смысловой подход был предложен в

работах А. Вежбицкой и Л. Иорданской, пытавшихся описать эмоции через прототипические ситуации, в которых они возникают (12, 13).

Описание эмоций и толкование их — задача высочайшей степени сложности, в особенности эмоций базовых, поскольку в отличие от ментальных состояний, которые легко вербализуются субъектом, эмоции очень трудно перевести в слова. Эта онтологическая трудность порождает лингвистическую: слову, обозначающему эмоцию, почти что невозможно дать толкование (6). Как мы уже неоднократно говорили и как это видно из предыдущих описаний, наша работа исследует современный миф, и поэтому внимательно относится к актуальной метафорической сочетаемости слова, исповедуя подходы, представленные у Лакоффа и Джонсона, а также В. А. Успенского (см. главу первую этой книги). Мы выражаем полное согласие с соответствующими установками: эмоция практически никогда не выражается прямо, но всегда уподобляется чему-либо. Именно поэтому наиболее адекватным лингвистическим описанием эмоций мы считаем описание через метафоры, в которых эти эмоции концептуализируются в языке. Такой подход, помимо всех прочих достоинств, позволяет также получить бесценную культурологическую информацию.

Итак, пытаясь сформулировать некоторое общее представление о выбранных нами к описанию трех базовых эмоций (мы оставляем в стороне также вопрос о различии между эмоцией и чувством), мы останавливаемся на следующем их представлении.

Страх — это отрицательная эмоция, возникающая в результате реальной или воображаемой опасности, угрожающей либо жизни человека, либо ценностям (в самом широком понимании), которыми он дорожит.

Радость — это положительная эмоция, возникающая в результате достижения осознанной или подсознательной цели.

Гнев — это отрицательная эмоция, возникающая в результате неоправдывающегося ожидания.

Очевидно, эти определения могли бы быть существенно развиты, однако мы считаем, что эмоции эти универсальны и с культорологической точки зрения не требуют никаких дополнительных трактовок.

Приступая к описанию ментальных категорий, мы указывали их однозначную локализацию в наивно-анатомической картине мира, ментальные категории были связаны с деятельностью мозга, представляемом в наивном сознании как ум, рассудок, интеллект (для французского языка — соответственные переводные эквиваленты). Однако в том, что касается эмоций, локализации эмоции в двух изучаемых типах на-

ционального сознания, обнаруживается некоторое несовпадение: если для русского сознания однозначным местом рождения и пребывания эмоций является душа (или сердце), то в европейских языках наравне с сердцем существенную роль играет также селезенка и печень: достаточно вспомнить, что английское название селезенки — это *spleen* (заимствованное из греческого вместе с соответствующими представлениями), а во французском языке употребительны такие выражения, как *ne pas se fouler la rate* («не надрываться на работе», дословно: «не копаться в своей селезенке») или *se dilater la rate* («смеяться до слез», буквально: «растягивать себе селезенку») (14).

Не будем забывать также о меланхолии, в большей степени связанной для носителя французского языка с разливом желчи, чем для русского человека, никогда и не подозревавшего о связи меланхолии с работой печени (*желчный* по-русски обозначает «злобный» — уникальное употребление, калькирующее западную наивную локализацию эмоций). Такие различия в локализации следует отметить, поскольку они являются важными для описания особенностей ряда эмоций в западноевропейских языках.

Для начала сравним русские и французские представления о чувствах как таковых.

На первый взгляд, русские слова «эмоция» и «чувство» представляются синонимичными друг другу. Однако анализ их употребления свидетельствует о существенном различии в значениях этих слов. «Чувство» традиционно определяется как способность живого существа воспринимать внешние впечатления, испытывать что-либо, ощущать; психофизическое состояние, испытываемое человеком; внутреннее психическое состояние человека, его душевное переживание; осознание, отчетливо ясное ощущение чего-либо, осознание своего отношения к другим, своего общественного положения; интуитивное понимание, восприятие чего-либо, умение живо, чутко воспринимать, осознавать что-либо на основе своих ощущений, впечатлений (СССРЯ). *Эмоция* во всех случаях — это только второе, при расширенном толковании также и третье в этом перечне. Об *эмоции* мы обычно говорим как об эмоциональной реакции на событие, происходящее «здесь и теперь». О *чувстве* же — когда речь идет также и о длительном процессе, разворачивающемся в человеке (гнев — это *эмоция*; любовь, раскаяние — это *чувство*, страх может быть *чувством*, если длится долго и может быть *эмоцией*, если пришел приступом).

Эмоция обычно имеет свою физиологию (проявление), поддающееся или не поддающееся контролю, *чувство* же, в тех случаях, когда

оно не абсолютно синонимично *эмоции*, может и не обнаруживаться столь однозначно. Мы говорим «*чувство голода*, *чувство стыда*, *чувство Родины*, *чувство локтя*, *чувство привязанности*...». Ни в одном из этих контекстов не может быть употреблено слово «*эмоция*».

Когда мы какое-либо чувство в разговоре называем эмоцией, мы этим как бы принижаем чувство. Фраза «у тебя нет чувств — одни эмоции» может быть оскорбительной для собеседника, так как она указывает на мимолетность, импульсивность и непродуманность переживания. Эти вскользь отмеченные различия (конечно же, не все) легко объясняются историей этих слов и их употреблений.

Слово «*чувство*» — исконно русское. Этимологически оно является однокоренным со словом «*слышать*» (ср. украинское «чути» — слышать) (ЭСРЯ). Отголоски этимологического смысла мы обнаруживаем у Даля, равно как и последствия развития значения этого слова в церковном языке. Даль определяет «*чувствовать*» как «ощущать, чуять собою, познавать телесными, плотскими особенностями, а также познавать нравственно, сознавать духовно, отзываясь на это впечатлениями». Иначе говоря, мы видим, что *чувства* — духовны, а *эмоции*, определяемые в современном языке как «чувство, переживание, душевное движение», как бы бездуховны, бессодержательны.

Это легко объясняется тем фактом, что слово «*эмоция*» известно в русском языке лишь с конца XIX века (у Даля это слово отсутствует), оно заимствовано из французского, пришло в русский язык светским и научным путем. Любопытно в связи с этим отметить, что слово «*эмоция*» предпочитает сочетаться также с заимствованными примерно в этот же период иностранными словами: «*контролировать свои эмоции*, *положительные*, *отрицательные эмоции*, *эмоциональный шок*».

Понятие *эмоции* прочно заняло место первоначально именно в научном языке («эмоциональная структура личности»), являя собой предмет для научного анализа, и затем, благодаря развившемуся в обществе интересу к определенным отраслям знания, вошло в обиход, сохраняя за собой научный, объективизированный, недуховный аспект значения. Именно в силу этих причин в названии этой главы мы использовали слово «*эмоции*», а не «*чувства*». Ведь мы апеллировали как бы к научной, объективной классификации базовых эмоций, стараясь работать с неотрефлексированным их набором, упрощенным и вычислимым, никак не касаясь культурно разработанных способов переживания и выражения того, что уже никак не назовешь эмоцией, а только чувством (*чувство собственного достоинства*, например). Именно анализ чувств, а главное способов их выражения показатель-

но анализируется в знаменитой книге Ролана Барта «Fragment d'un discours amoureux» (15), описывающей весь невообразимый для русского человека любовный французский, в том числе и эпистолярный, этикет. Но у нас другая цель: описать базовые эмоции, то есть то, что заведомо не предполагает такой «культурной проработки», то есть проработки специальной средой (в случае с любовным этикетом речь идет, конечно, о французской поэтической куртуазной традиции). Важно отметить другое: говоря об эмоциях развернуто, анализируя их проявления, мы обязательно говорим о них в терминах чувства, если, само собой разумеется, речь не идет о специальной дискуссии на психологическом или психиатрическом симпозиуме. Различные интеллектуальные веяния в общественной жизни по-разному соотносили эти два понятия: унижали чувства «в пользу» эмоций (вульгарно социологическая школа (5), отводили эмоциям «постыдную роль» физиологического рефлекса на фоне вечных и в высшей степени человечных человеческих чувств (различные формы социальной морали (5), признавали их различными фазами одного процесса (познания) (5). Можно и дальше продолжать этот список, однако, с нашей точки зрения, бесспорно одно: именно чувства, причем чувства не физиологические, а психические, а также эмоции, трактуемые в терминах чувства, стали полноценными культурными концептами.

В современном русском языке слово «*чувство*» имеет следующую сочетаемость:

иметь, *развивать*, *потерять*, *утратить какое-либо чувство*;

обладать каким-либо чувством;

чувство обостряется, *притупляется*, *обманывает*;

чувство можно обострить, *притупить*, *вызвать*, *заглушить*;

от чувства можно избавиться;

с каким-либо чувством уходят, *приходят* и пр.;

Радостное, *беспокойное*, *бурное*, *теплое*, *нежное*, *новое*, *незнакомое*, *странное*, *неосознанное*, *сильное*, *жгучее*, *щемящее*, *горькое*, *сладостное*;

чувство радости, *возбуждения*, *приподнятости*, *подъема*, (*не*) *удовлетворенности*, *облегчения*, *покоя*, *тревоги*, (*не*)*уверенности*, *робости*, *печали*, *уныния*, *тоски*, *скуки*, *горечи*, *жалости*, *сожаления*, *одиночества*, *подавленности*, *страха*, *вины*, *протеста*, *противоречия*, *благодарности*, *любви*, *ненависти*, *раздражения*, *злобы*, *зависти*, *неприязни*, *презрения*, *гадливости*, *содрогания*, *стыда* и пр.

сила чувства, *сила проявления чувства*, *прилив*, *буря*, *вихрь чувств*;

чувства затопили, хлынули, захлестнули;

вызывать, пробуждать в ком-либо чувства, обнаруживать, испытывать, обострять, убивать, вытравлять, заглушать, скрывать, прятать, утрачивать какое-либо чувство;

чувство возникает, проявляется, овладевает кем-либо, охватывает, наполняет, переполняет, не покидает, обостряется, притупляется, исчезает, пропадает, развивается;

чувство отсутствует, изменяет кому-либо, покидает кого-либо, (не)знакомо кому-либо (СССРЯ, РМР, ССРЯ, СРС, СРЯ).

Из приведенной сочетаемости мы видим, что слово «*чувство*» имеет три следующие принципиальные коннотации в русском языке:

1. стрела (или нож);
2. море, вода;
3. живая душа;
4. огонь.

Чувство персонифицируется: первоначально *чувство* является порождением человека, во всяком случае, оно рождается у человека, растет, развивается и умирает, иначе говоря, оно проходит, не выходя за рамки своего родителя, весь жизненный цикл. От *чувства* можно избавиться, отделаться, его можно вытравить, убить, иначе говоря, либо исторгнуть, либо лишить жизни. *Чувство* как живое существо описывается с двух сторон: оно может и помогать, и мешать человеку, оно может также обманывать и изменять, что приводит человека к ошибкам в решении тех задач, с которыми можно справиться только интуитивным путем, но *чувство* может и не подвести своего хозяина, указать ему единственно верный путь. В русском сознании *чувство* описывается как неподвластное человеку начало, он может прилагать великие усилия, но *чувству* не прикажешь, если оно не хочет, то и не уйдет, не покинет своего исстрадавшегося от его присутствия носителя. Описывая именно эту коннотацию, мы можем вспомнить, что по аналогичному сценарию разворачивалась коннотативная картина понятия «*мысль*», что может привести нас к выводу о том, что чувственное и рациональное в русском языке мыслятся принципиально идентично.

Чувство в русском языке связывается также с образом двух стихий — водной и огненной (мы это видели, когда описывали «радость»), однако коннотация «водная стихия» более выражена, ведь мы говорим: *прилив чувств, буря чувств, чувства хлынули, переливаются через край* и пр. Возможно, именно как проявление этой стихийной, часто враждебной человеку мощи и следует трактовать выражения

типа «*чувство охватывает, терзает*», которые домысливаются до конкретного мифологического образа, когда речь идет о конкретных чувствах. Ассоциация *чувства* с водной стихией, а также с часто встречающимся в фольклоре мотивом напитка, который пробуждает те или иные чувства, объясняет или, наоборот, предваряет коннотацию «напиток» (*горькие, сладостные чувства*), которая дорабатывается уже в рамках конкретных чувств (*испить горе до дна, опьяненный радостью* и пр.).

Ассоциацию чувства с ножом (чувство обостряется, притупляется и пр.) мы бы скорее связали с образом амуровой стрелы (*чувство пронзает*), нежели с каким-либо иным образом (например, из вкусового ряда). Нам представляется, что сама по себе сочетаемость слова «*чувство*» в большой степени сложилась под влиянием западной культуры, в которой это понятие само по себе разрабатывалось куда более подробно, и не только в рамках физиологического и христианского (как в русском языке — см. Даля) контекстов. Коннотативная картина современных чувств — безусловно, гибрид исконного представления и образности и наслоений позднейшей «чувственной» культуры западной Европы последних двух веков.

Для русского языка слово *эмоция* является заимствованием из французского. Слово пришло в язык на рубеже XVIII—XIX веков из переводной литературы научного и художественного характера. Симптоматично, что ни Фасмер, ни Даль «не видят» этого слова. О разнице значений этих двух слов мы уже сказали ранее. Что касается сочетаемости, то она у этих двух слов практически идентична.

Во французском языке одному русскому «*чувству*» соположены три (!) эквивалента: помимо *sentiment* и *émotion* во французском языке, традиционно считающихся эквивалентами, соответственно, русских слов «*чувство*» и «*эмоция*», есть еще и слово *sens*, задающее немало хлопот переводчикам. Вспомним известный фильм 1996 года, удостоенный высших кинематографических наград. Назывался он по-английски «Sense and sensibility», что сразу же породило два русских перевода, параллельно существовавших в средствах массовой информации — «Разум и чувство» и «Чувство и чувствительность». Наличие слова *sens*, как мы увидим дальше, продолжает или существует параллельно с понятием *esprit*, отражающим специфически европейское представление о единстве рационального и эмоционального, души и разума. Этот факт заставляет несколько иначе все же интерпретировать столь единодушно признаваемый исследователями западной культуры рационализм, признаваемый также и нами одной

из отличительных черт этой во многом продолжившей античность цивилизации.

Французское слово *sens* (n. m.) зафиксировано впервые в Песне о Роланде (1080 год) (DE), оно произошло от латинского *sensus*, которое в самом общем смысле обозначает способность чувствовать, ощущать, откуда следуют многие из его значений: «восприятие органами чувств», «чувство», в интеллектуальной сфере: «способ видения чего-либо», «способность мыслить, понимать» (вспомним: в главе о мыслительных категориях мы уже указывали на то, что для западноевропейской культуры мышление в первую очередь связано с идеей понимания), а также «мысль», «идея-представление» и в риторике — «фраза, период». Латинское слово образовано от супина глагола *sentire*, означавшего «воспринимать чувствами, понимать разумом». Со времен старофранцузского языка начинается смешение латинизма *sens* и германизма *sens*, обозначавшего «направление». Французское слово *sens* унаследовало полисемию латинского *sensus*, которая была еще дополнена значением германизма. С XII века четко обозначаются три оси значений этого слова. Вокруг первой оси группируются значения «способность судить», «благоразумие, мудрость» и «разум» (см. выражения *bon sens*, *gros bon sens*, *sens commun* и пр.), пополняющие список слов, значения которых ориентированы на рациональное, прагматически ориентированное поведение в социуме. Вокруг второй оси группируются значения, особенно интересующие нас в этой главе (все они также зафиксированы с XII века) — «способность формировать впечатления о внешних предметах и факторах» посредством известных шести человеческих чувств (DAF). С XVII века смысл развивается до обозначения «способности получать удовольствие от этих впечатлений» и соответственно в качестве христианской реакции на подобную психологическую реальность выражения *mortifier ses sens*, предписывающего надлежащий способ действия и еще более расширяющего значение описываемого нами слова. Ярко выраженный для носителя русского языка гибридный характер значения (ум плюс душа) приводит к большим трудностям в понимании выражений, в которых слово *sens* обозначает «способность ощущать ценностную категорию вещей», таких как *sens moral*, *pratique*, *esthétique*, в которых происходит перекрещивание не только двух первых осей, но и третьей, где слово *sens* обозначает (от германского *sinno*) понятие «смысл».

В современном языке слово *sens* сохраняет все три описанных нами значения, что свидетельствует о том, что специфическое с точки зрения носителя русского языка «совмещение несовместимого» в зна-

чении одного слова, не рудимент чуждой этимологии, а именно черта национального менталитета.

Слово *sentiment* (n. m.) также связано с латинским глаголом *sentir*, о котором мы только что писали. Отсюда устаревшее значение этого слова — «сознание» (в выражении *perdre le sentiment* — терять сознание) (DE). Это слово широко распространилось во французском языке с XVI века, первоначально обозначая в кинологии обоняние, нюх охотничьей собаки. С XIII века слово обозначало «способность оценить некую структуру, моральную или эстетическую ценность», явно пересекаясь с только что описанным значением слова *sens*.

Со времен старофранцузского языка слово обозначало долгую аффективную привязанность одного человека к другому, являлось синонимом одновременно и дружбы, и любви. В течение нескольких веков *sentiment* (в орфографии *sentement*) обозначало способность мыслить, после XIV века это значение ушло из языка (DAF). С XVI века слово обозначает мнение, основанное на субъективной оценке, а не на логическом анализе. С конца XV века слово обозначает более или менее ясное представление о чем-либо, способность мгновенно постичь абстрактную идею, сущность, откуда затем развивается в классическую эпоху значение «интуиция». Только с XVII века слово *sentiment* начинает развивать «аффективную сторону» своего значения, давшего «ростки сразу в двух противоположных направлениях: *sentiment*, обозначавшее угрызения совести и затем заменившееся на *ressentiment*, и наоборот — «преданность, рвение». Эти значения, как и значения, распространившиеся в XVII веке, — ярко выраженная эмоциональная реакция на что-либо — ушли из языка. Окончательное размежевание рационального и эмоционального в *sentiment* происходит в XVIII веке, когда аффективная жизнь начинает противопоставляться мысли и действию (DHLF).

В современном языке у этого слова выделяются три основных значения:

1. ощущения, чувствительность;

2. более или менее ясное сознание, познание, знания, включающие аффективный или интуитивный компоненты;

3. сложное аффективное состояние, стабильное и длящееся во времени, связанное с представлениями и образами кого-либо или чего-либо (R1).

Слово *sentiment* имеет во французском языке богатую метафорическую сочетаемость, представляющую это понятие как некоторый переосмысленный концепт.

Сочетаемость эта такова:

un sentiment naît, grandit, s'épanouit, se dessèche comme une plante;

un sentiment pur, bon, délicat, vif, profond, aigu, vil, distingué;

apporter un sentiment à qn;

avoir qn au sentiment;

eprouver, ressentir, manifester, vouer, professer, partager, heurter, blesser, cacher, dissimuler, montrer, afficher, combler un sentiment;

entrer dans les sentiments de qn;

autant de têtes, autant de sentiments;

etre pénétré, prive, être animé d'un certain sentiment (TLF, DS, R1, DMI, NDS, DGLF, GLLF, ФРФС).

Из приведенной сочетаемости мы видим, что у французского *sentiment* несколько коннотаций:

1. Растение, а не дикий зверь или стихия, как это прочитывалось в сочетаемости русского слова. Французское персонифицированное «чувство» наделено жизнью, но «жизнью нежной», а не агрессивной. Метафора, связанная с растением, имеет несколько существенных в данном случае аспектов: растение питается водой, основной субстанцией жизни, с растением связан годичный цикл возобновления жизни, именно растения, цветы сопровождают человека в момент рождения, брака и смерти. Ритуально цветы и чувства ассоциированы во многих культурах, однако именно в западноевропейской культуре происходит очевидный перенос качеств с реального объекта на вымышленный (вспомним о коннотациях русского *чувства*, рисующего его нам, в частности, в образе стихии, мифологического чудовища, терзающего человека). Более того, цветы всегда рассматривались как источник запаха, аромата (ср. духи, благовонья), издревле возбуждавших различные чувства.

Таким образом, мы считаем, что такая коннотация глубочайшим образом мотивирована (в частности, этимологически *sentire*, как и современное *sentir*, не только «чувствовать», но и «пахнуть», «нюхать»). Возможно, именно эта коннотация просматривается и в выражениях типа *apporter un sentiment à qn*, где понятие мыслится скорее опредмеченно, нежели одушевленно. Этот же образ стоит за выражением *être sec, avoir le cœur sec envers qn, qch*, что означает «быть сухим, иметь сухое сердце», то есть такое, которое не даст влаги, необходимой для роста чувств, сочувствия. В этом смысле «сухость» более широко употребляется и обладает большим коннотативным смыслом, чем русская «черствость». Очевидно, что в ряде контекстов *sentiment* рассматривается как некая неотъемлемая часть человека, как его своео-

бразный крайне уязвимый орган, возможно даже интимный, который можно ранить, прятать и показывать, даже выставлять на показ. Существуют и более однозначно опредмеченные образы sentiment, проявляющиеся в выражении partager les sentiments de qn и пр., которые доразвиваются, когда речь идет о конкретных чувствах. Выражение «сколько голов, столько и чувств» лишний раз подчеркивает различие, о котором мы уже столько говорили: в русском языке голова связана исключительно с рациональной деятельностью человека, во французском и с эмоциональной тоже.

2. Вода (архетипический образ всего, что связано с эмоциями)/

Французское слово и понятия *émotion* (n. f.) произошло от глагола *emouvoir*, связанного с среднефранцузским *motion* — движение, заимствованного из латыни в XIII веке (лат. *motio* — «движение», «тревога», «скачок температуры тела» (DAF)). Сначала это слово обозначало состояние моральной угнетенности или тревожности, затем зафиксировано в значении «движение», откуда с начала XVI века особое значение — «смута, мятеж». В классическую эпоху это слово обозначало также физическое недомогание и психические расстройства любовного происхождения (DHLF). В современном языке выделяются два значения этого слова: движение, волнение толпы, которое может привести к беспорядкам, и аффективная реакция, обычно интенсивная, проявляющаяся в различных вегетативных реакциях (бледность или румянец, учащение пульса, дрожь, физическое недомогание, невозможность двигаться или моторное перевозбуждение). В современном языке слово *émotion* формально-содержательно утратило свою негативную окраску, однако из приведенного только что перечисления симптомов эмоций видно, что значение слова развивалось в заданном русле, что доказывается также и современной сочетаемостью этого слова, часто представляющего его как некую разновидность болезни.

Французская сочетаемость этого слова такова:
emotion étouffe, paralyse;
etre en proie à une émotion;
emotion s'empare, étreint etc. (Dictionnaire des mots et des idées указывает на совпадение сочетаемости *émotion* и *émoi*) (TLF, R1, DMI).

Таким образом, мы видим, что *emotion* во французском языке на уровне сочетаемости описывается, независимо от словарного определения, как эмоция отрицательная, близкая к смятению и страху, к описанию которых мы приступаем. То есть она напоминает спрута, лет и так далее (см. следующую главу).

Подытожим и расширим наши толкования представления об эмоции и чувстве в двух сопоставляемых культурах.

В русском языке понятие «*эмоция*» у́же понятия «*чувство*». *Чувство* предполагает не только реакцию человека на ситуацию, в которой он находится, но более сложный разворачивающийся во времени процесс, включающий в себя и осознание, и переживание, и воображение, и знания. *Эмоция* же — это неконтролируемая реакция, осуществляющаяся «здесь и теперь». Когда чьи-либо чувства мы называем эмоциями («простыми эмоциями»), мы принижаем качество переживания, даем им пейоративную оценку.

Чувство — понятие исконно русское, связанное этимологически с глаголом «*слышать*». За *чувством* закреплена аура духовности, чего никак нельзя сказать об «*эмоции*», слове, заимствованном в конце XIX века из французского языка через художественные или научные тексты.

В современном русском языке *чувство* персонифицируется, мыслится как порождение человеческой души, *чувству* приписываются свойственные живому существу процессы и циклы (рождение, рост, смерть). С *чувством* и обращаются как с живым существом (лелеют, убивают, оно умирает, угасает, как и сам человек). Иначе говоря, представление о *чувстве* в русском языковом сознании сопряжено с представлением о внутренней жизни человека, трактуемой именно как жизнь его чувств, где отношения человека и его чувства строятся по модели межличностных отношений. У русского «*чувства*» есть также и общие прототипические коннотации, включающие сопровождающие его образы в более широкий, по меньшей мере общеевропейский контекст (*чувство* ассоциируется с водой и огнем).

Явные отличия французской картины мира в этой сфере фокусируются в наличии третьего понятия, обозначающего одновременно и разум, и чувство — *sens*, продолжающего линию *esprit*. Мы уже говорили о том, что если в русском языковом сознании рациональное и эмоциональное последовательно противопоставляются, то во французском такое противопоставление существует весьма условно. Французское *sentiment*, связанное этимологически с идеей обоняния, также на протяжении истории своего развития совмещало в своем значении «рациональное» и «эмоциональное» (до XIII века слово обозначало «способность мыслить» ср. пословица, существующая до сих пор, — *autant de têtes, autant de sentiments*). Основной коннотативный образ, сопровождающий это понятие, приоткрывает для нас его специфику: *sentiment* — это одушевленное растение, но не стихия, не дикий зверь,

как в русском языке. Французское чувство наделено жизнью «нежной», но не агрессивной.

Коннотативная связь с растением, помимо уже известных нам культурологических ассоциаций, объясняется также и этимологически, через идею запаха, который источают цветы и который будоражит чувства (очевидно, что цветы передают чувства от одного человека к другому, сопровождая самые важные моменты в жизни человека: рождение, свадьбу, успех, смерть). Связь запаха и чувства однозначно находится в основе идеологии запаха, давшей бурный толчок для развития парфюмерной промышленности во Франции. У этого слова обнаруживаются также и другие специфические коннотативные образы, которые дают лишь фрагменты некоторой мировоззренческой картины, но не ее целиком. Понятие *emotion* до сих пор в ряде контекстов фигурирует с отрицательной коннотацией. *Émotion* (n. f.), этимологически связанное с волнением, определяется либо как чувство, овладевающее толпой, либо как чувство, сопровождающееся вегетативной реакцией человека (скорее отрицательное).

Сохраняя преданность своей этимологии, *émotion* коннотируется как болезнь, что в целом очень характерно для всего описываемого нами ряда французских базовых эмоций.

Итак, мы увидели: что во французском языке сохраняется представление о единстве рационального и эмоционального начала (линия, по нашему мнению, идущая от Аристотеля), что центральная коннотация *sentiment* — цветок, и это в свою очередь обладает большой объяснительной силой для трактовки более широких культурных явлений; что *émotion* — это скорее волнение, нежели чувство. Применительно к русскому языковому сознанию мы видели, что чувство одухотворяется, отделяется от рационального, персонифицируется и взаимодействует с человеком как самостоятельное агрессивное существо или стихия, которая яростна по самой сути своей.

Обобщим наши наблюдения.

Представления французов и русских о чувстве и эмоции:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Источник	Слышать, обонять	Восприятие через чувства, обоняние, движение, скачок температуры
Актуальные связи	Душа, ум	Esprit, âme, coeur

Образ	Стрела (нож), море, душа, огонь	Растение, спрут, болезнь
Членение ситуации	2 термина, 1 исконный (чувство), заимствованный (эмоция)	3 термина: 1 эмоционально-рациональное чувство (sens), 2 чувство толпы, чувство-болезнь (emotion), 3. чувство-суждение (sentiment)
Человек	Пассивен	Активен и пассивен
Влияние	Славянское	Античное, французское

Библиография

1. *Вежбицкая А.* Язык, культура, познание. М., 1996. С. 343.
2. *Oatley K.* Best Laid Schemes: the Psycology of Emotions. Cambridge, 1992.
3. *Апресян В. Ю.* Эмоции: современные американские исследования // Семиотика и информатика. Вып. 34. М., 1994. С. 83.
4. *Ekman P.* Expression and the Nature of Emotion // Approaches to Emotion. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1984.
5. *Рубинштейн Л. С.* Основы общей психологии. М., 1946.
6. *Апресян Ю. Д.* Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. 2. М., 1995. С. 453—465.
7. *Вергилий.* Энеида. 1-я кн., ст. 294 и далее. М., 1971. С. 130.
8. *Овидий.* Метаморфозы. 1-я кн., ст. 179. Л., 1937.
9. *Какабадзе З. М.* Проблема «экзистенциального кризиса» и трансцендентальная феноменология Эдмунда Гуссерля. Тбилиси, 1996.
10. *Gignoux V.* La philisophie existentielle. Paris, 1955.
11. *Бердяев Н. А.* О рабстве и свободе человека. Париж, 1972.
12. *Wiezbicka A.* Semantic Primitives. Frankfurt, 1972.
13. *Иорданская Л. Н.* Попытка лексикографического толкования русских слов со значением чувства // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1970. Вып. 13.
14. *Плунгян В. А.* К описанию африканской «наивной картины мира» // Логический анализ языка. Культурные концепты. 1991. С. 156.
15. *Barthes R.* Fragments d'un discours amoureux. Paris, 1975.

Глава тринадцатая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ О СТРАХЕ

Слово «*страх*», зафиксированное в древнерусском и старославянском языке с XI века, не имеет явной этимологии (ЭСРЯ). Не имеет оно и явных соответствий в других индоевропейских неславянских языках. Возможно, оно связано со словом «*строгий*» (ИЭССРЯ), что представляется достаточно мотивированным и с точки зрения экстралингвистичесих факторов: «*страшение*» — один из способов воспитания повиновения — качества, культивируемого как в детях, так и у гражданских лиц. Однако представляется любопытным тот факт, что устрашение скорее связано с наказанием, а не с пробуждением в человеке (ребенке) экзистенциального страха перед потусторонней силой, будь то смерть или дьявол, или проявление неконтролируемого животного начала в человеке. На эту мысль нас навел беглый анализ русских сказок, в большинстве которых главный герой (Иванушка-дурачок или Иван-царевич) не отмечен страхом или трепетом перед мифологическим злодеем (часто даже зооморфным — Змей Горыныч, Соловей Разбойник и пр.), а по глупости своей «прет напролом» и именно через глупость, а не через добро побеждает «исчадье ада». Отметим точку зрения Д. С. Лихачева, рассматривавшего глупость в контексте исследования русской доброты (1). Такой особый вид бесстрашия представляется нам в большой степени характерным для русского сознания, зачастую приводящего человека к «глупой» гибели, но также к подвигу и бесстрашию в бою, что делало русских на протяжении многих последних веков безусловно сильными противниками в войнах, сумевшими победить Наполеона и выиграть Вторую мировую войну. Очевидно, что это не единственная причина одержанных побед. Но если посмотреть на русский *страх* шире, связать его с

природным фатализмом («чему быть, того не миновать»), отсутствием привычки подвергать события и обстоятельства окончательному анализу, а также отсутствием массового фобического невроза, происходящего от удивительной стабильности жизненного уклада (у феодализма и социализма немало общего, не так ли?), то становится понятно, что подсознательное отношение русских к страху как к чему-то крайне индивидуальному и мало достойному — действительно глубоко специфическая черта этого типа мировоззрения. Привычное для нас суждение, что страх — это слабость, как мы увидим далее, разделяется далеко не всеми народами.

Уточним: русским всегда был свойственен страх наказания, происходящего от грозного царя, родителя или самодура-начальника, над которыми в народе всегда смеялись. Однако источник этого страха был всегда конкретный и осознанный (также и в случае грозы, засухи или наводнения), то есть не создавал основы для невроза. Исключение — период сталинского террора, но это тема — особая. В западной же культуре картина была принципиально иная: сказки типа Мальчика-с-Пальчика или Синей Бороды (Шарля Перо) создавали благодатную почву для невроза, живописные полотна, щедро изображавшие «страсти» разного рода, всевозможные истязания человеческой плоти (и в том, и в другом случае можно говорить об определяющей роли католицизма, материализовавшего проявления нечистой силы посредством разных изобразительных средств), костры инквизиции и постоянная конкуренция, обеспечивающая взлеты и падения, — все это привело к созданию «тревожного» типа психического склада не только в рамках отдельных личностей, но и нации в целом. Вот отчего мы часто сталкиваемся с характеристикой, в частности, представителей французской нации как «*angoisses*», вот отчего психоанализ и психоаналитики столь востребованы обществом, вот отчего, возможно, и произошло столь бурное развитие рационализма — как гиперкоррекции страха, как способа упорядочивания жизни и обуздания многоликой тревожности. Впрочем, это только лишь гипотеза, которую можно развивать или опровергать, однако отсутствие тревожного невроза у русских, интересно дополняющего также и картину русской безответственности, кажется любопытным штрихом, дополняющим представление о пресловутой русской душе.

Связь страха с непосредственным действием, а не с экзистенциальным неврозом, очевидна также и в определении Даля: страх — это страсть (см. особое значения страсти во множественном числе в соответствующих толковых словарях), боязнь, робость, сильное опасение,

тревожное состояние души от испуга, от грозящего или воображаемого действия (ТС). Отсюда же и перенесение этого слова на сам предмет, вызывающий страх (значение, отмеченное у Даля), и обозначение при помощи этого же слова (также см. у Даля) угрозы или острастки, а также покорства устрашенного.

В современном отрефлексированном языкознанием понимании страха (но, возможно, не в самом языке) присутствуют такие элементы толкования этого слова и его синонимического ряда: «чувство или состояние человека, при котором ему неприятно; такое чувство бывает, когда, ощущая опасность, человек также ощущает, что теряет нормальный контроль над ситуацией» (НОСС) или «страх — это неприятное чувство, подобное ощущению, которое бывает при холоде; он возникает, когда человек (или другое живое существо) воспринимает объект, который он оценивает или ощущает как опасный для себя и в контакт с которым он не хотел бы входить» (2). Отметим лишь в этих определениях материальность трактовки и отсутствие в них какого-либо намека на возможность существования невротического или экзистенциального страха.

Обратимся к уже многократно цитировавшемуся «Новому объяснительному словарю синонимов» и подчеркнем важные для нас наблюдения: синоним «*страх*» — наиболее общее слово (для всего ряда, который выглядит так: *страх*, *боязнь*, *испуг*, *ужас*, *паника*. — *М. Г.*); *испуг* и *боязнь* — чувства, *паника* — состояние; *боязнь* и *ужас* может испытывать только человек, *страх* — любое живое существо; страх может вызываться как непосредственной опасностью, так и предположением человека о будущем ущербе, причина испуга — внезапное ощущение опасности, вызванное чем-то незначительным, но неожиданным и конкретным, ужас возникает, когда человек сталкивается с чем-то чудовищным или предполагает нечто чудовищное; *страх* возникает как спонтанно, так и осознанно, *испуг* всегда возникает спонтанно; *страх* можно сдерживать и даже подавлять, а *панику* (как и *испуг*. — *М. Г.*) — нельзя ни сдерживать, ни подавлять; *страх* может быть чувством любой интенсивности, глубины и длительности, *испуг* — кратковременное чувство, *ужас* — максимально глубокое и интенсивное переживание, которое в силу этого не может быть слишком длительным (НОСС).

В русском языке существуют два глобальных метафорических образа *страха* — первый из них приравнивает страх к холоду и описывает реакцию души на страх как реакцию тела на холод (3). В данном случае, исходя из универсальности этой эмоции, мы можем предпо-

ложить существенную общность описаний такого рода в различных языках, поскольку именно такова непосредственная реакция человека на страх.

По-русски это звучит так:

белеть, бледнеть от страха, дрожать, трястись от страха, цепенеть, застывать от страха, онеметь от страха;

страх леденит кровь;

кровь стынет в жилах от страха;

холодеть от страха, он съежился от страха и пр.

Второй метафорический ряд отражает концептуализацию страха говорящим. Впервые такого рода концептуацизация страха была описана в уже цитировавшейся работе В. А. Успенского: «Страх нападает на человека, охватывает его, душит, парализует; однако человек может бороться со страхом и даже победить его. Таким образом, страх можно мыслить в виде некоего враждебного существа, подобного гигантскому членистоногому или спруту, снабженному жалом с парализующим веществом. Впрочем, это существо может быть не только большим и сильным, но и маленьким и слабым. Привлечение дальнейших текстов приводит к более развитому представлению.

Так, мы обнаруживаем выражения «*в нем проснулся страх*», «*он победил в себе страх*», приводящие к заключению, что *страх* — по крайней мере в отдельные моменты времени — помещается внутри человека. Можно представить себе такое положение вещей. Страх изначально находится внутри человека, однако в состоянии анабиоза. В какой-то момент он пробуждается (просыпается), растет, и, наконец, нападает на своего хозяина — возможно, все еще оставаясь внутри» (3). Очевидно, что в этом описании учтена не вся метафорическая сочетаемость, дополняющая существенные аспекты к приведенному образу: страх заползает в душу, снедает ее, пронзает. От страха можно также и окаменеть.

Итак, у русского *страха* мы видим следующие сочетания:

1. холод, лед;

2. змея, спрут, располагающиеся как снаружи, так и внутри человека.

Если учесть прототипический образ Горгонии (девицы Горгонии — девы, по средневековым славянским легендам, с волосами из змей, модификации античной медузы Горгоны), то преемственность вещественной коннотации по отношению к нему очевидна. Лик Горгонии смертоносен, она знает языки всех живых существ. Волшебник (волхв), которому удается с помощью обмана обезглавить Горгонию и

овладеть ее головой, получает чудесное средство, дающее ему победу над любыми врагами. Другая трансформация образа Горгонии в славянских апокрифах — «зверь Горгоний», охраняющий рай от людей после грехопадения. Согласно одной из легенд, змеи на челе и груди новорожденного Каина побудили Адама написать дьяволу, обещавшему исцелить его сына, рукописание, предавшее во власть сатаны весь род человеческий. Иконография головы Горгоны — характерная черта популярных византийских и древнерусских «змеевиков», где она является изображением болезнетворного демона.

Приведенное описание позволяет прежде всего установить общие мифологические корни славянского и романского представления о страхе.

Боязнь — это несильный страх, длящийся во времени. Иначе говоря, *боязнь* — и эмоция, и состояние одновременно. Как правило, человек четко осознает причину боязни, то есть боязнь предполагает анализ ситуации и дает возможность избегать ситуаций, в которых человек может пострадать. Боязнь в таком случае сближается с опасением. Боязнь — чувство контролируемое, что, с нашей точки зрения, связано также и с наличием соответствующего глагола «*бояться*», трактующего действие и соответствующее состояние как действие и результат действия самого субъекта, чего мы никак не можем сказать о слове «*страх*» (глагол «*страшиться*» вышел из употребления). Представление об этом слове скорее складывается из отрицательной, нежели из положительной его сочетаемости (НОСС), что объясняется в первую очередь его нечастотным употреблением в современном языке.

Слово «*испуг*», обозначающее сильный внезапный страх, вызванный конкретной причиной, связывается этимологами с криком совы, филина (пуг-пуг), а также и со старым названием самой этой птицы — «пугач» (ЭСРЯ). Этимология в данном случае полностью мотивирует особенности значения этого синонима. У этого слова, как и у предыдущего, не обнаруживается сочетаемости, позволяющей нам провести реконструкцию какой-либо коннотации, видимо, в первую очередь потому, что образное ядро сосредоточено вокруг центрального понятия этого ряда.

Ужас, понимаемый как сильный страх, испуг, приводящий в состояние оцепенения, подавленности, сильной тревоги, изумления, негодования — в этимологическом отношении трудное слово. Можно сказать лишь, что в XI веке это слово обозначало страх, трепет, отчаяние, исступление (ЭСРЯ). Даль определяет ужас как сильный страх,

происходящий от боязни или от исступления (ТС), и мы, таким образом, можем видеть связь базовой эмоции страха-ужаса с другими не рассматриваемыми нами эмоциями, такими, как изумление и отвращение, также непременно связанными с непроизвольным мимическим сопровождением у человека любого возраста. НОСС определяет ужас как чувство, близкое к страху, но отличающееся от него в первую очередь причиной и, как следствие этого, интенсивностью. Человек испытывает ужас, когда сталкивается с чем-то, что выходит за пределы его понимания и перед чем он испытывает полнейшее бессилие. *Ужас* — максимально интенсивное чувство, не совместимое ни с какими другими переживаниями и полностью формирующее состояние души. Длительность этого чувства в силу его интенсивности ограничена во времени. Ужас граничит с безумием (НОСС).

Слово «*ужас*» в русском языке имеет следующую сочетаемость:

безотчетный, *панический*, *смертельный*, *животный*, *леденящий*, *цепенящий ужас*;

приводить, *повергать кого-либо в ужас*;

быть в ужасе;

дрожать от ужаса, *съежиться*, *похолодеть*, *оцепенеть от ужаса*;

ужас охватил кого-либо, *сковал*;

ужас объял кого-либо;

от ужаса волосы вздыбливаются и пр. (СССРЯ, РМР, ССРЯ, СРЯ, СРС).

Из приведенной сочетаемости мы видим, что образ, стоящий за этим понятием, производный от образа страха (парализующий холод) с одним отличием: ужас, с нашей точки зрения, ассоциируется с неким «статическим», «готовым» состоянием, в которое приходит человек. Мы могли бы сравнить это состояние с состоянием человека, ужаленного змеей и внезапно осознавшего свою печальную перспективу. Мы могли бы также предположить, понимая всю хрупкость этого предположения, что существует некая образная связь между ужасом и жалом. Отчасти связь ужаса со змеей косвенно подтверждается и понятием «*отвращение*», промелькнувшим в определении у Даля, поскольку именно хтонические гады вызывают в человеке одновременно и отвращение, и ужас.

«*Паника*» находится явным образом на периферии этого ряда.

Это слово заимствовано из французского в начале XIX века и описывает скорее поведение человека или толпы, вызываемое сильным страхом. Таким образом, паника — это тип поведения, а базовая эмоция, вызывающая это поведение, — страх, была нами описана ранее.

Итак, в заключение описания этого ряда, отметим следующее.

1. На содержательном уровне в русском языке описаны: базовая эмоция — *страх*, длящееся несильное чувство — *боязнь*, сильное или слабое кратковременное чувство, вызванное внешней конкретной причиной, — *испуг* и очень сильное чувство, граничащее с безумием, — *ужас*. Поведение человека, испытывающего эти эмоции, описывается при помощи двух слов — «*паника*» и «*ступор*», связанные также и с состоянием сильного удивления.

2. На образном уровне мы отмечаем две основные коннотации, сопровождающие этот ряд — холод (лед) и змея.

Посмотрим теперь на французские понятия.

Французское *peur* (n. f.) посредством различных промежуточных форм произошло от латинского *pavorem* — аккузатива от *pavor* (DE). Это слово в свою очередь обозначало «ужас, страх», затем, по ослаблению интенсивности, «боязнь или волнение, заставляющие потерять хладнокровие». Это же имя носило некое божество, о котором известно немного и которое упоминается у Тита Ливия. *Pavor* образовано от *pavere* «быть охваченным ужасом» и, по ослаблению, — «бояться». Первоначальный смысл, вероятно, — «быть ударенным», ибо «е» долгое указывает на состояние, связанное с глаголом *pavire* «бить землю, чтобы утрамбовать ее» (отсюда ср. *pavé*, *pavement*), но тем не менее этимология этого глагола не представляется ясной (DHLF).

Слово *peur* стало общим словом, обозначающим эмоцию, которая сопровождает осознание опасности и варьируется по интенсивности в зависимости от «контекста». *Peur* обычно слабее, чем *frayeur* или *effroi*. Это слово зафиксировано в X веке (DE). С тех пор его значение не претерпело изменений.

У Чезаре Рипо находим такой аллегорический портрет страха:

«Это женщина с маленьким и сморщенным лицом. Физиономисты утверждают, что маленькое лицо свидетельствует о малодушии. Она изображается бегущей с поднятыми руками, очевидно, что ее гонит страх, от которого волосы у нее вздыблены на голове. За плечами ее виднеется чудовище, именно оно вызывает страх или ужас, или испуг, — все эти чувства, между которыми больше или меньше разницы» (I).

В современном языке слово *peur* имеет сочетаемость практически идентичную той, что имеет слово «*страх*» в русском языке, что понятно, ибо, как мы уже установили, мифологические истоки этих двух понятий принципиально едины.

Единственное отличие, которое все же может быть отмечено, это предпочтительно внешняя локализация *peur* и ассоциация его не со

змеей/спрутом — центральным прототипическим образом страха русского, — а с иным мифологическим животным более крупных размеров, наделенным зубами и пастью, а не жалом и гибким телом, что видно из следующих примеров: *être bouleversé par la peur*, *être en proie à la peur*, *être inaccessible à la peur*; *la peur met des ailes aux talons*, *cloue les pieds*, *les entrave*; *la peur prend*, *gagne*, *saisit*, *frappe*, *ronge*, *dévore*, *consume*; *la peur peut être atroce* (TLF, R1, ФРФС).

За этой образной сочетаемостью проглядывает крупное умное и хищное животное, реальное или мифическое: медведь или циклоп.

Мы можем говорить о специфичности французского *peur* не только в связи с несколько иным образным сопровождением этой базовой эмоции, но и с особой направленностью его в качестве эмоции «окультуренной» и прибегнем для этого к двум цитатам, точно формулирующим эту специфичность: «Notre faiblesse principale à nous les Francais: la peur de s'emballer, la peur d'être dupe, la peur de prendre les choses au serieux, la peur du ridicule» (Romains) или «Tous les hommes ont peur. Tous. Celui qui n'a pas peur n'est pas normal. Ça n'a rien à avoir avec le courage» (Sartre) (R1).

Французское слово и понятие *effroi* (n. m.), обозначающее страх большой интенсивности и обычно переводящееся на русский язык как «сильный быстро проходящий страх» — отглагольное существительное, происшедшее от глагола *effrayer*, в свою очередь связанного с народнолатинским **exfridare*, обозначавшего «нарушать мир, покой» (DE). Слово это распространилось во французском языке с XIII века (DAF). Сочетаемость этого слова также принципиально совпадает с сочетаемостью слова *peur* и соответствующей сочетаемостью русского слова.

Слово и понятие *frayeur* (n. f.) произошло от латинского fragorem, аккузатива от *fragor* «сильный шум, грохот» и первоначально во французском языке сохранило «материнский смысл» (DE). С XII века это слово обозначает сильный, часто быстропроходящий страх, вызванный реальной или воображаемой опасностью (DAF). Это слово, как и предыдущее, относится к возвышенному стилю речи. Le Petit Robert отмечает, что обычно причина такого страха мало обоснованна. Сочетаемость этого слова также не позволяет нам говорить о какой-либо специфичности в его образной структуре (*causer*, *inspirer*, *engendrer*, *témoigner de la frayeur*; *être pris*, *saisi*, *glacé*, *paralysé*, *transi de frayeur*, *revenir de sa frayeur*, *la frayeur prend*, *saisit*, *paralyse*, *s'empare de*; *une frayeur folle*, *morbide*, *grande*, *invicible*, *insurmontable*, *immense etc.*) (R1, DMI). Мы по-прежнему наблюдаем картину «за-

хвата человека» извне, идентичную той, что описывается у базового термина *peur*.

Epouvante (n. f) проделало во французском языке тот же путь, что и глагол *épouvanter*, который произошел от позднелатинского **expaventare*, образованного от *expavens* — причастия настоящего времени классически латинского *expavere* — «бояться» (DE). Соответствующее существительное зафиксировано с XVI века. Оно обозначало «беспокойство, сильное удивление», затем, веком позже, утвердилось его современное значение — «сильный и внезапный страх, вызванный чем-либо необычным, угрожающим». Особенность значения этого слова, чаще всего переводящегося на русский язык как «ужас», в том, что обычно это чувство вызывается не человеком. Слово это также литературно, и сочетаемость его воспроизводит уже описанный стереотипический сценарий. Приводимый Чезаре Рипо аллегорический образ помогает понять, почему именно это слово при очевидном обилии синонимов участвует в характеристике жанра произведений (фильм ужаса, роман ужаса — *film d'epouvante*), нацеленных на провоцирование у читателя (зрителя) именно этой эмоции.

У Чезаре Рипо читаем:

«Уродливый мужчина, вооруженный до зубов, в правой руке меч, которым он угрожает, в левой — голова Медузы, рядом с ним находится злой страшный лев. Он выглядит именно так, потому что должен символизировать угрозу и вызывать ужас. Он держит голову Медузы, уподобляясь Персею, лев, стоящий рядом, символизирует ужас, потому что, как утверждают египтяне, одного взгляда на него достаточно, чтобы испытать это чувство» (I).

Французское слово и понятие *angoisse* (n. f.), неизменно выступающее в ряду синонимов *peur*, является в прямом смысле находкой для исследователя, изучающего лексические единицы, выражающие идею страха во французском языке. Прежде всего потому, что это слово не имеет точного русского эквивалента.

Это слово, как и итальянское *angoscia*, произошло от латинского *angustia*, развившегося из *angustus* — «узкий, сжатый» (ср. *angere* — «сжимать»). В латинском языке оно (*angustia*) первоначально обозначало «узкое место, сжатость», затем во множественном числе — «стеснение, неловкость» (DHLF).

Отметим связь русского «*стеснения*» и латинского, а затем романского соответствующего слова, однозначно свидетельствующего о заимствованном характере русского слова, в котором заложена и продолжает существовать и античная метафора.

В старофранцузском языке *angoisse* обозначает — помимо смысла, зафиксированного в христианских текстах и близкого к сегодняшнему, о котором речь пойдет чуть дальше, — «узкий проход» (XII—XVI век) и «затруднительное положение, помеху, стеснение» (XI—XIII век), а также «страшный гнев» (XI век) (DAF). В современном языке после полного его исчезновения в XVII веке употребляется для обозначения физического недомогания (смысл, зафиксированный со времен Кретьена де Труа, вышедший из употребления в XIII веке и вернувшийся в активный язык в XVIII веке), подавленности и удрученного состояния духа. В первом значении слово употребляется для обозначения боли, во втором и третьем — состояния, содержащего в себе два главных компонента — страх и тревогу. Этим словом в современном языке обозначается столь сильное чувство, что его стали использовать наркоманы для обозначения страха перед абстиненцией. Мы также уже упоминали об экзистенциальном страхе, понятии, которое развилось после переводов произведений Кьеркегора на французский язык. Любопытно отметить почти что медицинскую точность описания этого чувства в словаре Le Robert: «*Angoisse* — это физическое и психическое расстройство, связанное с осознанием опасности, характеризующееся диффузным страхом, который может колебаться от волнения до паники и может сопровождаться спазмом пищевода, желудка или горла» (R1).

Возникновение этой специфической «французской» эмоции, основанной на представлении страха и некоторых других отрицательных эмоций как своего рода сжатии (то же мы находим и в *anxiété*, не имеющем также русского аналога, и в *détresse*, восходящем к *étroitesse*) (DHLF), может быть объяснено двояко: мы не можем связывать это с классическими описанными в толковании психиатрическими симптомами страха (спазм горла и желудка), поскольку такие симптомы универсальны, но можем вспомнить о специфических европейских средневековых пытках типа испанского сапожка, неизвестного в России, о предельной узости камер, в которых содержались пленные узники. Мы можем вспомнить также о ранних навигационных экспедициях, об экспедициях, описанных, к примеру, у Гомера, когда узость прохода или смыкающиеся скалы означали неминуемую гибель для корабля. В пользу во всяком случае первой версии свидетельствует частое употребление со словом *angoisse* глагола *torturer* и эпитетов *insupportable*, *horrible etc.* Сочетаемость этого слова скудна и не дает нам возможность сделать полноценную реконструкцию какой-либо коннотации, однако контексты типа *l'angoisse étreignait*,

serrait son cœur позволяют нам слабо предположить, что *angoisse* все же мыслится как гигантские одушевленные тиски, мучающие свою жертву именно описанным выше способом (ср. в русском языке возможность описания страха тоже через «сжатие в тисках страха» — явно заимствованное).

Итак, мы будем считать, что у этого слова выделяется такая вещественная коннотация: тиски.

Французское *crainte* (n. f.) прошло тот же этимологический путь, что и глагол *craindre*. Этот глагол произошел от латинского *tremere* (путем пересечения народнолатинского **cremere* и галльского слова с корнем **crit-*) — «дрожать», «дрожать от страха», «бояться». Французский глагол зафиксирован с XI века в религиозных текстах, где он означал «священно трепетать» (DE, DAF). До XVI века происходит ослабление смысла до «быть чувствительным к какому-либо действию, не переносить что-либо», затем этот глагол и соответствующее существительное стали обозначать обеспокоенность, несильный страх, боязнь. Последние два русских переводных эквивалента возникают скорее не из определения в Le Robert, а из контекстов, которые также позволяют нам увидеть некоторую особенную образную коннотацию, закрепившуюся за этим понятием. Как и любое чувство, *craindre* можно *inspirer*, *provoquer*, *causer*, *susciter*, *engendrer*, однако именно *crainte*, но никак не *peur* можно *concevoir*, *éveiller*, *apaiser*, *calmer*. Иначе говоря, мы видим, что *crainte* — это маленький страх, о котором и говорят как о ребенке, живом существе, который, вырастая, превращается в полноценный *peur*, который и *ronge*, и *dévore*, и *consume*. У французского *crainte* есть также коннотация «растение», его можно *jeter* и *semer*, он ассоциируется также с туманом, пеленой, застилает глаза, поэтому его можно *dissiper*. Качественное, смысловое отличие *crainte* от *peur* выражается также в эпитетах, которые применимы только к первому понятию, но никак не ко второму. Мы можем сказать: *une crainte vaine*, *illusoire*, но, видимо, не можем сказать этого же о *peur*.

Французское *terreur* (n. f.), обычно переводимое на русский язык как *ужас*, *страх* (для обозначения эмоции), было зафиксировано во французском языке в XIV веке и произошло от классического латинского *terror* «ужас, страх». Это слово, как и *terribilis* (*-teribilis*), произошло от *terrere* «ужасать, пугать», а также «обращать в бегство», «принуждать сделать что-либо путем устрашения». Этот глагол не был усвоен романскими языками (DE, DAF).

Terreur, как и его латинский аналог, обозначал интенсивное чувство страха, откуда в XVII веке — выражение *terreur panique*, обозна-

чающее как чувство, так и то, что его вызывает (ср. по-русски в этом значении, если мы говорим о человеке, то употребляем слово «*гроза*»: *la terreur des coupables* — о строгом судье, по-русски — *гроза преступников*) (DHLF).

С 1789 года слово обозначает совокупность мер политического принуждения, поддерживающих оппозиционеров в состоянии страха. Напомним, что *La Terreur* — название режима, установившегося во Франции между сентябрем 1793 и июлем 1794 годов. Уходя из политической сферы в чисто эмоциональную, обратимся к аллегорическому изображению этого чувства, представленному у Манжеара:

«Мужчина с головой льва, одетый в переливчатую одежду, держит в руках бич. Так как у него львиная голова, он устрашает того, кто на него смотрит. Бич указывает на то, что страх калечит душу и ведет ее своим путем, а переливчатый цвет одежд обозначает переменчивость страстей, перед которыми склоняется человеческая душа».

Львиная голова была также изображена на щите Агамемнона.

Часто это чувство изображают как бегущую женщину, отрубленный вид головы которой нагоняет на людей ужас» (Cd).

Отметим предрасположенность появления у этого слова второго значения — террор, недвусмысленно обозначенную у Манжеара.

В современном языке вычленяются два значения этого слова: «предельный панический страх» и, с 1789 года, «коллективный страх чего-либо, внушаемый населению», политическое средство, основанное на устрашении, режим (террор) (R1).

Сочетаемость этого слова, а следовательно, и его коннотации вплотную прилегают к уже описанным нами образам, однако интересные особенности обнаруживаются на содержательном уровне: мы предполагаем, что *terreur* в качестве своего источника может иметь только человека или группу лиц (или одушевленных мифологических чудовищ), что непременно связано с намерением вызвать страх. Например, ни вулкан, ни зрелище не могут по-французски вызвать *terreur*. Особенный акцент на злонамеренности ставит наиболее частотный в употреблении с этим словом глагол *répandre* (как и *semer*), подчеркивающий намерение агенса вызывать в пациенсе именно это чувство.

Horreur (n. f.) — ужас, заимствование (XII век) из латинского, *horror* — «вздыбливание, дрожь», «дрожь от страха», затем «священный трепет» (DE). Первые зафиксированные употребления этого слова во французском языке — «характер того, что внушает чувство страха, отвращения», смысл, использованный в выражении *faire horreur à*. С

XIII века *horreur* обозначает «крайне неблагоприятное чувство, которое вызывает что-либо». Далее слово обозначает (*une, des horreurs*) то, что вызывает чувство ужаса по отношению к человеку (сегодня значение устарело), затем, с XVIII века, применительно к вещи. Во множественном числе слово обозначает непривлекательные, отталкивающие стороны чего-либо (DHLF).

В современном значении этого слова выделяется «объективный» и «субъективный» смыслы (по Le Robert).

Субъективный смысл трактуется как: ужасное впечатление, произведенное видом ужасной или недостойной вещи или мыслью о ней, или крайне негативное впечатление, которое производит вещь. Объективный смысл: свойство того, что может вызвать страх, отвращение; вещь, которая внушает или должна внушать чувство ужаса, отвращения (по-русски — *мерзость*). Иначе говоря, из толкования мы видим, что *horreur* — это страх особого рода, страх, рождающийся не от намерения испугать, а от ситуации или вещи, страх от созерцания чего-либо, зачастую рождающийся от отвращения (мы уже писали о том, что и страх и отвращение — базовые эмоции, зачастую связанные, хоть и в одностороннем порядке, друг с другом: отвращение может рождать страх, может сопровождать его, как это бывает, когда человек смотрит, например, на змею; показательно также, что и та, и другая эмоция может вызывать рвоту). Напрашивается параллель: два типа опасности — опасность и угроза (см. французские эквиваленты *menace, péril, danger*) — вызывают, в зависимости от специфики источника опасности, разного типа страх, от *menace — terreur, danger — horreur.*

Panique (n. f.), равно как и соответствующее заимствованное из французского русское слово «паника», характеризует не столько эмоцию (ужас, страх), сколько поведение, сопровождающее эту эмоцию, когда она доходит до крайне высокой степени интенсивности. Это слово было заимствовано из греческого (*panikos* — прилагательное от имени бога Пана, часто употреблявшееся в эллинистическую эпоху, и только позднее для квалификации страха, поскольку внезапное появление Пана, отличавшегося таким уродством, что ужаснулась при его виде даже его собственная мать, всегда вызывало дикий страх у людей). Слово это во французском языке впервые зафиксировано у Рабле в качестве прилагательного (*terreur panique*) (DHLF).

Затем, гораздо позднее, произошли субстантивация и развитие современного значения. В современном языке сохранилась в ряде элементов толкования подспудная связь с этимоном. Определяется это

слово так: «Крайний страх (трактуется через слово *terreur*, с нашей точки зрения, именно потому, что Пан пугал), наступающий внезапно (Пан появлялся внезапно), как правило немотивированный (поздняя христианская или атеистическая оценка, трактующая такую причину как ирреальную) и часто овладевающий толпой». Коннотативный образ, выстраивающийся из сочетаемости этого слова, также в целом находится в русле уже описанных образов. По-французски говорят: *vent de panique*, *semer la panique*, *jeter la panique*, уподобляя панику семенам растения, которые разносит ветер.

Отметим еще раз, что подобная коннотация связана с коннотацией слова *sentiment*, то есть восходит к видовому понятию, а не является специфически родовой. Важно отметить, что во французском языке панический страх до сих пор иногда толкуется как *сильный беспричинный страх* (R1) вопреки даже реальному употреблению этого слова, сохранившему так надолго свою этимологическую память: считалось, что Пан как божество стихийных сил природы наводит на людей беспричинный, так называемый панический страх, особенно во время летнего полдня, когда замирают леса и поля (MC).

Страх этот считался беспричинным потому, что в отличие от сегодняшних причин, способных вызывать панику, Пан никогда не причинял вреда людям.

Любопытной особенностью всего лексического поля, описывающего страх во французском языке, является тот факт, что все эти слова, за исключением *effroi*, женского рода, в отличие от русского языка, где ядро понятий, обозначающих страх (*страх*, *ужас*, *испуг*), мужского рода. Конечно же, можно это связать исключительно с формальными признаками соответствующих существительных, но чем тогда объяснить серьезную оговорку в Историческом словаре французского языка (DHLF), назвавшем, вопреки всякого рода однозначным свидетельствам, *Pavor* античной богиней, а не богом. Неужели простой оплошностью?

Сопоставим описанные ряды французских и русских понятий.

Страх в русском языковом сознании, как мы это показали в общей части наших рассуждений, никак не является «популярной» русской эмоцией. В русском языке страх не имеет «своей» философии, не является основной «темой» жизни и культуры. Трактовка страха в русской традиции не содержит в себе указания на возможность возникновения немотивированного, так называемого экзистенциального страха, являющегося «любимым чувством французов», прекрасно разработанного как в народном, так и в аналитическом творчестве. В

русском языке *страх* сопровождают две коннотации — холод и змея-спрут. Первая описывает физиологическую вегетативную реакцию человека, вторая актуализирует древние мифологические установки сознания.

Образная система синонимов всего ряда концентрируется вокруг центрального его понятия — слова «*страх*». *Боязнь* — несильный протяженный во времени страх, *испуг* — сильный внезапный быстропроходящий страх, *ужас* — максимально интенсивный и в силу этого не слишком продолжительный страх — все эти слова характеризуют само чувство, но не причину, вызывавшую его. Во французском языке и соответственно сознании картина иная: центральное понятие — *peur* — его значение не менялось на протяжении всей истории французского языка (ситуация, характерная для немногочисленных лексических единиц, среди которых — базовые эмоции). Во французском языке *peur* мыслится преимущественно вне человека (это поддерживается и средневековым аллегорическим образом этого понятия), это внешняя сила, не змея, нападающая исподволь и практически не допускающая поединка, а огромное агрессивное животное, с пастью, утыканной зубами, а не жалом, таящим яд, и с гибким телом.

Effroi — сильный быстро проходящий страх, всегда связанный с объективной причиной (этимологически это слово связано с ситуацией нарушения перемирия).

Frayeur — понятие, этимологически связанное с идеей сильного шума или грохота (паралелль с русским «*испугом*»), однако Le Robert указывает на необязательно объективный характер причины страха.

Epouvante — этимологически связано с состоянием сильного удивления, иначе говоря, и это можно увидеть и в современной сочетаемости этого слова, — это страх, вызванный непониманием, страх-удивление. Современное значение — сильный страх, вызванный чем-то необычным, — подтверждает версию: необычное и означает непонятное. Исходя из этого, понятно, что такой страх вызывается не человеком, а ситуацией или чем-то сверхъестественным. Все это позволяет понять, почему именно это слово изначально обозначало соответствующий жанр литературы или кино (*film d'epouvante*), непременной частью которых являлся и является *suspens*.

Понятие *angoisse*, не имеющее точного эквивалента в русском языке и состоящее из двух элементов значения: страх и тревога, — понятие, прошедшее существенную эволюцию во французском языке. Этимологически за этим словом стоит идея, образ сжатия, присутствующий и в некоторых других словах, описывающих негативные

эмоции. Сжатие, ассоциирующееся с гипоксией и асфиксией, вызывает у человека сильнейший страх, именно, видимо, поэтому экзистенциалистами и был выбран этот термин в качестве центрального для построения собственной теории бытия. Иначе говоря, причина, вызывающая этот страх, всегда глобальная, не всегда исчерпывающим образом может быть сформулирована и касается жизненно важных для человека сфер.

Crainte, этимологически связанное с идеей дрожания, прошло через религиозные тексты, чем и может быть объяснена его «одухотворенная» коннотативная репрезентация. Сочетаемость этого слова показывает нам, что *crainte* бывает маленьким страхом, его ребенком, он рождается внутри человека, и человек ведет себя с ним, как ведут себя с малышом, но потом *crainte* вырастает и становится точно таким, как *peur*. Однако причина этой разновидности страха может быть, в отличие от *peur*, напрасной и иллюзорной.

Terreur этимологически связан с взаимоотношениями между людьми (лат. *terrere* «пугать, обращать в бегство», «принуждать сделать что-либо путем устрашения»). Отсюда все специфические известные значения этого существительного. Средневековый аллегорический образ поддерживает этимологию (что бывает отнюдь не всегда): *terreur* — это чувство, вызываемое человеком (или чудовищем), имеющим намерение вызвать именно это чувство.

Horreur — слово, известное во французском языке с XII века и связанное с идеей вздыбливания, дрожи, это ужас от впечатления, ужас, связанный с оценкой и отвращением, так или иначе, *horreur* — это страх-отвращение.

Напрашивается параллель между *menace* и *terreur*, *danger* и *epouvante*. Если *danger* потрясает своей омерзительностью, она вызывает *horreur*.

Слово и понятие *panique*, описывающее скорее не эмоцию, а поведение при определенной эмоции, безусловно, интересно тем, что толкование описывает мифологический сценарий полуденного появления Пана, вызывающего немотивированный страх.

Обобщим наши выводы.

Представление французов и русских о страхе:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	Девица Горгония	Сжатие, дрожание, пугание, объявление войны, принуждение через угрозу

Актуальные связи	Риск, отвага	Смерть, страдания, принуждение
Образ	Хищник, лед, змея-спрут	Тиски, пугливый ребенок, семя
Членение ситуации	5 слов: базовое чувство (*страх*), слабый быстро проходящий страх (*испуг*), индивидуальное и коллективное состояние с параличом воли (паника), предельно сильный страх и негодование (*ужас*)	9 слов: общее понятие страха (*peur*), страх от человека (*terreur*), страх-удивление от обстоятельств природы (*epouvante*), страх-отвращение (*horreur*), детско-религиозный страх (*crainte*), страх-вселенская точка (*angoisse*), кроткий страх (*frayeur*), страх от объективной причины (*effroi*), коллективный страх (*panique*),
Человек	Активен	Пассивен
Влияние	Славянское	Все ключевые социокультурные смыслы, включая экзистенциализм XX века

Библиография

1. *Лихачев Д. С.* Избранные работы. М., 1987. Т. 2. С. 425—430.
2. *Апресян Ю. Д.* Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. С. 369, 456.
3. *Успенский В. А.* О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика. Вып. 11. М., 1979. С. 146—147.

Глава четырнадцатая

ГНЕВ И РАДОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ФРАНЦУЗОВ И РУССКИХ. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ВОСПРИЯТИЮ БАЗОВЫХ ЭМОЦИЙ В ДВУХ КУЛЬТУРАХ

В европейской культуре, в том числе и в русской, демонстрировать гнев и его проявления не принято (1). Точнее, такую «роскошь» может позволить себе только иерархически старший человек, глава, начальник, родитель (2). Связано это, вероятно, с табуированностью провокации на агрессию в человеческом обществе как таковом, связанным с цивилизационным инстинктом самосохранения. Почему исключение составляют высшие в социальной иерархии члены человеческого общества, понятно: на их агрессию не может последовать аналогичный ответ.

Известная поговорка «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав» — один из способов рационализации этого, по всей видимости древнего, табу. В современной культуре никакая рационализация не представлена, просто дети воспитываются в этом запрете, при той практике, что воспитание как раз и призвано развить в человеке механизм торможения в ответ на соответствующий внешний стимул (3).

Попробуем разобраться в этом запрете с культурологической стороны.

В русском языке ряд, представляющий идею гнева, выглядит так: *гнев*, *ярость*, *бешенство*.

Обратимся к его анализу.

Русский «*гнев*» — чувство сильного возмущения, негодования, граничащее с утратой самообладания, этимологически связано с гнилью и гноем (ЭСРЯ) (ср. в современном жаргоне «*гноиться на кого-*

то» значит злиться, сердиться). Более старшим значением может быть «состояние больного, покрытого струпьями, гноящимися ранами», отсюда значение слова «*гной*» — «ярость» (ИЭССРЯ).

Даль определяет гнев как сильное чувство негодования, страстный порыв, вызванный досадой (ТС) (синоним — «*сердце*», ср. «*сказать что-нибудь в сердцах*», то есть исходный орган наивной анатомии у русских в этом случае все же сердце и душа, а не печень, как у романцев). Сочетаемость русского слова «*гнев*» связывает его образно одновременно с диким зверем, мы говорим:

укротить гнев, обуздать свой гнев;

закипеть от гнева, задыхаться от гнева (задыхаться, с нашей точки зрения, связано либо с повышенной температурой тела, либо воздуха), *вспышка гнева*;

побагроветь от гнева;

глаза налились кровью от гнева;

глаза горят от гнева.

Из этой сочетаемости явственно видны три коннотации слова *гнев*:

дикий зверь;

жар;

жидкость (выплеснуть);

болезнь.

Первые три коннотации, включая «жидкость» (мы говорим «*излить, выплеснуть свой гнев*», ср. с устаревшим значением французского «*humeur*» — «органическая жидкость, вырабатываемая человеческим организмом», и особенно с выражением *un moment d'humeur*, обозначающее «приступ гнева»), ассоциируют гнев с воспалительным процессом, болезнью, включая и коннотацию «дикий зверь», в терминах которой часто мыслили и мыслят недуг: многие болезни именно нападают на человека, скручивают его, одолевают, сживают со свету и пр.

Иначе говоря, демонстрация гнева, то есть болезни, лихорадочной, жестокой, гнойной, является по сути демонстрацией слабости, а не силы, как бы устрашающе эти проявления не выглядели. Но гнева боятся. Потому что, когда он исходит от иерархически высшего существа (гнев Божий), он по сути является предвестником кары, муки, страдания, смерти. То есть, чтобы быть точными, мы должны сказать, что боятся не гнева, а того, чем он обычно сопровождается.

Аналогично «*гневу*» мыслится и «*злоба*». По своему значению это слово устроено более сложно, нежели базовая эмоция. Даль определя-

ет злобу так: «определенное чувство к другому, сопровождающееся, желанием мучить его, доставлять ему страдания». То есть суть значения не в эмоции, а в действии.

Про *злобу* мы говорим:
реветь от злобы;
беситься от злобы;
неистовствовать от злобы;
воспалиться, *гореть злобой*, *кипеть от злобы* и пр.

С болезнями ассоциируются многие эмоции человека, однако различные эмоции походят на различные болезни. Но все они, конечно, болезни не реальные, а мифические, вымышленные, хотя и вымышленные по аналогии: в злобе или гневе человек мечется и орет как бешеный, как терзаемый болями, как ошпаренный кипятком. Но все же наиболее точно симптоматика этой воображаемой болезни все же совпадает именно с бешенством или желчными болезнями: жар, муки, выплескивание и успокоение.

Особой оговорки требует выражение «*благородный гнев*», отражающее установку общества испытывать и проявлять эту эмоцию в случае нарушения социальной конвенции. В данном случае гнев является компонентом более сложной эмоции-оценки, показного поведения, в этом случае не относясь к базовому изучаемому здесь набору эмоций.

Максимальной интенсивности это чувство достигает, когда причина не устраняется: *гнев* может перерасти в *ярость* или *бешенство*, а не наоборот.

С точки зрения влияния славянской мифологии на концепт гнева в русском языковом сознании, слово ярость является ключевым.

Ярость — вышедший из-под контроля сильный гнев, эмоция, проявления которой неконтролируемы. Связь ярости с огнем еще более очевидна, чем гнева. Даль отмечает следующие значения прилагательного «*ярый*» (глагольные синонимы «*яриться — кипятиться*, *горячиться*» также выражают связь с максимально интенсивным теплоотделением от человека, находящегося в состоянии ярости):

1) огненный, пылкий;
2) сердитый, злой, лютый, горячий, запальный;
3) крепкий, сильный, жестокий, резкий;
4) скорый, бойкий, неудержный, ретивый, рьяный;
5) расплавленный, плавкий, весьма горючий;
6) белый, блестящий, яркий;
7) горячий, похотливый.

Это последнее значение, находящееся как бы на периферии употребления во времена Даля, а теперь уже исчезнувшее вовсе, позволяет нам увидеть суть русского представления о том, что такое ярость, а заодно и многое понять в метафорике двух предыдущих слов — *гнева* и *злобы*, очевидно испытавших на себе влияние этого базового концепта.

Ярость этимологически связана с *ярью* и *яриной* — растительной силой почвы, особенно переносимой на грибы и губки разного рода. Грибная *ярь* — бель, семя или зародыши под старыми грибами в грибных гнездах. Ассоциация яри с грибным семенем, а также тот факт, что грибы во многих культурах представляются символами мужского детородного органа (4), позволяют сделать вывод о том, что первоначально ярость мыслилась исключительно как мужское качество. Это же видно и из значений прилагательного «*ярый*», и из особого смысла устаревшего ныне глагола «*ярить*», связанного с действиями *Ярилы* — славянского мифологического и ритуального персонажа, воплощающего идею плодородия, прежде всего весеннего, и сексуальной мощи. Культ *Ярилы* дает материал для сложнейших мифологических и психоаналитических изысканий (в ритуалах его изображали то мужчина, то женщина), однако мы подчеркиваем лишь связь этого персонажа с оплодотворяющей, мужской функцией: «Волочился Ярило по всему свету, полю жито родит, людям детей плодил» (МНМ).

Эта связь во многом объяснят ассоциацию ярости с огнем — извечным символом мужского начала.

В современном языке, естественно, такая предрасположенность ярости к сочетаемости лишь со словами, обозначающими лица мужского пола, почти утрачена, однако очевидно, что до недавнего прошлого (до середины XIX века во всяком случае) характеристика состояния женщины через это понятие или при помощи этого эпитета была некорректной. Так, для русского сознания скорее все же для мужчины характерно яриться, а для женщины — пребывать в состоянии доброты (см. шестую главу, где мы пишем о том, что доброта — скорее женское качество, нежели мужское), покорности и кротости. Сочетаемость этого слова поддерживает наши предположения: от ярости закипают, она клокочет, вспыхивает, жжет. Ярость — это чувство, которое рождается внутри человека и представляет собой кульминацию его агрессивных намерений по отношению к другому человеку. Как и всякое чувство, она захлестывает, однако мы убеждены в том, что это «захлестывание» не внешнее, а внутреннее: применительно к эмоциям человек является одновременно и агенсом и пациенсом, как бы раздваиваясь. Между тем, ярость коннотируется и как «огненная жид-

кость», по-прежнему ассоциируясь с мужской силой и всем, что любит мужчина, всем, с чем он так или иначе идентифицируется. Так же и реализация ярости («*дать выход ярости*», «*излить свою ярость*», «*вымести свою ярость на ком-то*») связана либо с побоями, либо с насилием в самом примитивном, базовом варианте.

Итак, в русском мифологическом сознании *ярость* — это:

1. огонь;
2. сперма;
3. огненная жидкость (соединение первого и второго).

Слово «*бешенство*» практически не описано в русских словарях. Очевидна связь этого слова с «*бесом*», трактовавшимся как ярость, бешенство, а также страх, ужас. *Бешенство* — это состояние, аналогичное тому, что в народе называется «*бес в него вселился*», когда «*человек творит невесть что*». С другой стороны, *бешенство* — известная издревле болезнь животных, характеризующаяся таким поражением нервной системы, при которой животное (или же заразившийся от укуса человек) проявляет безудержную агрессию и беспокойство. И с первой, и со второй точки зрения, находясь в состоянии бешенства, человек уподобляется больному животному (вселившийся бес обесчеловечивает человека, да и сам бес мыслится как некое зооморфное существо). В современном языке никак не развивается на образном уровне тема болезни-бешенства, это прочно срослось с самим понятием на семантическом уровне. Единственное, что подтверждает сочетаемость, это связь бешенства с повышенной моторикой: в бешенстве человек куда-то кидается, бежит, вскакивает, подпрыгивает и пр., а также и с неким характерным физиологическим проявлением этой болезни через перифрастический контекст: «он с пеной на губах доказывал что-то», то есть очень активно, находясь в неадекватном состоянии, из которого в случае отказа выход либо в сильную дисфорию, либо в агрессию.

Посмотрим, что во французском языке.

Французское *colère* (n. f.), обычно переводимое на русский язык как *гнев*, — слово заимствованное (XIII век) из имперской латыни — *cholere* — «желчная болезнь, желчь» (DE). Во французском языке значение «желчь» исчезло в XVI веке.

Современное значение «сильное аффективное негативное состояние» связывается (с XVI века) с интерпретацией роли желчи в организме человека, в соответствии с которой повышение температуры желчи и вызывало гнев (это состояние и называлось cholere). В XVII веке с изменением орфографии разрывается также связь с

такой физиологической трактовкой. Слово это начинает широко употребляться также вместо *ire* и *courroux*, очень распространенных в старом и среднефранцузском языках.

Состязание с *ire* привело также к заимствованию у этого слова части его образной «оболочки», которую Чезаре Рипа описывает так:

«Это молодая женщина с красным или темным цветом лица — ведь именно так выглядит кожа гневливого человека, о чем свидетельствует даже Аристотель в шестой и восьмой главах Физиономии. У женщины этой широкие плечи, раздувшееся лицо, красные глаза, круглый лоб, раздутые ноздри. Она хорошо вооружена, вместо шлема у нее на голове — медвежья голова, из которой выходят пламя и дым, в правой руке — обнаженный меч, в левой — зажженный факел, одежда ее — красного цвета. Эта женщина — молода, ведь и Аристотель писал, что именно молодые часто гневливы и готовы в любой момент вспыхнуть, поскольку они честолюбивы и не могут терпеть, когда им идут наперекор. Шлем из медвежьей головы — так как именно это животное более других склонно к гневу. Обнаженный меч символизирует действие, которое часто совершается во гневе и в результате которого проливается кровь. Зажженный факел — это сердце взбешенного человека, которое горит и сгорает. Лицо вздувается оттого, что кровь закипает, от этого же и горят глаза» (I).

В современном языке это слово определяется как сильное недовольство, сопровождающееся агрессией, сам приступ гнева (R1) и имеет следующую сочетаемость:

propension à la colère;
accès, crise, mouvement de colère;
etre rouge, blême de colère;
suffoquer, trembler, trépigner de colère;
etre dans une colère noire;
s'abandonner à sa colère;
laisser exploiser sa colère (*cf. décharger sa bile, sortir de ses gongs*);
sentir sa colère monter;
passer sa colère sur qn, sur qch;
rentrer, retenir sa colère;
piquer, prendre une colère;
une profonde, froide colère;
la colère dévore;
provoquer, allumer, susciter, exciter, déchaîner, apaiser, calmer, désarmer, contenir, encourir la colère de;
la colère tombe, se calme, s'évanouit;

entrer dans une colère;

bondir, fumer, trépigner, suffoquer, trembler, bouiller, écumer de colère;

etre enflammè, plein, rempli, rouge, pâle de colère;

une colère sourde, violente, concentrée, continue, terrible, subite, furieuse, folle (TLF, R1, DMI, DS, NDS, DGLF).

Из приведенной сочетаемости видны три четко очерченные коннотации, сопровождающие это понятие во французском языке и связанные с приведенным аллегорическим образом:

1. болезнь (с четким описанием симптомов и течения болезни);
2. дикий зверь;
3. огонь.

Отметим редкое совпадение средневековой аллегории и современной образной структуры слова, дающей прямое объяснение, в частности, таким выражениям, как *désarmer la colère* или *une colère sourde* (вспомним, что именно глухота — качество, которое во многих культурах приписывалось именно медведю). Отметим также особую связь эмоций во французском языке с цветом — *peur bleu, colère noire, voir rouge* и пр. Мы это связываем с особой символической культурой цвета в средние века, расшифровка которой требует отдельного разговора.

Французское *fureur* (n. f.), обычно переводящееся на русский язык как *ярость, бешество*, зафиксировано в X веке и произошло от латинского *furor* — «безумие, помутнение разума» (DE). Цицерон утверждал, что такое состояние может овладеть даже мудрецом, в то время как *insania* (слабоумие) никогда не может постигнуть его (DHLF). *Furor* — это девербатив от *furere* — «быть безумным». Происхождение этого глагола не представляется ясным. *Fureur* во всех своих значениях сохраняет этимологический смысл «отклонения от здравомыслия», что сближает это понятие с безумием и жестокостью. Первоначально во французском языке это слово обозначает «безумный гнев», во множественном числе «проявления безудержного гнева». Чисто этимологический смысл — «безумие, приводящее к проявлению жестокости» — «вернулся» в язык в XVI веке. По аналогии (отклонение от разума) *furuer* обозначает поэтический бред, приступы неконтролируемого вдохновения. Помимо описанных значений с XIII века это слово обозначает также страсть, что зафиксировано в выражении *faire fureur* — «пробуждать интерес» (XIX век) (DHLF).

В современном языке *fureur* определяется как безумие, толкающее на жестокость, как безмерная страсть, состояние, близкое к безумию,

как безумная ярость, как крайнее проявление жестокости (R1) и имеет следующую сочетаемость:

entrer, *être*, *mettre en fureur*;

accès, *crise de fureur*, *etc.* (TLF, R1).

С *fureur* возможна практически вся такая же сочетаемость, что и с *colère*, за исключением тех контекстов, которые представляют ее как огонь. Нельзя сказать **allumer la fureur*, *fumer de fureur*, *bouillir de fureur*, *être enflammé de fureur* и пр. Исключена также сочетаемость, описывающая возможность изменения степени этого чувства: *fureur* нельзя *calmer*, *apaiser*, с ней не сочетается глагол *concevoir* (при этом глаголе «*зародить*, *зачать*», ведь зачинаемый предмет мыслится как нечто маленькое) и прилагательное *concentré* — по двум причинам, во-первых, она всегда *concentrée*, во-вторых, *fureur* — это не жидкость. Ее нельзя также *desarmer*, и она не может быть *sourde* — это восходит только к аллегории *colère*. Также не слишком желательны сочетания, представляющие *fureur* как жидкость (**être plein*, *rempli de fureur*), что легко объясняется тем фактом, что *fureur* никак не связана с идеей «разлившейся и разгоряченной желчи», а только с болезненными проявлениями человеческого рассудка. Иначе говоря, у этого слова следующие специфические отличия: на семантическом уровне — это гнев плюс безумие, на образном — она описывается как некая болезнь (*suffoquer*, *frémir*, trembler de fureur), но болезнь без желчно-гнойно-воспалительной симптоматики.

Furie (n. f.), обычно переводящаяся на русский язык как *ярость*, — заимствование из латыни. *Furia* («бред, яростное безрассудство») в мифологии обозначало каждую из трех адовых божеств (Алекту, Мегеру и Тизифону) (МС), поэтому именно этим словом часто обозначали разъяренную женщину.

Furie во французском языке употребляется первоначально как мифологическое понятие, затем по расширению применяется по отношению (XVII век) к женщине, чья злобность граничит с бешенством и безумием (DHLF). Отметим любопытный нюанс: если в русском языке *ярость* была чисто мужским качеством, то *furie* — качество чисто женское. Если поставить перед собой задачу описать собирательные портреты женщин в изучаемых нами двух культурах, то это соображение может оказаться крайне существенным, как и то, что доброта — качество специфически русское и скорее женское.

Furie дублирует по своему значению fureur (за исключением значения «безумие») и имеет вслед за ним значения и «сильный гнев», и «безудержные проявления гнева», и «сильная страсть».

В современном языке это слово обозначает, во-первых, каждую из трех фурий, в функции которых входило вымещать на преступниках божественный гнев. Переносное значение — женщина, которую злоба, ненависть и месть толкают на безумства. Во-вторых, это слово обозначает, как и *fureur*, безумный гнев. У этого слова отчетливо прослеживается также и значение «отвага», запечатлевшееся в выражении *furie française* (перевод с итальянского, выражение описывает военную отвагу и бесстрашие французов). В современном языке это слово употребляется в основном для обозначения женщины, ее характера или состояния (гнев), в остальных случаях оно практически полностью вытеснено уже описанным нами *fureur* (R1).

Французское *rage* (n. f.), как и его романские аналоги, произошло от латинского *rabbia*, производного от классического латинского *rabies* «болезнь собак, заразная для человека», откуда переносное значение «чувство бешенства» — по аналогии с симптомами этой болезни.

Во французском языке это слово первоначально зафиксировано в значении «приступ ярости, бешенства», затем, по ослаблению смысла, это слово обозначало безмерную страсть, которой человек не может противостоять, очень сильное желание совершить что-либо, отсюда отчасти происходит выражение *faire rage*, применимое как к вещи, так и к человеку, а также значение «сильная физическая боль». Последнее значение вышло из употребления, зафиксировавшись лишь в выражении *rage de dents*.

В современном языке слово обозначает крайне сильное состояние гнева, страстное желание сделать что-либо, острую боль (употребляется, когда речь идет об абсцессах), известную болезнь животных и человека. Сочетаемость слова *rage* повторяет сочетаемость слова *fureur* (описываются симптомы соответствующей болезни: *écumer de rage*, *être ivre de rage*) с теми отличиями от сочетаемости *colère*, о которых мы уже писали. Основное отличие между этими двумя синонимами (*rage* — *fureur*) все же смысловое, а не образное: в *fureur* акцент на безумии и жестокости, в *rage* — на бешенстве, то есть особенном животном проявлении этого состояния. Отметим, что отличие это действительно крайне незначительное и сказывается в отрицательной коннотации первого и отсутствии отрицательной коннотации второго понятия, связывающегося в первую очередь с физиологическим аспектом переживания. Отсутствие отрицательной коннотации и объясняет возможность сдвига значения в сторону «сильное желание» (*la rage d'aventure*).

Сопоставим полученные результаты. Итак, русский «*гнев*» этимологически связан с «*гнилью*, *гноем*», с состоянием больного, по-

крытого гнойными ранами. Сочетаемость этого слова связывает его образно с диким зверем, с огненной стихией, действие которой испытывает на себе человек, с жидкостью эндогенного происхождения. Иначе говоря, *гнев* в русском языке описывается как *болезнь* (включая и первую коннотацию, ибо болезнь, в свою очередь, очень часто коннотируется как дикий зверь). Аналогично описывается и злоба. Гнев может перерасти в ярость или в бешенство, но не наоборот. Таким образом, русская картина мира представляет эту эмоцию градуированной по силе.

«*Ярость*» связна с огнем, с температурой (вспомним, что *страх* в русском языке — это *холод*, а *гнев*, *ярость* — *огонь*, *лихорадка*, *воспаление*, *сопровождающееся повышением температуры*). *Ярость* в русском языке — исходно мужское качество и до середины XIX века уж во всяком случае не применялось для характеристики женщины (ср. *ярость — ярь*, *ярить*, *Ярило*). *Ярость* — это сам огонь (мужской символ). *Ярость* рождается внутри человека и затем набрасывается на него же. Ярость, как и многие другие эмоции, реализует древнейший мифологический мотив: то, что порождает человек, далее побеждает его, — следующее отрицает предыдущее. *Ярость* коннотируется также и как «*огненная жидкость*», по-прежнему сохраняя ассоциацию со всем, что связано с мужчиной, и с тем, что мужчина любит. Исходя из этого, понятен и цвет ярости — белый.

«*Бешенство*» — слово, мало описанное в русских словарях (очевидно, до определенного периода это связывалось с тем, что оно однокоренное со словом «*бес*»). «*Бешенство*» этимологически связано с соответствующей болезнью животных и людей, и образная сочетаемость этого слова описывает проявление этой эмоции именно как проявление соответствующей болезни.

Французское *colère* также этимологически связано с болезнью (поднятие температуры желчи). Средневековый аллегорический образ этой эмоции делает существенные расширения, и в современном языке мы находим у этого понятия три коннотации: болезнь с четким описанием симптомов, дикий зверь, огонь. В данном случае мы можем констатировать удивительное пересечение с русским аналогом, что происходит также и оттого, что и в русском и во французском языках подобное проявление человека считают болезненным, ненормальным.

Fureur — это *гнев-безумие*, безумие было таким же сильным семантическим компонентом, как и гнев, отсюда в истории развития этого понятия значения — бред, приступы поэтического вдохновения,

страсть. В современном языке безумие ассоциируется скорее с жестокостью (компонент значения *fureur*), нежели с приступами вдохновения, а также с помешательством и безмерной страстью, от которой до жестокости — один шаг. Потеря самоконтроля в чувстве — ситуация скорее архетипически женская, чем мужская (вспомним Медею, Тизифону и пр.). *Fureur* в отличие от *colère* не имеет «огненной» коннотации, что, во-первых, уводит ее из ряда плотских болезней (коннотативных), а во-вторых, освобождает от мужской символики. Иначе говоря, *fureur* — это ментальная болезнь, которая протекает без гнойно-желчной симптоматики.

Furie — *ярость*, а также обозначение женщины, обладающей соответствующим характером, окончательно возводит эту эмоцию в разряд «женских» эмоций. Французское *rage* повторяет и этимологию, и значения русского «*бешенства*», однако французское понятие лишено отрицательной коннотации, что позволило ему развить дополнительное значение «страстное желание», уже не имеющее ничего общего с гневом.

Итак, из проведенных описаний мы видим, что у всех этих слов общий смысловой и образный прототип — *болезнь*, однако в русском языке *гнев* на коннотативно-метафорическом уровне — плотская аномалия, плотские отправления (преимущественно мужские), в то время как во французском языке бывает гнев от болезни тела и от болезни ума. Русский ряд ассоциирован с мужским началом и описывает скорее черты мужского характера, во французском — женского.

В русском языке *страх* ассоциируется с холодом, *гнев* — с огнем, *радость* — с теплом. Во французском языке второе и третье понятия не имеют такой четкой температурной маркировки именно в силу существенных смысловых и коннотативных нюансировок.

Обобщим полученные результаты:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	Гной, Ярило	Желчь, бешенство (болезнь), безумие
Актуальные связи	Начальник, мужчина	Жестокость/безрассудность, женщина
Образ	Огонь, болезнь, сперма	Огонь, желчная болезнь

Членение ситуации	4 слова: *гнев* — интеллектульный компонент, *бешенство* — эмоция, *злоба* — намерение, *ярость* — агрессия	4 слова: *colère* нейтральное *furreur* гнев-жестокость *furie* женский гнев *rage* — гнев-бешенство
Человек	Активен	Активен
Влияния	Славянскос	Античное

Третья эмоция, которой мы завершаем описание базовых эмоций, — это эмоция *радости*. Эту эмоцию как раз принято демонстрировать в сдержанной форме, принято даже имитировать ее для придания общению комфортности и цивилизованности.

В русском языке у *радости* два синонима — *ликование* и *восторг*.

Этимологически «*радость*» восходит к радуге, которая в старом языке называлась «*веселкой*». В основе этого определения очевидным образом находится человеческая реакция на яркие переливающиеся цвета, отмечающаяся в чистом виде у детей. В русском языке слово «*радуга*» (вместо веселки и дуги) отмечено с 1731 года. Связь *радуги* с *радостью* отражена в индоевропейском фольклоре. В Библии появление радуги свидетельствует об окончании всемирного потопа, это зримое выражение «божьего благословения и прощения роду человеческому».

Радость в трактовке Даля определяется как внутреннее чувство удовольствия, в современных словарях как чувство большого удовольствия, удовлетворения. Однако определение радости через удовольствие, при всей бесспорности, таит в себе некую опасность, связанную с тем, что понятия эти имеют существенные отличия, описанные, в частности, в работе А. Б. Пеньковского (5). Рассмотрим их.

А. Б. Пеньковский отмечает, что удовольствие — это не чувство или не просто чувство. Удовольствие всегда связано с удовлетворением чего-либо, и этим оно отличается от радости, которая может быть беспричинной. *Радость* с категориальной точки зрения — это и реакция на что-либо и некоторое состояние, в котором пребывают, настроение, которое возникает в результате сложного переплетения внешних и внутренних, часто даже и физиологических, причин, не всегда осознаваемых человеком. Причина же удовольствия, с нашей точки зрения, осознается всегда.

А. Б. Пеньковский, отдавая дань идеалистической трактовке бытия, утверждает такое, только в рамках этого взгляда на мир, приемле-

мое различие: «...удовольствие — прежде всего и преимущественно чувственно-физиологическая реакция, тогда как радость имеет более высокую чувственную психическую природу». Мы бы рискнули провести несколько иную границу: различие радости и удовольствия в том, что удовольствие, как и удовлетворение, проявляясь физиологически, часто связано с торможением, во всяком случае, оно часто сопутствует ему (удовольствие от еды, секса, интеллектуальные удовольствия от совершенного открытия, произведения искусства, удовольствие от созерцания красоты. Притом удовольствия, не обязательно связанные с радостными переживаниями, а иногда даже и с болезненными, часто вызывают расслабление и даже сонливость). Радость же связана не с торможением, а с возбуждением, она всегда позитивна и не обязательно приводит к спаду. Вернемся к работе А. Б. Пеньковского, в которой он делает весьма тонкие наблюдения: «Удовольствие скрыто в источнике и таится в его глубине. Но не в готовом виде, а лишь как потенция, виртуально, in spe, как огненная искра в кремне, материализуемая лишь при ударе огнивом. ...Поэтому удовольствия ищут, а найдя — извлекают. Извлекая действием — получают, получая — имеют, имея — испытывают. Чтобы искать, находить, извлекать, получать и испытывать удовольствие, необходимо «владеть технологией» всех этих действий... Удовольствие таким образом «механично и технично», в отличие от радости, которая «органична». «Именно поэтому, — продолжает автор, — удовольствие портят как вещь, а радость убивают и отравляют как живое существо». Метафоры, описывающие радость как живое существо, многочисленны: радость рождается, шевелится, растет, живет в человеческой душе, радость приходит и уходит, снисходит (как радуга, а радуга на небе, не от этого ли вся божественность и «небесность» русской радости?), затихает, умолкает и заговаривает вновь.

Автор статьи с удивительной точностью реконструирует персонифицированный образ Радости: «...под определяющим влиянием христианской идеи радости и с участием мощных токов европейской традиции в русской поэтической картине мира складывается и достраивается мифологический образ Радости как живущего на грани двух миров, земного и небесного, прекрасного женственного существа с лицом неземной красоты, с глазами-очами, излучающими небесный свет, с несущим тепло легким дыханием, с добрыми теплыми руками, с легкими ногами-стопами, с легкими, но мощными крылами, на которых она улетает и прилетает, окрыляя человека и одаряя его способностью лететь на крыльях радости». Радость ассоциирована в

русском сознании с двумя стихиями — с огнем и жидкостью (вспомним описание радости у В. А. Успенского (6): «...радость — легкая светлая жидкость (в противовес горю, которое коннотируется как тяжелая тягучая жидкость. — *М. Г.*).

Радость тихо разливается в человеке, иногда бурлит, играет, искрится, переполняет человека, переплескивается через край. По-видимому, она легче воздуха: человек от радости испытывает легкость, идет, не чуя земли под ногами, парит и, наконец, улетает на седьмое небо».

И последняя, крайне существенная и также подмеченная А. Б. Пеньковский особенность русской радости — ее альтруистичность: радость можно испытывать за другого, удовольствие за другого получить невозможно. «Показательно поэтому, — пишет автор статьи, — что глагол «*радоваться*», как и прилагательное «*рад*», управляет дательным падежом, в котором значение эмоционального каузатора совмещается со значением адресата: радость возвращается тому, кто является ее источником». Радость не только альтруистична, но и межличностна, ею, в отличие от удовольствия, можно заразиться и заразить, поделиться.

Итак, радость в русском языковом сознании — это:

1. живое существо;
2. женщина с крыльями;
3. огонь;
4. жидкость;
5. инфекция (заразная болезнь) с положительным знаком.

О ликовании и восторге скажем очень кратко, поскольку эти две эмоции никак не могут быть отнесены к базовым, хотя бы потому, что свойственны исключительно человеку, причем человеку социальному. Ликование, этимологически восходящее к «ликам», то есть к радостным крикам и возгласам (ЭСРЯ), отражает не столько саму эмоцию, сколько определенный тип поведения, сопровождающий при определенной конвенции выражение радости. Так, ликование, в отличие от радости, всегда открыто для наблюдения, сопровождается жестикуляцией и радостными криками, и поэтому не является интимным переживанием. В современном языке это слово описывается, подобно панике, как поведение толпы, употребляется крайне ограниченно и не дает нам возможности провести какие-либо реконструкции его мифологического образа или контекста. Также обязательны внешние проявления такой разновидности радости, как восторг. В этимологии этого слова мы впервые сталкиваемся со скрытой мета-

форой всего поля слов, описывающего радостное состояние человека как «состояние приподнятого духа» (см. об этом также у Лакоффа и Джонсона об ориентационной метафоре «счастье — верх; грусть — низ» (7)), ведь восторг корнями своими связан со словом «*торчать*» (ИЭССРЯ). Это же прослеживается и в синонимическом ряду, приводимом Далем: восторгать, восторгнуть, подымать вверх, вырывать и пр. (ТС). Это может наводить на очевидные аналогии с неким определенным плотским состоянием, однако мы удержимся от дальнейшего развития этой темы в силу недостаточности доказательных фактов (все же ср. современное «*торчать*» — получать удовольствие). Отметим лишь, что это, вероятно, связано также с реакцией первобытного сознания на восход солнца (по аналогии: солнечное затмение вызывало неописуемый ужас) и также через солнце и огонь как вечных символов мужественности может давать почву для невысказанного нами предположения. У слова «*восторг*» существует сочетаемость, приближающая его к «*радости*»: восторг возможно передать кому-либо и разделить с кем-либо. Восторг, имея этимологическую связь с латинским глаголом *trahere* «влечь, тянуть», а также «терзать» и имея в древнерусском языке значение «дрожь», «судороги» (ИЭССРЯ) («восторгать» непереходное — «дрожать, биться» о людях), сохранил сочетаемость, трактующую это состояние как болезнь: безумный, бешеный восторг, дикий восторг. *Восторг* есть также некое статическое, хотя и мимолетное, состояние, оно не знает градаций и описывается при помощи глаголов, создающих метафору «территории, места» — прийти в восторг, привести в восторг. В русском языке *восторг* может также и охватить кого-либо, однако эта сочетаемость характерна для чувств и эмоций как таковых и не является специфической характеристикой именно восторга.

Трактовка радости и удовольствия, предложенная известным современным психоаналитиком Э. Фроммом, в полной мере отражает европейскую концепцию и мифологическую картину этих понятий. Предваряя этот анализ, отметим, что русский язык, как мы видели, отражает позицию высшей нравственности, что в большой степени объясняет тот факт, что русские зачастую эстетическим критериям предпочитают этические.

Французскими эквивалентами рассмотренных нами русских слов «*радость*» и «*ликование*» безусловно являются *joie* и *jubilation*. Обратимся к их описанию.

Joie (n. f.) зафиксировано во французском языке с XI века и произошло от латинского *gaudia*, множественного числа от *gaudium*

«удовлетворение, удовольствие», «чувственное удовольствие, сладострастие», «человек — источник удовольствия» (DE). *Gaudia* — слово разговорного языка, где оно фигурировало как существительное женского рода, однако в старофранцузском языке это слово чаще всего оформляется как существительное мужского рода.

В XI веке это слово обозначает «чувство сильного счастья» и употребляется для обозначения в первую очередь проявлений этого чувства. Латинское значение, связанное с проявлениями любви и ласки, исчезло к XIII веку, оставив след лишь в выражении *fille de joie* (DAF). До XVI века это слово обозначало также «украшение», благодаря народно-этимологическому сближению с *joyau*. Метонимический смысл «коллективная радость» остался только в диалектах и в выражении *feu de joie*. С XVIII века зафиксировано антифрастическое употребление этого слова в значении «горе, неудовольствие» (DHLF).

В современном языке *joie* определяется как глубокая приятная эмоция, овладевающая всем существом человека. Это слово имеет следующую сочетаемость:

causer, provoquer, éprouver, goûter, ressentir, manifester, montrer, témoigner de la joie;

contenir, cultiver, dire, exprimer, extérioriser sa joie;

combler, remplir, bondir, pétiller, délirer, exulter de joie;

etre envahi de joie;

s'abandonner, se livrer à la joie;

une joie éclate, rayonne, se lit, se communique;

etre fou, transporte de joie;

une joie ardente, extrême, vive, folle, extatique, ineffable, indicible, indescriptible, délirante, excessive, bruyante, puérile, austère, intime, insigne, pure, légitime, maligne, méchante, cruelle, communicative, tendre, courte, de courte durée, longue, passagère, éphémerè (TLF, R1, DMI, DS,NDS, DGLF).

Из приведенной сочетаемости мы видим, что радость во французском языке осмысливается в пределах нескольких как четко, так и нечетко очерченных коннотаций. Наиболее целостные коннотативные образы радости — это:

1. Текст, что подтверждается широкими возможностями сочетания этого слова с предикатами речи и письма (*dire sa joie, la joie se communique, se lit, joie ineffable, indicible, indescriptible*, сюда же может быть помещен контекст *delirer de joie*, описывающий одно из проявлений радости как бессвязную бредовую речь, ср. по-русски: от радости можно только кричать, но не бредить, то есть нельзя говорить).

2. Крылья, которые могут унести человека, во власть которой он отдается по своей воле или уступая ее силе. Эти крылья персонифицируются и перенимают на себя характеристики именно человека, а не какого-то божественной природы существа. Радость-крылья могут быть хитрыми, злыми, жестокими, коварными, что в отличие от русского злорадства характеризует именно саму радость, а не объект, вызывающий ее. Аналогичная непереводимая на русский язык сочетаемость имеется, например, и у слова *plaisir*, которое в нашей культуре может быть только «хорошим» чувством. А во французской культуре — отнюдь. Вспомним строку из песни Adamo: «il éprouvait un malin plaisir à se jouer de mes avances». Такой перенос на радость и удовольствие признаков самого человека может быть отчасти объяснен выводом Эриха Фромма (8) о том, что «...радость — это то, что мы испытываем в процессе приближения к цели стать самим собой». Его мысль опирается на рассуждение Спинозы, который считал, что «... радость — это переход человека от меньшего совершенства к большему», а печаль «...переход человека от большего совершенства к меньшему» (9).

3. Человек.

4. Цветок.

Удовольствие, по Фромму, это достижение пика удовольствия, после которого наступает чувство печали, и печаль эта связана с тем, что внутри нас ничего не изменилось.

Не следует, естественно, упрощать или идеализировать посылки Эриха Фромма, прежде всего ставившего перед собой цель «психотерапевтировать» американское общество, а не навязывать ему новые невротические установки. Понятно, и он пишет об этом, что и богатство, и успех — ценности, они дают и удовлетворение, и удовольствие, и радость, в зависимости от того, домысливаем мы, какой именно процесс это «запускает в человеке». Однако подход Фромма позволяет понять, почему европейская радость приобретает антропоморфные черты и, лишний раз перекликаясь с Отли (2), трактует эмоции через целеполагание, что, как мы видели, не разделяется русской более одухотворенной картиной мира.

Добавим, что французская радость может быть также и пылкой, и аскетичной, и юношеской, и интимной, иначе говоря, радость во французском языке описывается через признаки человеческого характера. Несколько французских глаголов приоткрывают для нас интересные аспекты взаимоотношений человека и радости. Выражение *cultiver sa joie* описывает радость как цветок, а человека как садовника

(общее коннотативное поле с *sentiment*). Проявления радости наряду с обычными их формами описываются во французском языке, в частности, и при помощи глагола *extérioriser*, отличающегося от обычного *exprimer* акцентом на осознанности проявления: *extérioriser* «нечто» можно лишь после того, как принято соответствующее решение, иначе говоря, перед нами зафиксированный в языке отрефлексированный способ проявления базовой эмоции, которая, как мы утверждали вначале, должна проявляться непроизвольно, и культура обработала эту непроизвольность в соответствие со своей специфичностью.

Некоторая сочетаемость французской *«радости»* описывает человека как емкость, которую можно наполнить (не только радостью, но, видимо, и многими другими чувствами). Однако у нас нет «сильных» оснований считать, что радость в одной из своих ипостасей мыслится как *жидкость*, ведь ею можно и *remplir*, и *combler* — второй глагол в отличие от первого не подразумевает оперирования лишь жидкостями и им подобными веществами. Внезапная вспышка радости описывается во французском языке при помощи глагола *éclater*, что позволяет нам увидеть скрытую оппозицию *angoisse, anxiété, détresse — joie*, поскольку взрыв, расширение есть действие, обратное сжатию. Возможно, именно это употребление является наиболее старым из других метафорических сочетаний, поскольку ассоциирует радость также и с солнцем, восход которого однозначно вызывал восторг у человека.

Французское слово *jubilation* (n. f.) является точным эквивалентом русского понятия *«ликование»*. Это слово зафиксировано во французском языке с XII века и образовано от латинского *jubilatio* — «крик» (DE). В христианской латыни это слово имело особое значение — «звук музыкального инструмента, выражающий радость, веселье». Это понятие обязательно предполагает внешние бурные проявления радости, то есть, как и ликование, описывает скорее поведение, нежели саму эмоцию.

Итак, сравним полученные результаты.

Русская *«радость»* этимологически связана с радугой, то есть с реакцией человека на сочетание разных ярких цветов. *Радость* — состояние души, *удовольствие* — состояние плоти. *Радость* метафоризируется в русском языке как высшее божественное женское существо, *удовольствие* ассоциируется с вещью. *Радость* — это тепло, *радость* — это пьянящий напиток.

Важнейшие особенности русской *радости* — и альтруистичность, и межличностность. Русское *«ликование»* и французское *jubilation* описывают, несмотря на разные этимологические модели и прототипы, абсолютно сходные проявления радости (крики, жестикуляция).

Также обязательно предполагает внешние проявления и русский «*восторг*», понятие, не имеющее однозначного эквивалента во французском языке. Это слово этимологически связано с «*восторгать*», то есть с «поднимать» вверх, иначе говоря, таит в себе скрытую метафору всего ряда положительных эмоций, трактуемых как приподнятое состояние духа. *Восторг* естественно связывается с непосредственной реакцией на стимул и может также ассоциироваться с неким мужественным проявлением радости и энтузиазма. В современном языке это понятие описывает непосредственную несколько инфантильную реакцию человека на положительный стимул, сущность этой реакции может помочь понять ее специфичность: многие отмечали, что русские открыты и непосредственно выражают свои эмоции, в отличие от французов, например, которые могут на уровне культурного стереотипа их *extérioriser* или *interioriser*.

Французская «*радость*», первоначально этимологически связанная с идеей удовлетворения, и в частности плотского, ассоциируется в современном французском языке скорее с образом человека (со всем, что человеку не чуждо), а не заоблачного божества. Французское *joie* прекрасно сочетается с прилагательными, описывающими дурные черты человеческого характера. Такой перенос на *joie* именно человеческих качеств, возможно, отчасти объясняется выкладками Эриха Фромма, связывающего радость с целью, которой и является сам человек.

Во французской культуре, что тоже видно из сочетаемости данного слова, *радость* — внутри, это ценное растение, которое человек должен взращивать в себе. Описание радости позволяет нам увидеть скрытую оппозицию *joie* — *взрыв*, *разжатие*/*angoisse*, *anxiété*, *détresse* — сжатие.

Условно полученные результаты можно обобщить так.

Представления французов и русских о радости:

Базовые признаки	Русский менталитет	Французский менталитет
Истоки	Радуга	Сексуальное удовольствие
Актуальные связи	Душа, альтруизм	Выставление напоказ, удовлетворение, расслабление, освобождение

Образ	Ангел, огонь, пьянящий напиток	Человек в его положительных и отрицательных ипостасях, огонь, текст
Членение ситуации	3 слова: *радость* — нейтральное, *восторг* — коротко длящееся, сильное чувство, *ликование* — радость толпы	2 слова: *joie* — нейтральное, *jubilation* — радость толпы
Человек	Активен	Активен
Влияние	Славянское, христианское	Античное

Обобщим полученные результаты о всех трех базовых эмоциях в русском и французских ментальных представлениях. В общих чертах сравнение двух лингвокультурных контекстов, французского и русского, в котором представлены три изучаемых эмоции, выглядит так.

1. В двух описанных языках рассмотренные эмоции по-разному соотносятся с мужским и женским стереотипом поведения: в русском языке большинство эмоций — «*мужские*», во французском — «*женские*». Не случайно, что подавляющее большинство описанных эмоций во французском языке женского рода (первоначально это лишь морфологический казус, но позднейшая аллегорическая проработка этих абстрактных понятий однозначно соотносила качества с полом персонажа, представляющего аллегорию). В этом смысле безусловно ценно наблюдение, что *ярость* — первоначально мужское качество, а *furie*, *fureur* — женское и пр.

2. В двух описанных языках эти эмоции по-разному соотносятся с органами наивной анатомии. Во французском сознании разум и чувства не противопоставляются до такой степени, как в русском (см. *esprit*, *sens*), отсюда двойственная и смысловая, и образная возможность отождествления в русском языке ряда эмоций (в частности, *гнева* и пр.) лишь с болезнями тела, а во французском дифференцированно — одни эмоции коннотируются как болезни тела, другие как болезни ума.

3. Во французском языке повышенно отрефлексировано поле слов, описывающих *страх*, синонимы рознятся по интенсивности чувства, по реальности/нереальности причины, по источнику страха (одушевленный/неодушевленный), по «содержанию» страха

(страх-непонимание, страх-отвращение). В русском языке синонимы «*страха*» не столь многочисленны и в основном описывают его продолжительность и интенсивность.

4. И в русском и во французском языках наряду с общими коннотациями, свидетельствующими о глубоком контакте двух культур, выявлены специфические коннотации, позволяющие увидеть подтексты значений и увязать воедино некоторые макроуровневые явления (русский *страх* — змея, французское *sentiment* — цветок и пр.).

5. Отмечена повышенная отрефлексированность поведения при испытывании эмоций у французов (из сочетаемости соответствующих существительных) и наличие специальных понятий, отражающих непосредственную реакцию в русском языке.

6. Отмечены специфические понятия в русском и французском языках: понятие *angoisse* не имеет русского точного эквивалента и отражает квинтэссенцию важнейшего для современного французского сознания понятия — *экзистенциальный страх*, получившего огромную культурную разработку. Русское понятие «*восторг*» также специфично, оно противостоит русской божественной созерцательной экзистенциальной радости и ставит акцент на сильном, конкретном, непосредственном проявлении чувства.

7. Ситуация, проявившаяся в сопоставлении русской «*радости*» и французского *joie*, указывает на сохранившиеся в сознании русского человека установки на этизацию, на обожествление, одухотворение ряда категорий, представляющихся «высшими» для данного типа национального сознания.

Французское же сознание представляет в данном случае образец сознания гуманистического, при котором мерилом всего является человек, каким бы он ни был (чаще далеким от божественности), и все существует в его реальном человеческом масштабе.

Библиография

1. *Петровская В. А.* Европейские системы воспитания // Основы здорового образа жизни и нравственного воспитания в СССР. М., 1968.
2. *Якушенков С. Н.* Структура и семантика социальных статусов // Власть в аборигенной Америке. М., 2006. С. 26—40.
3. *Ясперс К.* Общая психопатология. М., 1997; а также *Буянов М. И.* Беседы о детской психиатрии. М., 1992.
4. *Топоров В. Н.* Семантика мифологических представлений о грибах // Балканский сборник. М., 1978.

5. *Пеньковский А. Б.* Радость и удовольствие в представлении русского языка // Логический анализ естественного языка. Культурные концепты. М., 1991. С. 148—155.
6. *Успенский В. А.* О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика. Вып. 11. М., 1979. С. 146—147.
7. *Лакофф Дж.* Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990. С. 396.
8. *Фромм Э.* Иметь или быть? М., 1990. С. 125—127.
9. *Спиноза Б.* Этика. Избранные произведения Т. 1. М., 1957. Оп. 2, 3.

Заключение

Если иметь в виду отдаленную перспективу, то мы хотели бы видеть наше исследование предельно расширенным комментарием к французской культуре во всех смыслах этого слова. Таким комментарием, в котором в первую очередь нуждался бы носитель русского языка, какой бы конкретной целью относительно французской культуры он ни задавался: будь то обучение языку, перевод, общение, восприятие художественного творчества, деловое сотрудничество, туризм и пр. Такой комментарий, очевидно, может быть представлен в совершенно различных формах от двуязычного словаря «Слов и идей» (лингвистической разновидности культорологического словаря) до специальных пособий по переводу, особого комментария в учебниках и обучающих программах. В идеальном варианте — комментарий-тезаурус, составленный не только лингвистами, но и историками, философами, культурологами, политологами, психологами и социологами. Мы искренне надеемся, что наша работа будет продолжена именно в составе такого расширенного коллектива. Наша надежда кажется нам обоснованной, ведь при все возрастающем контакте русских с западной цивилизацией все чаще приходит осознание того, что необходимо преодолевать не только языковой барьер, но и барьер принципиально иного менталитета.

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть (см. введение в этой книге) роль исследователей, наметивших направление поиска. Так, Эдвард Сепир отмечал: «Ни один человек, хотя бы поверхностно интересовавшийся французской культурой, не остался безразличным к таким ее свойствам, как ясность, отчетливая систематичность, уравновешенность, тщательность в выборе средств и хороший вкус, которые пронизывают столь многие аспекты национальной цивилизации» (1). Все это и многое другое мы смогли увидеть, анализируя понятийный фонд французского языка. Там же Сепир писал и о русских, об их

индивидуальном подходе к человеку, об их «корневой человечности», пренебрежении к институциональным перегородкам, об их безответственности.

Очевидным образом противопоставляя русский менталитет западноевропейскому, Анна Вежбицкая отмечала в русских (2) эмоциональность, выражающуюся в акцентировании чувств и их свободном изъявлении, в высокой эмоциональности русской речи; иррациональность к противоположному так называемому научному мнению; неагентивность — ощущение того, что людям неподвластна их жизнь, фатализм, смирение и покорность; любовь к морали — абсолютизация моральных измерений человеческой жизни, рассуждение в терминах добра и зла и пр.

Высказанные Анной Вежбицкой суждения, содержащие явный контрастивный аспект, представляются отчасти безусловными, отчасти спорными. Так, не вполне понятно, как повышенная эмоциональность русских сочетается с кодексом воспитания, во все времена направленного на подавление эмоций («свободное» в плане проявления эмоций воспитание — чисто западноевропейская придумка, опирающаяся на обширную философско-этическую традицию, которой никогда не было в России). Не вполне понятно также, как это утверждение согласуется с безусловной бедностью русского мата, оперирующего пресловутыми одиннадцатью корнями, по сравнению с развитыми языками французского арго. Не понятно также, как объяснить тот факт, что во французском языке сильнее развита синонимия в области эмоциональной лексики — обилие синонимов, конечно, в первую очередь выявляет «обработанность» понятия культурой, но разве эта обработанность не является функцией от частотности употребления? Действительно, западноевропейский рационализм неоспоримо противопоставляется русской иррациональности, неоспоримо, но не столь однозначно: не будем забывать о том, что французская наивная картина мира в области наивной анатомии выделяет такой орган, как *esprit*, являющийся одновременно и умом, и душой. Линии, идущие от *esprit*, как мы показали, простираются и в другие сферы представлений, *sens* — это чувство-мысль, в *sentiment* тоже существует выраженный когнитивный элемент значения (об этом далее). В свою очередь русский «*ум*» — центральное понятие наивной анатомии русского языкового сознания — также никак «не поддерживает» высказанную Вежбицкой точку зрения. Мы уже говорили о том, что агентивность и рационализм французов и соответственно неагентивность и иррационализм русских являются прямыми следствиями

истории развития этих двух народов. Однако при всем нашем согласии с такими противопоставлениями мы хотели бы подчеркнуть, что пассивно-созерцательное мировоззрение русских, сформировавшееся под безусловным влиянием православия и восточных интервенций, просто иначе трактует «практику» и «действие», зачастую интерпретируя пассивность как максимально наполненное действие, а созерцательность как мудрость. Что же до любви к морали, которую отмечал также и Сепир, то вряд ли какая-либо страна смогла бы состязаться с Францией по числу писателей-моралистов. Мы не станем подробно развивать наши ремарки, а обратимся к краткому изложению результатов работы, позволяющих при помощи анализа именно языкового материала взглянуть на французский менталитет с точки зрения носителя русского языка.

Французские представления о *судьбе* находятся в совершенно ином ассоциативном ряду, нежели русские. Для русского сознания *судьба* — либо присужденное (приговор суда), либо доля (часть целого, роднящая каждого человека со всеми остальными), во французском судьба — предназначение или жребий. В русском языке центральные коннотативные образы — женщина, текст, путь. Во французском — своевольное существо, жребий. Центральный термин, обозначающий *судьбу* во французском языке — *sort* — «жребий». Французское слово *sort* мыслится скорее неодушевленно и избегает позиции подлежащего, русская «*судьба*» предпочитает позицию агенса. Французские представления о случае восходят к той же прототипической ситуации, что и *sort* — «игра в кости, жребий». Русские слова все имеют разную этимологию и описывают различные аспекты взаимоотношений человека и случая. Два центральных французских понятия — *hasard* и *occasion* — сильно разнятся, одно описывает страшную темную слепую силу, другое — удачный случай, благоприятствующий успеху человека. И с тем, и с другим мифологизированным персонажем человек ведет себя активно, пытаясь манипулировать и использовать случай. Находясь под приговором судьбы, русский человек охотится на случай, пытается добыть себе удачу, он не знает страха, он любит риск. Во французском же сознании не предусмотрено снятие с себя ответственности и перекладывание ее на обстоятельства. Отметим также, что русская картина мира в этой области оптимистичнее французской, в русском сознании существует представление о большом количестве сил, помогающих человеку (помогает и *случай*, и *везение*, и *удача*). Любопытно, что во французском языке, в котором основная роль все же отводится человеку, нет целостного персонифицированного пред-

ставления о *неудаче*, помогающего списать с себя ответственность и возложить ее на некое мифологическое существо.

Представления об *опасности* также существенно разнятся во французской и русской культурах. В русском сознании *опасность* связывается со стихией, во французском — с ситуацией власти сильного над слабым, с испытанием, с жестокостью. Мы видим, что французская *опасность* социализирована, русская — стихийна. Это помогает понять, почему для русского сознания человек — потенциальная жертва опасности, а для французского — активная сила, противостоящая опасности и побеждающая ее.

Здесь мы также усматриваем различное отношение к идее ответственности: русский любит риск и живет с мыслью «авось пронесет», француз живет в системе страхования, специально созданной как ответ на опасность и риск. В обоих языках мы находим общий коннотативный образ дамоклова меча, что свидетельствует о том, что развитие русского представления об опасности шло по европейскому следу.

В сфере изученных нами абсолютов также четко просматривается различие французского и русского менталитетов.

Во французском языке существенно изменено и практически выведено за рамки обыденного употребления понятие *добра* и соответствующих характеристик человека, поскольку совершенно иначе трактуется идея бескорыстности и бескорыстного действия.

Во французском языке отсутствует обиходное понятие *истины* как бесполезное на фоне правды (*vérité*), покрывающей весь необходимый спектр ситуаций, возникающих в практической жизни.

В русском сознании понятие *добра* — одно из центральных и отражает популярность идеи бескорыстного действия. В русском бытовом сознании прекрасно соседствуют *истина* и *правда*, подчеркивая характерную для русских двоичность в восприятии мира. *Истина* — высшее и недоступное человеку и поэтому оправдывающее его несовершенство, также помогает русскому не чувствовать себя в ответе за происходящее. Русская «*правда*» имеет также и особый смысл, отражающий историю России и связанный с идеей угнетенности простого народа. Таким образом, *истина*, *правда*, *добро* для русского самосознания — моральные ценности, существенным образом определяющие его особенности.

Французское же сознание существует скорее в иной системе координат, связанной с унаследованными из античности установками на активность, целеустремленность, ответственность, стремление к про-

цветанию и благу. Сказанное может быть представлено в виде четырех оппозиций, характеризующих французский и русский менталитеты.

1. *Активность/пассивность*: французское сознание предписывает человеку бороться с высшими силами и привлекать все позитивное на свою сторону. Русское самосознание пассивно и жертвенно.

2. *Ответственность/безответственность*: французское самосознание, вырабатывавшееся веками, отражает глубинную идею ответственности человека за то, что он делает, и за то, что с ним происходит, русский человек принципиально существует вне этой идеи.

3. *Корыстность/бескорыстность*: французское сознание принимает бескорыстность в социально определенных формах (см. понятие *дружбы* и его трансформацию в рамках современного французского менталитета). Французское самосознание адаптировало идею целесообразного бескорыстного, оформленного в языке не одним десятком терминов. Для русского самосознания идея бескорыстности (выражаемая также и в отношении к деньгам) крайне привлекательна и сопряжена с идеей *добра* — основной русской ценностной категорией. Для французского сознания *добро* — это то, что служит пользе человека или общества, для русского — это то, что делается во благо другого, иногда даже вопреки общественному благу.

4. *Социализированность/стихийность*: французское сознание представляется сознанием, оформленным по заданным социумом рамкам. На уровне понятий это выражается, применительно к описанной группе слов, в соблюдении социальных установок в их трактовке. Русское сознание представляется более стихийным, то есть сохраняющим первоначальное, «негосударственное» отношение к высшим силам и абсолютам, понимающим их как проявление природы в высшем понимании этого слова, а не как результат действия того или иного социального механизма.

Сопоставление французских и русских центральных органов наивной анатомии дополняет и развивает уже выявленные нами особенности французского менталитета. За французским и русским понятиями *души* стоит один и тот же этимон — «*дух, дыхание*», однако понятия, произошедшие от этого этимона и трактуемые принципиально сходно, развили совершенно различные образно-ассоциативные ряды, что обусловлено различиями в формировании национального самосознания и привело к четким несовпадениям самой сущности этих двух менталитетов. Русская «*душа*», в большой степени связанная с представлением о психическом, — живой детородный орган, внутренняя суть человека, связанная с идеей «быть, а не казаться». Французская

«*душа*» оказалась связанной с совершенно иным комплексом представлений — ткань, одежда, металл, предмет, что является проявлением целостной установки французского сознания, что мир делается руками человека, приспосабливается им для своих нужд, перекраивается под его мерки.

Эту же тему развивает и французская «*совесть*» (*conscience*), имеющая с русским соответствующим словом идентичное происхождение: и то, и другое слово восходят к идее со-знания, к знанию, разделяемому всеми. Однако если русское сознание превращает *совесть* в вечно доминирующего судью и палача, то французское *сознание* превращает совесть в слабого, пугливого, готового пойти на сделку или отступить противника.

Французский менталитет вытесняет недоступное и непрактичное (*истина*), мистическо-эмоциональное и неконтролируемое (*душа*), судящее и карающее (*совесть*).

Центральным органом мышления в русском сознании является *ум*, во французском — *esprit*. *Ум* — это инструмент, которым человек добывает новое знание, «открывает истины». *Esprit*, этимологически связанное с «*духом* и *дыханием*», является и мыслящим, и чувствующим началом. *Esprit* — не инструмент, а сущность человека, разумное начало, равно как и *intelligence*, акцентирующее умение понимать, и *raison*, связанное с конкретным эталонным направленным действием человеческого разума. Во французском языке не обнаруживается точного эквивалента русскому «*уму*», равно как в русском языке не обнаруживается эквивалента французскому *esprit*. Однако русский «*ум*, *разум*, *рассудок*» «не знают» такой классификации и стратификации, как французское *esprit*, и такой особенной выделенности и разработанности понятия «*практического ума*», имеющего во французском языке даже возможность образно ассоциироваться с наличными деньгами.

Сопоставляя французские и русские понятия, обозначающие центральные органы наивной анатомии, мы увидели, что французское сознание не адаптировало за ними высшей функции и не увидело в них высшего начала. Носитель французского языка «покорил» *душу* и *совесть*, приписав основную жизненную энергию органу мысли — *esprit*, оказавшемуся «больше» и *души* и *совести* и ставшему основным символом человеческой сущности.

Таким образом, можно сделать вывод, что для французского сознания более значимыми и поэтому стойкими оказались установки античного мировоззрения, нежели христианского, не слишком под-

ходящего для стимулирования личного и общественного прогресса. Такие же источники имеет и крайне неожиданный для русского сознания образ души-ткани-оболочки-одежды, традиционно презираемых русским одухотворенным видением мира, однозначно выбравшим сущностное, а не кажущееся.

Сопоставление ментальных категорий в двух языках, в двух мировоззренческих системах показало, что французское сознание более подробно членит пространство большей части понятий: русскому «размышлению» соответствуют *méditation* и *réflexion*, русской «*причине*» — *effet* и *cause*, русской «*цели*» — *fin*, *but*, *objectif* и т. д. За этим более подробным членением стоит чувствительность французского сознания к объективному знанию, убеждение, что существуют непреложные законы, по которым можно анализировать действительность и адекватно действовать в ней, убеждение, что субъективное должно отличать от объективного.

Мы бы связали такое членение с особым развитием судебной системы во Франции, через которую «прошли» многие из рассматриваемых понятий.

Следует также отметить особенности в самой сути французских понятий относительно русских аналогов. Главное — опора на факты, особенно пристальное внимание к достоверности.

Отсюда логично следует, в частности, то, что рациональные эмоции типа *уверенности* и *сомнения*, во французском языке более рациональны, в русском — более эмоциональны.

При всем различии интересно отметить, что сопоставляемые ряды находятся в пределах общего поля коннотативных образов (вода, осязаемость, опора). Это свидетельствует о влиянии западноевропейской культуры на русскую в этой сфере и еще более подтверждается тем фактом, что мы не находим никакой «мифологической поддержки» для них в славянской мифологии. Для такого влияния существовало множество причин, о которых мы говорили в соответствующей главе нашей книги. Проведя сопоставление рядов, описывающих ментальные категории в двух языках, мы пришли к заключению, что французский тип сознания — это рационалистический тип сознания, русский менталитет в этой сфере идет скорее по интуитивному пути. В сфере соответствующих французских представлений царит порядок, они хорошо структурированы и описаны, русские же понятия менее структурированы, картина мира упрощена, о чем свидетельствует стяжение различных категорий в одну. За русскими понятиями стоят этимоны, восходящие к родовому строю, за французскими — к государственному.

Сопоставление базовых эмоций во французском и русском языках показало следующее.

1. Базовые эмоции во французском и русском языках по-разному соотносятся с мужским и женским стереотипом поведения: в русском языке большинство базовых эмоций — «мужские», во французском — «женские». Подобное распределение кажется глубоко мотивированным всем сказанным ранее: интуитивный тип мировоззрения «признает» эмоциональность в качестве признака активного типа поведения, рационалистический — в качестве рецессивного.

В двух описанных языках базовые эмоции по-разному соотносятся с органами наивной анатомии. Во французском сознании разум и чувства не противопоставляются до такой степени, как в русском, отсюда — двойственная и смысловая, и образная возможность ассоциировать французские эмоции и с болезнями тела, и с болезнями ума (в русском языке эмоции ассоциированы только с болезнями тела). Во французском языке особенно отрефлексировано поле слов, описывающих *страх*, что позволяет заключить, привлекая также некоторые экстралингвистические факторы (фольклор, проработку этого понятия философами-экзистенциалистами), что *страх* — эмоция, в большей степени свойственная французскому национальному сознанию, нежели русскому. Именно в качестве гиперкоррекции страха и возникает, возможно, рационализм и социализация, являющиеся своего рода профилактикой страха. Французские синонимы со значением «*страх*» разнятся по интенсивности чувства, по реальности/нереальности причины, по источнику, его вызывающему (одушевленный/неодушевленный), по содержательной его сути (страх-непонимание, страх-отвращение). В русском языке синонимы «*страха*» не столь многочисленны и в основном описывают его продолжительность и интенсивность. На уровне коннотативных образов наряду с общими коннотациями, свидетельствующими о близком контакте культур, выявлены также и специфические коннотации, позволяющие «дешифровать» особенности самих эмоций (русский «*страх*» — змея, французское *sentiment* — цветок). Во французском языке описана также повышенная осознанность поведения при испытывании эмоции, в русском же языке зафиксирована сочетаемость, описывающая непосредственные проявления. Особенно ценным при описании базовых французских эмоций оказалось понятие *angoisse*, не имеющее русского эквивалента и отражающее квинтэссенцию важного для современного французского сознания понятия — экзистенциального страха, получившего огромную культурную разработку. Русское понятие

«*восторг*» также не имеет аналога во французском языке и подчеркивает именно непосредственность проявления радости. Ситуация, проявившаяся в сопоставлении русской «*радости*» и французского *joie*, указывает на сохранившуюся в сознании русского человека этизацию переживаний, на одухотворение ряда категорий, представляющихся высшими для этого типа национального сознания. Французское сознание представляет в данном случае образец сознания гуманистического, при котором мерилом всего является человек, каким бы он ни был (чаще далеким от божественности), и все существует в его реальном человеческом масштабе.

Все вышесказанное позволяет нам сделать такие обобщения:

1) схожесть в определении понятий показывает некую прототипическую общность французского и русского менталитетов, позволяющую говорить об индоевропейском типе мышления;

2) различие в объеме понятий, а также их количества в рамках одного заданного понятийного поля свидетельствует о глубоком различии путей, по которым развивались эти две цивилизации, каждый раз членя «ситуацию» по-своему и наполняя понятие специфическим (дополнительным по отношению к инварианту) набором признаков, отражающим особенности каждого из национальных менталитетов;

3) пересечение в области коннотативных образов свидетельствует о частичной общности образного фонда этих двух культур, а также об их глубоком содержательном контакте;

4) непересечение коннотативной системы является следствием несхожести «материнских» мифологий, как на ранних ее фазах, так и на поздних (античная мифология — славянская мифология; католицизм — православие), и о независимого развития понятийной системы каждой из двух культур;

5) уникальное сочетание этих признаков в рамках каждого понятия или семантического поля позволяет увидеть фрагменты национальных менталитетов, отличающиеся как большим различием, так и некоторым сходством. Совпадения — инвариативны, различия вариативны.

Очевидно, что современная ориентация России на европейскую шкалу ценностей будет все больше и больше прояснять для носителей русского языка в существенном объеме непонятный для них на сегодняшний день французский менталитет.

Описанные нами качества французского менталитета в большинстве случаев оцениваются носителями русского языка и представителями русского национального сознания как положительные. Однако

тенденция взаимодействия, кажется, уже определилась — не только притяжение, но и отталкивание, — поскольку различие культур кардинально и именно сохранение этих различий позволяет этносу самоидентифицироваться в языке, отражающем его сознание, подсознание, менталитет, историю и культуру.

Если обобщить все сказанное и представить описанные понятия во французском и русском языках как признаки этих этносов, мы можем получить следующие ряды:

Русские	Французы
смелые	страшливые
безответственные	ответственные
фаталисты	материалисты
добрые	корыстные
бескорыстные	прагматичные
совестливые	опирающиеся на законы
иррациональные	рациональные
знающие свое место, разделяющие верх и низ	богоравные
субъективные	объективисты
не сомневающиеся	сомневающиеся
не верящие в свободу	свободолюбивые
чувствующие	рассуждающие
асоциальные	социализированные
противопоставляющие ум и душу	объединяющие ум и душу на уровне первоосновы
хитроумные	понимающие

Приведенные оппозиции не следует понимать как строгие и окончательные.

Наши дальнейшие исследования будут посвящены их уточнению и расширению.

Библиография

1. *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию. М., 1993. С. 470—472.
2. *Вежбицкая А.* Язык, культура, познание. М., 1996. С. 33—34.

Мария Константиновна Голованивская

МЕНТАЛЬНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА

Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских

Издатель А. Кошелев

Зав. редакцией М. Тимофеева

Корректор А. Ставцев
Оригинал-макет подготовлен Л. Гоготовой
Художественное оформление переплета С. Жигалкина

Подписано в печать 02.09.2009. Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура Times.
Усл. печ. л. 23,5. Тираж 500 экз. Заказ № 2398.

«Языки славянской культуры»
№ госрегистрации 1067746430102
Phone: **95-171-95** E-mail: **Lrc.phouse@gmail.com**
Site: **http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru**

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО ордена «Знак Почета»
«Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова».
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел./факс: (499) 255-77-57, тел.: (499) 246-05-48,
e-mail: gnosis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский проезд, 2, стр. 1
(Метро «Парк Культуры»)

Мария Голованивская — доктор филологических наук, профессор кафедры Регионоведения факультета иностранных языков Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. За монографию «Французский менталитет с точки зрения носителя русского языка» удостоена Шуваловской премии II степени. Автор переводов с французского языка ряда известных романов и стихотворений XIX—XX веков, среди которых Рэмон Кено, Борис Виан, Лотреамон и другие. Читает курсы лекций по страноведению Франции и Италии.

ISBN 978-5-9551-0350-1
9 785955 103501 >